

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
НАУКА
И
БОРЬБА КЛАССОВ

*(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ,
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ)*

*Сборник подготовлен к печати
Институтом Истории Коммунизма*

Выпуск 1

к 1281009



Государственное
Социально-экономическое
издательство

Москва—Ленинград—1935



ПРЕДИСЛОВИЕ

Старейший представитель большевистской гвардии, активный участник революции 1905 и 1917 гг., активный участник социалистического строительства, в деле народного просвещения М. Н. Покровский был неутомимым бойцом на теоретическом фронте, возглавляя марксистскую историческую науку.

Отмечая годовщину со дня его смерти Редакционная коллегия по изданию сочинений М. Н. Покровского выпускает в свет сборник его историографических работ.

В нем собрано все основное, характеризующее Михаила Николаевича как неутомимого борца-большевика против буржуазной историографии и буржуазного принципа беспартийности в науке, против контрреволюционного троцкизма и правооппортунистических теорий.

Сборник выходит в двух выпусках.

В первый выпуск, целиком составленный из статей, написанных М. Н. Покровским в послереволюционный период, наряду с основным курсом по историографии, вошли важнейшие работы Михаила Николаевича об особенностях исторического развития России, в которых он разоблачает буржуазные и меньшевистско-троцкистские концепции русского исторического процесса.

Сюда же вошли статьи, характеризующие основные установки М. Н. Покровского в вопросах изучения истории пролетариата и его взаимоотношений с крестьянством.

Содержание второго выпуска составили статьи и рецен-

зии характеризующие отдельных историков и их работы. Сюда же вошли статьи и выступления М. Н. Покровского о Марксе, Ленине и ленинизме в исторической науке, а также его речи и статьи о задачах исторической науки в условиях социалистического строительства.

Ко второму выпуску сборника приложен именной и предметный указатели.

Сборник подготовлен к печати Институтом Истории Ком-академии.

В окончательно подготовленном виде сборник был просмотрен Редакционной коллегией по изданию сочинений М. Н. Покровского под председательством А. С. Бубнова в составе: М. А. Савельева, В. В. Адоратского, Н. М. Лукина, В. П. Милютина, В. В. Максакова, Е. Б. Пашуканиса, С. С. Сефа.

БОРЬБА КЛАССОВ И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ¹

Предисловие к первому изданию

Большая часть предлагаемой книжки представляет собою стенограмму лекций, читавшихся в Зиновьевском университете в начале мая этого года. Это необходимо сказать в объяснение стилистических особенностей текста. Хотя у публики и существует предрассудок, будто стенограф записывает «слово в слово», на самом деле записать все слова возможно только при очень большой медленности произношения—при диктовке. В живой же речи самое большее, что может быть достигнуто—это не пропустить ни одной фразы и не исказить смысла. Данная стенограмма после правки этим требованиям вполне удовлетворяет: за смысл и содержание я ручаюсь, слова же и обороты речи весьма часто не мои. Как литератор, я бы во многих случаях выразился иначе—вероятно, иногда и сказал иначе, как лектор, но записывавшим не удалось схватить формы изложения, а только содержание. Для деловой цели—сообщить читающей публике известные факты и мысли по их поводу—этого вполне достаточно.

Там, где и этот скромный результат не мог быть достигнут, я предпочел взять печатный текст моих статей на те же темы (в «Вестнике Социалистической академии» и «Под знаменем марксизма»—из последнего журнала почти целиком взята глава о Плеханове, с небольшой вставкой и еще менее существенным пропуском). В одном случае—фактической критики взглядов Соловьева и Ключевского—я добавил то, что должно было войти в состав курса, но было при чтении опущено из-за недостатка времени.

¹ Лекции, читанные в Ком. университете им. т. Зиновьева (ныне II ком. университет) 3—7 мая 1923. Изд. Прибой, 1928 г., 2-испр. изд.

Обращается книжка к той же читающей публике, какая слушала лекции—к студентам наших комвузов и ФОН-ов. Это отнюдь не исследование, это просто маленькое пособие для первоначальной ориентировки при чтении основных немарксистских или не совсем марксистских книжек по русской истории. В марксистской литературе такого пособия не существует, да и немарксистские пособия на эту тему не идут дальше «рационализированной библиографии»—перечня авторов и названий с кратким изложением содержания, так что оправдывать появление в свет настоящего пособия как будто не приходится.

1

Товарищи, позвольте в вашем лице приветствовать Второй коммунистический университет, где я имею честь выступать. В Свердловском я уже действую довольно давно.

Вы—та новая школа общественных наук, о которой мы до сих пор только мечтали. И я должен сказать, уже не впервые за эту революцию мечты оказываются гораздо ближе к действительности, чем мы позволяли себе надеяться. Уже сейчас вы представляете совершенно своеобразное, оригинальное, не по какому-нибудь плану выдуманное, но созданное действительно самой жизнью, самой стихией революции учреждение.

Вы и есть собственно тот факультет общественных наук, о котором мы мечтали. С течением времени из Зиновьевского и Свердловского университетов выйдет та новая школа общественных наук, которая будет действительно марксистской не потому, что там преподают марксисты, а потому, что там немыслима будет никакая история, кроме марксистской, и никакое студенчество, кроме пролетарского. В этом и заключается сущность преобразования высшей школы.

Не в том дело, чтобы в старую высшую школу посадить людей, знающих Маркса. Опыт показывает к сожалению, что люди, великолепно знающие Маркса, попав на кафедру обычного университета, весьма скоро становятся похожими на самых заурядных университетских профессоров. Чтобы не беспокоить никого из товарищей, близких к нам, я приведу вам классический пример—Кунова. Крупный марксист в прошлом, став профессором буржуазного Берлинского университета, теперь пишет вещи, от которых не откажется любой буржуазный профессор того же Берлинского университета. Так что не в этом дело, а в том, чтобы создать

обстановку работы совершенно новую. В основе всего лежит дело, в основе всего лежит практика, а не теория. Самый способ вашей работы, живой и активной работы, а не мертвого слушания лекций,—этот способ и является наиболее ценной особенностью новой школы, из чего вы можете заключить, что мое появление на этой кафедре отнюдь не составляет необходимой части этой новой школы общественных наук. Несомненно, что я и всякий другой лектор, читающий лекции сотням людей—это конечно остаток старой школы в новом коммунистическом университете. Это нечто вроде остатка хвоста у человека—инструмент, в значительной степени ненужный. И моим величайшим счастьем будет момент, когда вы будете обходиться без таких лекций. Сейчас вы к сожалению обходитесь без них повидимому не можете и здесь, и в Свердловском университете. Поэтому приходится лекции читать, но курс мы держим на время безлекционное, когда ваши самостоятельные, активные занятия будут заполнять все время и когда ваше образование будет делом ваших собственных рук, только при помощи старших товарищей. Это—тот идеал, к которому мы должны стремиться. Идеал студента, как губка, пассивно впитывающего в себя мудрость профессора,—это идеал старой буржуазной школы, и с ним надо расстаться.

С этой точки зрения,—что нужно отпавляться от практики, а не от теории,—я подхожу и к тому маленькому курсу, который я собираюсь вам прочесть. Так как у меня в распоряжении очень малое количество часов, так как, с другой стороны, мне кажется, что вы достаточно осведомлены в конкретной стороне новой и новейшей русской истории, то я решил так: конкретного курса не читать. В какой бы области я мог бы вам дать что-нибудь новое, да и то не наверняка? Скорее всего в области истории XX в., но XX в. в русской истории не уложишь в 8—10 часов. Это было бы нечто до такой степени скомканное, до такой степени конспективное, что читать это в форме лекций было бы и мне самому скучно, и вам слушать неинтересно. Я поэтому выбрал нечто другое. В то короткое время, которое вы здесь работаете, вы не можете ведь овладеть всей литературой по русской истории. Несомненно вы будете пополнять те лекции, которые у вас читаются, самостоятельными занятиями дома, чтением дома. Что вы будете делать? Я допускаю, что вы читаете конечно и марксистские книжки по русской истории, вероятно многие из них знаете наизусть, но в этих книжках далеко не все, что вам нужно. Вам постоянно пр

дется обращаться к домарксистской литературе. И вот тут налицо есть большая опасность, что вы отнесетесь к ней так же, как относятся многие товарищи, гораздо старше, гораздо опытнее, гораздо авторитетнее вас. Вы будете брать буржуазные книжки по русской истории совершенно так же, как вы берете книжки по физике например, т. е. как некоторую фотографию того, что есть в действительности. Когда в физике описываются явления электричества, то описывается то, что есть в действительности. Поэтому, если вы возьмете книжку с рисунками, чертежами и будете ее читать, эта книжка даст вам понятие, какое можно дать о явлениях электричества, не показывая их в виде лабораторного опыта. Это действительно так, и многим из нас кажется, что если вы возьмете книжки по русской истории, то вы найдете в них точно такую же фотографию известного исторического периода.

Возьмем «Историю государства Российского» Карамзина. Она устарела; устарел подход, устарела точка зрения, но все-таки, думает читатель, в ней изображается русская история от времен Рюрика до Смутного времени, на котором остановился Карамзин. По этой книге можно, стало быть, ознакомиться с русской историей точно так же, как по учебнику физики вы знакомитесь с электричеством. Эту ошибку совершают многие товарищи, очень авторитетные. Они говорят: «Это установлено в науке», приводят ссылки на тот или другой курс Ключевского, Платонова, на работы Чичерина, Соловьева. «Это,—говорят,—факты, такие факты были». А между тем, дорогие товарищи, это вовсе не факты. Это идеология т. е. отражение фактов—я не знаю, как сказать—в вогнутом или выпуклом зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью.

Что такое идеология? Это есть отражение действительности в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом интересов классовых. Вот что такое идеология. И в этом смысле всякое историческое произведение есть прежде всего образчик известной идеологии. Не следует смущаться тем, что там каждая строчка прибита цитатой, к каждой строчке примечание: «смотри летопись такую-то, том такой-то, страницу такую-то». Это ровно ничего не доказывает. Все идеологии состояются из кусочков действительности, совершенно фантастической идеологии не бывает, и между тем всякая идеология есть кривое зеркало, которое дает вовсе не подлинное изображение действительности, а нечто такое, что даже с изображением в кривом зеркале сравнить

нельзя, ибо в кривом зеркале вы все-таки свое лицо узнаете по некоторым признакам: есть борода—нет бороды, есть усы—нет усов. Здесь же идеологически настолько может быть замаскирована действительность, что брюнет окажется блондином, бородатый человек окажется бритым совершенно как херувим и т. д. Ко всякой исторической книжке надо иметь ключ—все равно, как имеешь ключ к шифру—и только, когда вы сумеете расшифровать историческую книжку, только тогда вы действительно будете в состоянии пользоваться ею. Повторяю, с крупнейшими и авторитетнейшими товарищами бывают случаи, что они, не имея этого шифра, на веру принимают ту абракадабру, которую представляет всякая зашифрованная вещь, и воображают, что эта абракадабра есть действительно история.

Задачей моего курса является показать вам на нескольких примерах,—это можно сделать именно при помощи примеров и не в долгое время,—что представляет собою в действительности домарксистская, а отчасти и марксистская литература русской истории и как ее нужно расшифровать, чтобы воспользоваться ею. Прежде всего в буржуазной науке, как и полагается, хороший шифровальщик старается скрыть, что перед вами зашифрованный текст. Я вам приведу пример. Недавно Академия наук выпустила книгу по методологии истории, заглавное произведение покойного академика Лаппо-Данилевского. Там вы найдете изложение сотен сочинений по методологии истории. Изложение ведется так: берется книжка, из нее даются цитаты, дается ее сжатое содержание, резюме книги, затем соответствующие сноски; потом берется другая книга, третья; все это расположено в хронологическом порядке и, в целях наибольшей объективности, ни звука не сказано о том, что за человек был автор, в какой обстановке возникла книга, какая общественная среда окружала автора, какая борьба происходила в этой общественной среде. Об этом нет ни звука. Это нарушило бы академичность и объективность изложения. В результате, читая Лаппо-Данилевского, вы никогда не догадаетесь, что стержнем, пронизывающим весь марксизм, является классовая борьба. Лаппо-Данилевский, когда был жив, вероятно очень горд был чрезвычайной объективностью своего изложения, но эта объективность чисто публицистический прием. Это и есть зашифрованный текст. В самом деле, чего достигает Лаппо-Данилевский таким изложением? Именно того, что этого самого стержня—классовой борьбы—вы не замечаете не только в марксизме, но и на всем протяжении ис-

торической науки, которую излагает Лаппо-Данилевский. Вы не замечаете живых людей с их интересами и реальной общественной средой, которая их воспитала и выдвинула. Вы видите перед собой только книги, написанные в кабинете людьми, которые были совершенно оторваны от действительности и руководствовались соображениями «высшей истины» в четырех стенах своего кабинета.

Что нужно буржуазии? Да именно скрыть эту самую классовую борьбу, потому что, если она встанет на точку зрения классовой борьбы, она должна будет принять и социалистическую революцию, как ее завершение, т. е. подписать себе смертный приговор. Поэтому буржуазия всех стран всячески замаскировывает классовую борьбу, и отношение буржуазных критиков к историкам-марксистам именно тем и меряется, как данный марксист ставит классовую борьбу. Ставит он ее менее остро—отношение более благоприятное, ставит более остро—и отношение более острое. Чем острее и определеннее ставит классовую борьбу данный автор-марксист, тем непримиримее отношение к нему буржуазии, точно она сама от него заражается классовой точкой зрения. На самом деле, повторяю, для буржуазии чрезвычайно важно доказать, что классовой борьбы нет, потому что это значит, что буржуазия и буржуазная интеллигенция представляют весь народ. Как только они станут на классовую точку зрения, им придется признать, что их парламент классовый и, значит, не выражает интересов всего народа, что их литература классовая, что их наука классовая. Они должны будут это признать. Но если они замяли этот классовый момент, если они показали своему читателю, что существуют только отдельные ученые с их мыслями, а классов нет, если они классы угнали за пределы видимости, то они сведут концы с концами. У них получится надклассовая наука, которая плавает как дух Иеговы над хаосом.

Вот почему книга Лаппо-Данилевского, на вид такая объективная, на самом деле является типичным образчиком классовой буржуазной публицистики в области истории. Только одним тем, что эта книга скрывает, как классовая борьба влияла на писание истории на протяжении веков, она уже этим самым делает дело определенного класса. И нам приходится прежде всего поставить на ноги то, что у Лаппо-Данилевского стоит на голове,—вернуть в историю ту классовую борьбу, которую он отрицает, подходить к каждому историческому произведению, как к продукту этой классовой борьбы. Если вы перестанете верить, что историческая

книжка, написанная буржуазным историком, представляет моментальную фотографию исторического процесса, если вы поймете, что это—кривое зеркало, вы получите ключ к тому шифру, каким написана книжка.

Теперь позвольте перейти к конкретной части изложения. Историю влияния борьбы классов на писание русской истории приходится начинать задолго до того, как появились те исторические книжки, которые вам приходится читать, ибо не только сами эти книжки являются продуктом классовой борьбы, но и те материалы, на которых эти книжки основаны, тоже являются продуктом классовой борьбы. Многие из вас,—я думаю что большинство,—помнят картину, изображенную Пушкиным в «Борисе Годунове»: летописца Пимена, пишущего свою хронику, «добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости ни гнева». Это первый исторический обман, с которым мы, учившиеся в средней школе, встречались в самом раннем возрасте. Фигуру этого летописца, бесстрастного, спокойного,—«так, точно дьяк в приказах поседельй, спокойно зрит на правых и виновных» и т. д.,—эту фигуру надо разрушить. Чрезвычайно любопытно, что теперь, под влиянием может быть отчасти нашей заразы, начинают расставаться с этим образом сами буржуазные исследователи. Вам вероятно приходилось слышать имя Шахматова (был такой академик, тоже скончавшийся недавно, работавший над летописями). Это—крупнейший специалист по русским летописям, какого выдвинула буржуазная наука в последнее время. Вот что он говорит о летописцах. «Наши летописи,—говорит Шахматов,—пристрастно освещали современные события. Рукою летописца управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника, умеющего дать правдивую оценку событиям, развертывающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими событиями,—оценку религиозного мыслителя, чающего водворения царства божия в земной юдоли. Нет, рукою летописца управляли политические страсти и мирские интересы». Он не договорился до того, что рукою летописца управляли классовые интересы. Но тогда Шахматов не был бы буржуазным исследователем. Но и буржуазные исследователи дошли в конце концов до того, что никакого бесстрастного Пимена никогда не существовало и что на самом деле летопись, такую сухую, такую далекую на первый взгляд от жизни, писали живые люди с плотью и кровью, и пером их руководили политические страсти.

Вот маленький образчик, которым я закончу первый час. Этот маленький образчик касается одного факта, может быть вам известного, хотя к счастью ваши головы не начинают той чепухой, какой начинали в свое время наши головы. Это — рассказ о начале русского государства, или, как короче говорят, «о начале Руси». Вы помните этот рассказ, как собрались разные племена — и чудь, и меря, и кривичи — и решили призвать из-за моря, из Швеции, князя Рюрика с братьями, которые бы «владели нами и княжили по ряду, по праву». Это стало поговоркой—«обратиться к варягам», «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» — и т. п. Уже довольно давно еще буржуазные историки не могли не заметить явных, наглядных несообразностей этого рассказа. Прежде всего — как это разноязычные племена, пребывающие в состоянии большой дикости (о некоторых из них сам летописец говорит, что они жили «зверинским образом»), как они ухитрились создать такую учредилку, которая выбрала этого Рюрика и К°, как это себе представить,—на каком языке объяснились они? Это одно. Вторая странность: где они стали искать себе князей? Послали к варягам! Что такое варяги? Норманны. Что такое норманны? Морские разбойники, которые дали повод добавить к «Отче наш»: «спаси нас от неистовства норманнов». Почему обращаются к этим разбойникам, чтобы они княжили и судили по праву? Это странно. Человека должны были бы вести на суд в качестве подсудимого и вдруг, когда его привели, его сажают на судейское кресло и говорят: «пожалуйста, милый человек, судите». Это напоминает стихотворение Гейне о царе Рампсените, который после похищения у него драгоценностей не нашел ничего лучше, как объявить:

*Чтоб на будущее время
Прекратить сии хищенья,
Зявивши вместе вору
Нашу дружбу и почтенье,*

*Мы женить его на нашей
Дщери правильным находим
И, как будущего зятя,
В сан царевича возводим.*

Но — это пародия, это — насмешка над королями, царями и т. д. Кто же в действительности делает такие вещи, чтобы взять вора и объявить его наследником престола? А славяне сделали это.

Займемся более детальным анализом фактов. По этому рассказу князья были призваны из-за моря править Русью для того, чтобы навести в ней порядок, прежде всего завести правильный суд, «иже бо судил нас по ряду, по праву». Но удалось восстановить первоначальную запись, первоначальный текст русских судебных обычаев X в. (а при-

звание князей совершилось в IX в., за сто лет раньше). И вот удивительно: через 100 лет после призвания этого мирового судьи из уголовного отделения тюрьмы вдруг оказывается, что князь никакого участия в суде не принимал. Судят присяжные, 12 человек, а князь к суду отношения не имеет. Мало того, в той же летописи мы имеем ряд фактов, намечающих, как князь постепенно завладевает судебной властью, причем попытки эти встречают сопротивление, и только в начале XI в. князь действительно завладевает судебной властью прочно, — и главным образом, с финансовой стороны. Он берет себе судебные пошлины, так что о том, чтобы судить по праву, он весьма мало заботится и в это время. Анализ того, что русские знали о своем прошлом в XI в., показывает, что и в XI в. они ничего не знали о Рюрике, о первом князе, о призвании князей, и этот рассказ составлен только в начале XII в., так что мы имеем перед собой странный, с точки зрения даже буржуазной истории, факт. В начале XII в. появился рассказ о том, как зачалось русское государство в середине IX в.; буржуазные историки тут ставят точку. Да, говорят они, действительно в начале XII в., не раньше. Иные готовы признать еще, что мы имеем тут «странствующее сказание». Но почему именно этот рассказ, а не другой? Почему зашло к нам именно в начале XII в. это странствующее сказание?

На этом буржуазная история останавливается. Между тем тут мы имеем любопытный образчик того, как классовая борьба влияла на зарождение самых первых рассказов о начале русского государства. Кто является, нельзя сказать—автором, а компилятором начального летописного свода, той древнейшей части русской летописи, где мы находим рассказ о призвании князей? Это был Сильвестр Выдубицкий, на которого еще в начале XV в. ссылались как на большой авторитет. Этот Сильвестр некоторым образом—первый русский историк. Он был игуменом в монастыре св. Михаила в Киеве. Это был придворный, княжеский монастырь. Князья, не имея времени, за пирами и делами, сами молиться, но твердо уверенные, что до бога молитва все равно доходит, от кого бы она ни исходила, создавали общины монахов, которые,—в то время, когда князья пировали, грабили, воевали,—молились за князя и его род. Это так же, как занятые советские работники держат секретарей, которые им пишут письма. Так богатые люди, князья, имели своих секретарей — монахов, которые молились бо-

гу, и молитвы их доходили, как доходят письма, написанные секретарями, хотя автор письма его и не создавал. Сильвестр Быдубицкий был игуменом такого придворного монастыря, человеком, близким к князю. Он написал свою летопись в 1116 г., когда игуменствовал в монастыре св. Михаила в Киеве, а княжил тогда Владимир Всеволодович Мономах; кончается летопись 1110 г. Что в это время происходило? На этот период падает вторая, более крупная киевская революция. Я не буду вам подробно изображать экономические условия Киевской Руси, поверьте мне на слово, что в то время в Киеве, под влиянием внешней торговли, начинал складываться купеческий, ростовщический капитал, который жестоко эксплуатировал массы киевского населения — и городского и сельского. У него в сетях были и мелкие торговцы, купцы, и ремесленники, и крестьяне. И драл он с них так, как драл деревенский кулак в царской России: 50% годовых. Это был законный процент, а сверх законного брали гораздо больше. Это было самое главное вымогательство, которое в результате приводило к тому, что должник делался рабом своего кредитора. Это было буквально закабаление этими пиявками масс трудящегося населения. Но пиявки были неприкосновенны, потому что во главе их стояли две силы. С одной стороны князь, тогдашний киевский князь Святополк Изяславович был спекулянт и ростовщик; он спекулировал солью, предметом первой необходимости; на этом пути он столкнулся с Киево-Печерским монастырем, который также спекулировал солью, причем это столкновение привело к такому результату: мы узнаем, что монастырь примешивал к соли золу и таким образом увеличивал вес соли, не увеличивая затрат со своей стороны. Этот прием был раскрыт агентами князя, и на этой почве князь устроил монастырю, как своему конкуренту, скандал. Значит, это ростовщическое общество увенчивали князь и монастырь, и, куда ни сунется, бедный человек ничего не получает. Монастырь учит его, что надо терпеть, что за это он получит царство небесное; от властей тоже ничего не получишь. Народ терпел, терпел, но в 1113 г., воспользовавшись смертью Святополка и легким замешательством наверху, народные массы восстали. Летописец очень хотел бы изобразить это в виде еврейского погрома. Он рассказывает, как громили ростовщиков-евреев, но он должен был признаться, что евреи, собственно, только первые под руку попались, они были более слабыми и беззащитными, ибо он тут же говорит, что при

продолжении восстания досталось бы княгине-вдове, которая являлась обладательницей награбленного имущества, и монастырям. А что касается княжеских бояр, то их уже ограбили одновременно с еврейскими ростовщиками. Происходила социальная революция,—не социалистическая, но социальная: низы киевского населения встали на верхи. Верхи чувствовали себя так плохо, что решились на крутой поворот, на перемену династии. Они бросили Святополка с его потомками и вызвали к себе популярного князя Владимира Мономаха из Переяславля. Мономах оправдал свою популярность. Он явился в Киев, уговорил ростовщиков — и духовных и светских — сделать большие уступки; годовые проценты были понижены с 50 до 20, рабство за долги было в значительной степени стеснено, закабаленные крестьяне получили право судебных жалоб на своих закабалителей. Словом, он значительно ослабил напряжение «мудрыми реформами», выпустил пары из котла, где их накопилось слишком много, и этим восстановил порядок.

И вот как раз в этот момент его придворный игумен садится писать «откуда пошла русская земля». Теперь вы понимаете, откуда могли взяться все несообразности рассказа о призвании князей: князя к чему призвали? — для восстановления порядка. Так было при Владимире Мономахе. Он сел в Киев не совсем законно, он «пересел» киевскую династию. Чем это оправдать? Кто его призвал? Призвал его народ. В конце концов приглашение это было облечено в форму приглашения от города Киева. Так как исторической перспективы у Сильвестра не было,— он был человек простой,— ему и казалось, что то, что могло быть в городе Киеве в XII в. (столковались и призвали Владимира из Переяславля), то могло быть и в IX в., когда кривичи, меря и другие племена собрались и позвали князя. Что тут удивительного? Зачем позвали Владимира Мономаха? Чтобы он установил порядок. Вот всегда так и было. А для кого был выгоден порядок? Выгоден он был для того общества, верхушки которого, уступками Мономаха, были спасены от гибели. Пришел Мономах и сказал: глупые люди, лучше уступите — живы останетесь, а драть с народа все-таки будете достаточно; а если не уступите, всех вас погубят, и ничего не останется. Этим он победил. Эта роль князя как третейского судьи, восстановителя порядка и была изображена Сильвестром в исторической перспективе. И само собою разумеется, не случайно эта роль была сделана стержнем всей начальной русской исто-

рии. Среди этого хаоса, который привел Мономаха на киевский стол, приходилось поддерживать с трудом восстановленный «порядок» всеми средствами, в том числе средствами пропаганды и агитации. Нужно было внушить народной массе, какое высокое значение имеет княжеская власть, как нужно слушаться князя. В глазах тогдашней, почти сплошь безграмотной, массы всякая писаная строка казалась чем-то священным. Летопись имела громадный авторитет — на нее ссылались в политических спорах. Закрепить в летописи теорию высокого и благодетельного значения княжеской власти, образ князя как праведного судьи, восстановителя порядка — было чрезвычайно важно. Произведение первого русского историка преследовало таким образом определенные политические цели. «Начальный летописный свод» был в сущности агитационной вещью.

Таким образом рассказ о появлении первых князей на Руси является отражением вовсе не тех событий, которые имели место где-то там, в земле кривичей, мери и др. в конце IX в., а событий, которые имели место в Киеве в начале XII в. Другими словами, этот рассказ отражает идеологию современников Владимира Мономаха, и притом тех его современников, которые стояли наверху, которые были заинтересованы в спасении себя от народного восстания разумными уступками и справедливым судом Владимира Мономаха. Таким образом, на самом пороге русской истории нас встречает форменная публицистика: первая «история» русской земли написана с определенной политической целью — возвысить значение княжеской власти и тем закрепить положение имущего класса.

Итак не только наша историческая литература пронизана классовыми тенденциями, но и тот материал, на котором основывалась эта литература, — сам классовый, сам пронизан такими же классовыми тенденциями. И чем ближе к новому времени, тем конечно эти классовые тенденции гуще, потому что тем классовая борьба сознательнее. Если уже в XII в. мы встречаем ее отзвуки в летописи, и эти отзвуки являются источниками целых легенд, то в XVI и в XVII вв., веках напряженной классовой борьбы, этот классовый привкус уже гораздо гуще, гораздо определеннее. Какая-нибудь «история», написанная кн. Курбским, в сущности есть памфлет, вышедший из определенного круга, из определенного общественного слоя, боярский памфлет. Это памфлет того класса, который потерпел поражение.

ние в столкновении с землевладельческими низами, был разграблен и отбивался публицистически, из-за границы. История Курбского, написанная им в эмиграции, есть литературный памфлет, которым он отбивался от своего врага. Таким же классовым произведением является и ответ Грозного Курбскому. Еще больше этот классовый налет, когда мы подходим к Смутному времени. Вам приходилось вероятно слышать выражение — Тушинский вор. Костомаров даже озаглавил одну часть своей «Истории Смутного времени»: «Царь Василий Шуйский и воры». Вот это слово вполне соответствует термину «злоумышленник». Вор это человек, который злоумышляет на общественный порядок и спокойствие. Тушинский вор был вождем, правда, номинальным больше, восставшего крестьянства и казачества, — поэтому он был вор; был «царик», а его противник — представитель имущих классов, буржуазии и боярства, каким был Шуйский, — был настоящий царь. С одной стороны царь, с другой — царик, царишка и вор. Вы догадываетесь сразу, откуда идут те исторические произведения, где такая терминология имеется. До нас дошли от этой эпохи только произведения имущих классов, что совершенно естественно, потому что восставшие в Смутное время крестьянские низы были неграмотны и сами конечно писать истории не могли. По отношению к этим низам мы встречаем поэтому в литературе «Смуты» «единый фронт». Классовая борьба внутри этой буржуазно-боярской литературы отразилась в конфликтах менее глубоких, между отдельными группами и оттенками правящего слоя. Но и этих мелких и неглубоких конфликтов было достаточно, чтобы глубоко исказить довольно крупные факты. И опять конкретные события, которым долго все верили, которые вошли во все учебники, при подходе к ним с этой точки зрения оказываются мифом, оказываются легендой. Возьмем рассказ о том, как по приказанию Бориса Годунова был убит маленький Димитрий Иванович, сын Грозного. И тут мы опять имеем возможность сослаться на труд академика, — нам везет сегодня на академиков, это уже третий, которого мне приходится цитировать, — академика Платонова, где он признает этот рассказ, вошедший во все школьные учебники, легендой. Я должен сказать, что имею в этом отношении некоторое право первенства, потому что я на страницах своей «Русской истории» давно доказывал, что это выдумка. И я был не один. Первые историки, доказывавшие легендарность этого рассказа, относятся еще к 30-м годам

XIX в., но их голоса не были слышны. Из истории одного писателя, который доказывал, что на самом деле Борис Годунов не убивал никакого Дмитрия, была выдрана цензурой Николая I целая глава.

Зачем понадобилась эта легенда? Для того, чтобы утопить в грязи Бориса Годунова. А зачем это было нужно? Это мы легко поймем, если вспомним, что рассказ об убийстве Дмитрия появляется в тогдашней литературе в первые месяцы царствования Василия Шуйского, давнего соперника Бориса Годунова, причем сам Василий попал на престол революционным путем, низвергнув и убив того, кто выдавал себя именно за сына Грозного, за якобы убитого Дмитрия. И вот вступивший на престол через труп своего предшественника царь рассылает исторический памфлет, явно сочиненный по его приказанию кем-то в его канцелярии, где доказывается, во-первых, что Дмитрий был давно убит в Угличе, — стало быть, убитый Шуйским царь был, явное дело, самозванец, а во-вторых, что убивал маленького Дмитрия в свое время именно Борис Годунов. Это был осиновый кол сразу в две могилы. Приводится целый рассказ о том, как этот «рабо-царь», Борис Годунов, сел на престол, совершенно незаконно поправ права тех, кто имел эти права, т. е. самого Шуйского и его родичей, знатных бояр; как он убил Дмитрия, рассказывается подробно, а затем рассказывается, как явился расстрига, беглый монах Гришка Отрепьев, назвал себя царем и как затем был убит. Два трупа, через которые пришлось перешагнуть Василию Шуйскому, были оправданы. В этом памфлете вы впервые встретите указание на то, что Дмитрий был убит именно Борисом Годуновым, в то время как имеются подлинные, современные смерти Дмитрия, свидетельства об этой смерти, и там говорится, что он погиб жертвой несчастного случая. Целым рядом свидетельских показаний дядей царевича и окружавших его людей установлено, что он играл в дикую игру «тычку», бросая нож в цель, а у него была падучая, он был эпилептик, он с ножом в руках упал в припадке, и нож, вонзившись в него, перерезал крупную артерию, из него полилась кровь, и кровью он изошел. Имеются официальные документы, следственное дело, которое вдобавок вел сам Василий Шуйский, автор или заказчик того памфлета, о котором я говорил. Но теперь Шуйскому нужен был не только законный повод для убийства царя Дмитрия Ивановича («Лжедмитрия I» наших учебников), ему нужно было еще кое-что: чудотворные

мощи нового угодника божия. «Невинно-убиенный отрок» был великолепным материалом для этой последней цели. И Шуйский, легко позабыв, как он сам же производил следствие о кончине царевича Дмитрия от несчастного случая, перевозит из Углича в Москву тело «убитого» пятнадцать лет тому назад мальчика, — и разумеется у тела сейчас же начинают происходить «чудеса». И «чудеса» эти еще в XIX в. мешали сказать правду о смерти Дмитрия и очистить от клеветы имя того царя, который стоял когда-то поперек дороги Василию Шуйскому. Только Октябрьская революция, покончив со всеми мощами и «чудесами», от них происходившими, разрешила академику Платонову сказать, что все это чепуха.

И рассказ о том, что Дмитрий Иванович был монах-расстрига, который взял на себя имя Дмитрия-царевича и под его именем облыжно вошел на московский престол, нужен был Василию Шуйскому для того, чтобы оправдать убийство царя и доказать, что он убил не царя. Какой же это царь, который облыжно взял на себя царское имя, всех обманул? Между тем все больше и больше даже буржуазные историки склоняются к той мысли, что этот неизвестный человек во всяком случае не был самозванцем, не он назвал себя Дмитрием, а другие назвали его Дмитрием, — правильно или нет, трудно сказать. Некоторые историки говорят, что это настоящий Дмитрий и есть и что погибший от несчастного случая мальчик не был самим собой, что это был подложный царевич, которого подставили нарочно, чтобы запрянуть настоящего. Это очень искусственное объяснение, товарищи; на нем я не настаиваю. Но несомненно, что первый Дмитрий твердо верил в то, что он настоящий сын Грозного царевич Дмитрий Иванович, и соответствующим образом действовал. Только потому и мог Шуйский его убить, что он твердо верил в свое царское происхождение и, веря в это, не помышлял о том, чтобы его свергли с престола, не принимал никаких мер предосторожности. Благодаря этому Василий Шуйский и другие заговорщики могли взять его, что называется, голыми руками, потому что, если бы он принял меры предосторожности, добраться до него было бы трудно. Таким образом легенда о «самозванце» первом Дмитрие — это такая же чисто политическая легенда, как и легенда о том, что настоящий или мнимый царевич Дмитрий был убит по приказанию Бориса Годунова.

Нам приходится брать эти мелкие случаи потому, что

литература, дошедшая до нас от Смутного времени, есть литература имущих классов, и ни одного произведения, которое отражало бы в себе точку зрения крестьянства, к сожалению мы не имеем. Но это конечно заставляет нас относиться к этой литературе с сугубым недоверием и особенно критически рассматривать все ее показания. Если о Борисе Годунове мы находим в ней столько ядовитой лжи, пущенной в оборот Василием Шуйским,—а впоследствии его противники, главным образом сторонники Романовых, умели рассказать не мало пахучих анекдотов о самом Василии,—то какой же «объективности» могли бы ожидать от тогдашних историков вождь восставшего крестьянства Болотников или тушинское правительство? Изучать народное движение «Смуты» по дошедшим до нас современным хроникам — то же, что изучить Октябрьскую революцию по «Русскому слову» . . .

Эту довольно сухую материю, вас вероятно несколько утомившую, мне бы хотелось закончить веселым штрихом. Этот веселый штрих заключается в знаменитой «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, который, по словам Пушкина, был Колумбом древней России — открыл древнюю Россию, как Колумб открыл Америку. Эта фигура чрезвычайно любопытная, потому что в Карамзине, писавшем в начале XIX в., политическая публицистика под видом объективной истории приобретает особенно выпуклый и, я бы сказал, цинический характер. «История Государства Российского» — это не только публицистическое произведение, но это публицистическое произведение, корни которого для нас открыты. Я постараюсь рассказать вам это его собственными словами, рядом выдержек из его писем. Эта своего рода автобиография вам покажет, чего можно ожидать от «Истории» Карамзина как научного произведения.

Первое письмо, которое приходится цитировать, Карамзин адресовал к тогдашнему попечителю Московского учебного округа, как он тогда назывался, куратору Московского университета — Муравьеву.

«Имея доказательства вашего ко мне благорасположения, а более всего уверенный в вашей любви ко славе отечества и русской словесности, беру смелость говорить вам о моем положении. Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принужденною работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы — од-

ним словом, сочинять Русскую Историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою. Теперь слабые глаза не позволяют мне трудиться по вечерам и принуждают меня отказаться от «Вестника»¹. Могу и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды. С журналом я лишаюсь 6 000 рублей дохода. Если вы думаете, милостивый государь, что правительство может иметь некоторое уважение к человеку, который способствует успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение российской публики и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов, то нельзя ли при случае доложить императору о моем положении и ревностном желании написать историю не варварскую и не постыдную для его царствования... Хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет; ибо в это время надеюсь управиться с Историею. И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная История и публика не оставили бы меня в нужде. Смею думать, что я трудом своим заслужил бы профессорское жалованье, которое предлагали мне дерптские кураторы, но вместе с должностью, неблагоприятною для таланта. — Сказав все и вручив вам судьбу моего авторства, остаюсь в ожидании вашего снисходительного ответа. Другого человека я не обременил бы такою просьбою; но вас знаю и не боюсь показаться вам смешным. Вы же наш попечитель...».

Письмо послано 28 сентября 1803 г., и 31 октября состоялся высочайший указ: «В именном его императорского величества указе, данном кабинету, от 31 октября 1803 г., сказано: как известный писатель, Московского университета почетный член, Николай Карамзин изъявил нам желание посвятить труды свои сочинению полной истории отечества нашего, то мы, желая одобрить его в столь похвальном предприятии, всемилостивейше повелеваем производить ему, в качестве историографа, по две тысячи рублей ежегодного пенсiona из кабинета нашего».

Карамзин, рассказывает его биограф, «выразил свою благодарность почтенному покровителю следующим письмом, которое должно украшать и биографию Муравьева:

«Вам единственно обязан я милостью государя и способом заниматься тем делом, которое может быть славно для

¹ «Вестник Европы» — журнал, который издавал Карамзин.

меня и не бесславно для России; к сему одолжению вы присоединили еще всю нежность души кроткой, чувствительной и тем возвысили цену его . . . Как вам приятно делать добро, так сердцу моему сладостно быть навеки благодарным. Прошу вас, милостивый государь, изъяснить великодушному монарху усердную и благоговейную признательность одного из его вернейших подданных, который посвятит всю жизнь свою на оправдания его благодеяний».

Дело совершенно ясное. Император Александр I, взвесив все обстоятельства, убедился, что писатель заслуживает доверия, хочет посвятить дни свои писанию «Истории», которая бы прославила, между прочим, и царствование Александра, и дал ему за это определенную сумму денег. Совершенно ясная и определенная вещь. Так началась «История Государства Российского» Карамзина. Когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое, — куда он идет? Он идет в Коммунистическую академию и там читает. Когда Карамзин написал первую главу «Истории» — что он сделал? Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры, Екатерины Павловны, и там Александру I читал первую главу своего произведения. Совершенно естественно — читают тому, для кого пишут. Писал Карамзин Александру по его заказу, ему и нужно прочесть. Мы пишем для нашей коммунистической публики и ей читаем, а он поехал царю читать. Совершенно естественно. Александр заслушался «Русской Истории» так, что позабыл следить за временем; когда Карамзин кончил читать, Александр, вынув часы, обратился к сестре и сказал: «Знаете ли, который час?—Уже 12. До полуночи засиделся, не заметив времени!». «История» таким образом была одобрена. Карамзин, ободренный успехом, продолжал ее писать и в 1816 г. с готовыми 10 томами приехал в Петербург—не с первой главой, как с образчиком, а уже со всей «Историей». Тут начинается история с «Историей» Карамзина. Я не знаю, как вам читать, это длинно, но это до такой степени выразительно... Он приехал в Петербург, довел до сведения государя, что он привез «Историю», которая была ему заказана. Государь сказал, что пригласит его и выслушает в назначенное время, но не сказал—когда. Тут праздник замешался; это был мясоед—сначала рождество, потом масленица все мешали. Сидит Карамзин и ждет и томится, что будет.

«7 и 8 февраля. Будучи бесперестанно в движении, я не ступил почти ни шагу к главной цели. Один в е л ь м о ж а

или боярин (ибо здесь нет вельмож, кроме одного графа Аракчеева, как сказывают) вымолвил моему приятелю такое слово: «Карамзин хочет, чтобы казна дала деньги на печатание его «Истории»; но сумма велика, и вероятно, что по новым правилам экономии ему откажут, или не откажут, да не дадут. В таком случае я с удовольствием предложил бы ему 50 тысяч для сего дела». Я рад, что у нас есть такие бояре, но скорее брошу свою «Историю» в огонь, нежели возьму 50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».

«11 февраля. От государя ни слова. Императрица Мария нередко говорит обо мне с другими, как мне сказывают. Что будет далее, не знаю; но знаю, что 10 марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей».

«18 февраля. Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет по с л е п р а з д н и к о в. Через два дня пост; но говенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль продать свою «Историю» тысяч за сто, то есть, если не увижу государя еще недели три, или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может быть, найдется; но согласно ли это с достоинством Российской Империи и с честью историкографа?».

«24 и 25 февраля. Уже три недели я здесь и теряю время на суету: не подвигаюсь вперед и действительно имею нужду в терпении. Почти ежедневно слышу, и в особенности через великую княгиню, что государь благонастроен принять меня—и все только слышу. Видишь, как трудно войти в святилище его кабинета. Вчера граф Капо д'Истрия (сидевший у меня три часа) в утешение говорил мне, что государь во все это время еще никого не принимал у себя в кабинете: следовательно надо ждать. Буду молчать до третьей недели поста, а там скажу, что пора мне домой, как я уже писал к тебе».

Дальше разворачивается история. Оказывается, чтобы попасть в кабинет к Александру I, надо было пройти через кабинет Аракчеева, «единственного вельможи». Сначала думали, что Карамзин догадается это сделать сам, но он не догадывался. Тогда Аракчеев прислал сказать, что он желал бы его у себя видеть. Карамзин думал, что приглашение относится к его брату, который был знаком с Аракчеевым.

и то ли от скромности, то ли от гордости не пошли. Пошел брат и произошло кви-про-кво: Аракчеев не узнал брата и стал выражать свое удовольствие по поводу того, что знакомится с великим историографом. Брат объяснил недоразумение, и тут-то выяснилось, что сомнений нет: Аракчеев желает видеть именно историка Карамзина. Тот надел мундир и завез свою визитную карточку Аракчееву. Все это время он питался слухами о том, что сказал государь: то, что денег ему не дадут, то, что сделают его камергером. Среди этих томлений он появился у Аракчеева и имел с ним беседу. «Я отвез карточку к графу Аракчееву и на третий день получил от него зов; приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторой искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал: «не прошу, ваше сиятельство; но если вам угодно, и если будет кстати» и пр. Он сказал: «Государь без сомнения распотрожен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь». Пришел третий человек, его ближний, и разговор наш переменился. Слышно, что он думает пригласить меня к обеду. Вообще я нашел в нем человека с умом и с хорошими правилами».

Наконец 16 марта (после 2 месяцев ожидания) мог написать Карамзин жене: «Милая, вчера в 5 часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково, обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь: не выразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию: два раза начинал и не кончил. Скажи: тем лучше, ибо он хотел говорить со мною. Я предложил, наконец, свои требования: все принято, дано, как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге; весну и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и пр.» (!!).

«Марта 17. Вчера я отвез карточку к графу Аракчееву: он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с императором».

«21 марта. Ты уже знаешь, друг бесценный, что государь пожаловал мне еще Анненскую ленту через плечо и самым приятнейшим образом».

Какая это типичная придворная история! И при свете этой истории вы легко понимаете отношение тогдашней ли-

беральной публики к «Истории Карамзина», отношение, выразившееся в едкой эпиграмме Пушкина: «В его «Истории» изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия: необходимость самовластия и прелести кнута». Это была действительно официальная «историография» той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шагу вперед. Это была книга, написанная по заказу Александра I и для него,—но нужно, чтобы она угодила и Аракчееву.

Нам теперь приходится выяснить прежде всего не тот угол зрения, под которым Карамзин смотрел на историю, а смысл той философии истории, смысл того подхода, который нашли нужным Александр I, Аракчеев, вообще все тогдашнее правительство, продиктовать Карамзину. Если мы подойдем с этого конца, то мы поймем основную идею Карамзина. Основная идея заключается в том, что Россия всегда спасалась единодержавием, объединением под одной властью. Возьмите царствование Екатерины II и Александра I. Что это были за люди? Это были великие собиратели земли. Екатерина II поделила Польшу и отрезала от нее громадный кусок в пользу Российской империи; Александр I захватил остатки Польши, привислиньские губернии и Финляндию. В промежутке он укрепостил Закавказье, Грузию, нынешний Азербайджан, Армению и т. д. Надо было оправдать это собирание земли новейшими царями, и вот Карамзин собирание русской земли делает стержнем всего русского исторического процесса. Сначала собирал Рюрик или, во всяком случае, Владимир. Ярослав по глупости разделил собранное между своими детьми. Приходилось собирать сызнова. Собирали Иван Калита, Иван III, собирал Иван Грозный. Потом стали собирать Романовы, Екатерина II, Александр I. Правда, собирали они довольно своеобразно: они собирали то, что лежало в чужих карманах.

И вот их историограф, который пишет по их заказам, из этого собирания делает смысл всей русской истории. У него все сводится к этому собиранию. Значит, для того чтобы донять, расшифровать «Историю» Карамзина окончательно нам остается одно—узнать, чем руководилось это собирание. И тут мы без труда увидим ту классовую силу, которая стояла за «собирателями». (Собирание Руси с самого начала Московского княжества и до Александра I двигалось совершенно определенным экономическим фактором.—Этим фактором был торговый капитал. Для торгового капитала чрезвычайно важны были размеры террито-

рии, на которой он действует, потому что, чем шире территория, находящаяся в монопольном обладании торгового капитала, тем крупней его оборот и тем больше его прибыль. Отсюда наклонность государств торгового капитала собирать землю. Французский торговый капитал заставил французских королей собирать Францию. Торговый капитал XVI в. повел к образованию громадной империи Карла V, в пределах которой не заходило солнце. Торговый капитал всегда и всюду вел к собиранию земли, потому что ему экономически было нужно объединить в одних руках громадную территорию. И, изучая шаг за шагом историю так называемой Российской империи, вы видите, что это есть ряд завоеваний торгового капитала, под влиянием которого складывается империя, собираются земли. Источником собирания земель служили, с одной стороны, завоевания на Востоке, а с другой—отнятые области на Западе, у Польши, у Украины. Торговый капитал тянул к себе все новые земли и, в конце концов, при Николае I начал распухать за географические пределы русской равнины, попытавшись втянуть в круг своих действий и Персию, и Турцию, и даже Среднюю Азию.

Если вы подойдете с этим ключом к Карамзину, вы не только поймете его «Историю», поймете, почему торговый капитал, о котором ни слова не говорится в «Истории», вел эту «Историю» к собиранию земли, но вы поймете и физиономию Карамзина как общественного типа, вы поймете, почему он был сторонником крепостного права, почему он был противником освобождения крестьян: потому что торговый капитал у нас в России создал барщинное хозяйство как средство выжимать из крепостных крестьян прибавочный продукт для рынка. Торговому капиталу необходим был аппарат в виде крепостного права. Торговый капитал был настоящей царь, который стоял за коронованным, в сущности, призраком или, если хотите, за коронованным манекеном, был настоящей руководящей силой, которая создала и эту империю и крепостное право.

Теперь представьте себе, что наивный человек возьмет и начнет читать «Историю» Карамзина, рассматривать ее как фотографию того, что происходило в России, на протяжении с IX по XVI в. Вы согласитесь со мною, что этот человек будет в чрезвычайно глупом положении, потому что он не знает самого основного, у него нет ключа к этой загадочной летописи. Только когда у вас будет ключ, вы не будете обращать внимания на все это собирание Руси, потому что

это нужно Карамзину для его публицистических целей, но вы вышелушите из этого те факты, которые он взял из разных источников. Правда, вам придется произвести работу и по отношению к этим фактам, но вы будете и тут иметь ключ к тому, как возникли эти факты, и только таким образом вы в состоянии будете использовать и Карамзина и его источники. Если же вы все это упустите из виду и будете рассматривать Карамзина как идеального историка, который из интереса к прошлому занимался писанием русской истории, вы конечно ничего у него не поймете и будете им обмануты, как была им обманута когда-то вся наша школа. Та школьная история, которую вы, к счастью, не изучали, действительно строила всю русскую историю по линии собирания Руси и в этом собирании видела громадную заслугу русских государей в прошлом и весь смысл существования русского народа. Причем на вопрос: а зачем нужна вся эта куча земель, собранных под одной властью, зачем нужно, чтобы не понимающий русского языка финляндец, не понимающий его грузин, присягли на подданство русскому царю,—история ответа дать не могла. Ответ на это дает классовая точка зрения.

На этом я заканчиваю характеристику чисто публицистического периода русской истории. То, что пойдет дальше, будет иметь больше отношения к науке, поскольку у этого дальнейшего и у нас есть общий корень. После Карамзина я перейду к гегелевской школе в русской истории. Гегелевская школа—в родстве с марксизмом, но это не мешает ей подчиняться на всем протяжении определенным классовым интересам, и, мало того, даже первые зачатки материалистического понимания истории в России,—хотя это был уже маленький шаг в настоящую науку,—были вызваны также интересами определенного класса и носят на себе его отпечаток.

II.

Та теория, которая сводила весь смысл русской истории к образованию огромного (его считали равным $\frac{1}{3}$ части всей суши) государственного тела, именуемого Российской империей, и которая нашла свое выражение в «Истории» Карамзина, эта теория устарела уже, можно сказать, в день своего появления.

Уже в 20-х годах XIX в. в ученом мире с Карамзиным почти не считались; он был тем оселком, на котором пробовали свое научное остроумие молодые историки. И только

широкая публика, которая увлекалась главным образом манерой изложения, продолжала его еще читать, да авторы учебников, частью, поневоле, по долгу службы, почерпали из Карамзина философию русской истории. Такое быстрое устарение исторической теории, связанной с торговым капитализмом, характерно для быстроты экономического и общественного развития России.

Когда Карамзин кончил свой труд, вдохновлявшийся интересами торгового капитала, в России сложился промышленный капитализм, требовавший новых точек зрения всюду, между прочим и в истории.

С точки зрения занимательности надо было бы постепенно подвести вас к этой теории, показать, как постепенно под давлением промышленного капитала, складывалось это понимание. Но в данном случае я думаю, надо пожертвовать занимательностью ради педагогического интереса, и поэтому я вам дам эту теорию в двух словах, а затем вы проследите, как она складывалась, откуда брались ее отдельные элементы. Эту теорию вы встретите всюду, до первых страниц книги Троцкого «1905» и до введения к «Истории русской общественной мысли» Плеханова включительно. Из старых экономических материалистов от нее отделился только Н. А. Рожков, и хотя он и несовершенный исторический материалист, но это его большая заслуга; другие от нее отделиться не могли. Поэтому, какую бы книгу по русской истории вы ни взяли, вы на эту теорию наткнетесь. А состоит эта теория вот в чем

Общество создано государством. Государство во имя своих интересов образовало в России общественные классы, которые в юридической государственной оболочке получили у нас форму сословий. Благодаря тому, что у нас общество создано государством, у нас иные отношения между обществом и государством, чем они были на Западе. На Западе сословия ограничивали государственную власть,—в России они не могли ее ограничить по той причине, что они сами являются созданием этой государственной власти. Поэтому в России не было и классовой борьбы в том развернутом виде, в каком она существовала в Западной Европе; русская история гораздо более монотонна, более однообразна, чем западная.

Государство создало сословия и прикрепило каждое из них к своему тяглу: дворянство—к военной службе, купечество—к торговле, крестьянство—к земледелию на пользу государства и дворянства.

Затем, когда государству уже не требовалось больше это прикрепление сословий, началось раскрепощение. В XVIII в. сняты были повинности с дворянства; в начале XIX в. получило гражданское равноправие купечество, а в середине XIX в.—в 1861 г.—были освобождены и крестьяне. Таким образом сначала все русское общество было закрепощено создавшим его государством, а потом государство раскрепостило, сняло тягло.

Вот в двух словах та историческая теория, которой мы сегодня займемся.

Несмотря на то, что эта теория звучит крайне националистически, несмотря на то, что она подчеркивает отличие русской истории от истории других европейских народов,—несмотря на это, теория эта происхождения не русского, а западноевропейского, можно даже сказать шире—всемирного, ибо она отражает в себе интересы промышленного капитала и промышленной буржуазии, интересы которой были тождественны всюду, не только в Европе, но и в Америке, позднее в Китае и в Африке. Отсюда эта теория имела бы все шансы быть усвоенной и китайцами, и неграми Конго, и разными другими народами, до которых «блага» капитализма еще не дошли.

Вы видели, что бог-творец русской истории по этой схеме есть государство. Почему же государство заняло такое положение в этой схеме? Почему Карамзин не вел своего государственного бога дальше образования территории, а вот этот новый бог—бог промышленной буржуазии—оказался творцом всего общества? Да по той причине, что торговый капитал не вмешивался в производство. Он оставлял крестьянина на своем наделе, ремесленника в своей мастерской, купца в своей лавке и только эксплуатировал их системой домашнего производства: производители сидят у себя по домам, а капитал их эксплуатирует, тянет из них жилы, делает их источником своего дохода, но в их производство не вмешивается. Путем внеэкономического принуждения капитал заставляет их делать то, что ему нужно. С этой целью в России торговый капитал создал крепостное право и барщинное хозяйство, чтобы выжимать из крестьян продукты для рынка. Промышленный капитал не может оставить крестьянина у себя на земле, он должен отнять у него надел, пролетаризировать крестьянина, чтобы получить из него рабочего для фабрики. Он не может оставить ремесленника в своей мастерской, он должен отнять у него мастерскую и превратить его в пролетария. Таким образом задача

промышленного капитала гораздо революционнее сравнительно с задачами торгового капитала. Вот почему промышленный капитал нуждается в ломке тех отношении, какие для торгового капитала безразличны, или которыми торговый капитал даже пользуется, очень хорошо пользуется—они ему нисколько не мешают. Промышленному капиталу нужен был поэтому молот, которым он мог разбивать все оставшиеся от средних веков социальные перегородки. Этим молотом в руках промышленного капитала и было то новое буржуазное государство, которое характеризуется именно отсутствием глухих перегородок между общественными группами и превращением всего населения в две группы,—с одной стороны, владельцы орудий производства, капиталисты, с другой стороны—пролетариат. Это—цель, которую ставит историческому процессу не только субъективно наша теория капиталистического общества, но и объективно само капиталистическое общество стремится именно к этой цели. Государство, ломающее все социальные перегородки и тем очищающее, как мощный таран, дорогу промышленному капиталу, естественно должно было явиться в руках этого капитала силой, если хотите—божественной силой, которая выше всего,—силой, которой ничто не может противиться. Вот откуда взялась эта национально как будто русская, а на самом деле, повторяю, вовсе не русская, а классовая, буржуазная, промышленно-капиталистическая теория всемогущего государства, творящего общество.

Я изложу вам эту историческую схему словами того, кто в русской исторической литературе может считаться основоположником этой теории. Обращаю ваше внимание на то, что эти строки написаны в конце пятидесятых годов XIX в., приблизительно, значит, лет 70 тому назад, или несколько меньше.

«Гражданское общество составляет вторую ступень в историческом развитии нашего отечества. В первую эпоху, на заре истории, мы видим союз кровный, затем является союз гражданский, наконец—союз государственный. Первый составляет первоначальное, естественное проявление человеческого общества. Человек—существо общежительное, вне общества он никогда не жил и не может жить. Но это стремление к общественности выражается в нем сначала бессознательным образом; оно лежит в нем как естественное определение его природы и проявляется в союзе данным самою природою. Это союз кровный, происшедший из нарастания семьи. Люди связаны здесь сознанием об единстве проис-

хождения; личности еще не выделились и составляют массу имеющую одни нравы, одно наречие, одни верования и расчленяющуюся внутри себя по естественным, физиологическим определениям: семья, род, колено, племя... Этот союз основанный на сознании естественного происхождения, должен однако распастись при более или менее частых столкновениях с другими народами, при вторжении чужестранных элементов, которые достаточно крепки, чтобы не поддаться силе кровного быта, наконец, при развитии человеческой личности. Такое разложение совершилось у нас с появлением варяжской дружины, основанной на договоре лиц свободных. Принесенные ею элементы, смешавшись с прежними, образовали порядок вещей, совершенно отличный от предыдущего. Общественное единство, которое коренилось в сознании кровной связи, рушилось; личности, не сдержанные более в своих стремлениях тяготением общего, господствующего обычая, предались своим частным интересам; отношения родственные, договорные, имущественные,—одним словом, частное право,—сделались основанием всего быта, точки зрения, с которой люди смотрели на все общественные явления. Так произошел союз гражданский, образовавшийся из столкновений и отношений личностей враждующих в своей частной сфере. Общественною связью служило либо имущественное начало—вотчинное право землевладельца, либо свободный договор, либо личное порабощение одного лица другим... личность во всей ее случайности, свобода во всей ее необузданности лежали в основании всего общественного быта и должны были вести к господству силы, к неравенству, к междоусобиям, к анархии, которая подрывала самое существование союза и делала необходимым установление нового высшего союза—государства. Только в государстве может развиваться и разумная свобода и нравственная личность; предоставленные же самим себе, без высшей, сдерживающей власти, оба эти начала разрушают сами себя. Необузданная свобода ведет к порабощению слабого сильным; личность, выражающаяся в преимуществах чисто индивидуальных, ведет к уничтожению внутреннего достоинства человека. Таков диалектический процесс различных общественных элементов».

Эти слова «диалектический процесс»—для тех из вас, кто знает историю марксизма, уже задают вопрос—не ученик ли Гегеля написал это? Да, это так. Я вам прочел цитату из одной статьи Ч и ч е р н а. Он был первым и самым популярным из русских гегельянцев. Гегелевская философия,—

не национально-русское явление, а мировое,—отразила в себе интересы промышленного капитала в области понимания истории. И вы поглядите, как все здесь хорошо сложено. Почему нужно государство с точки зрения этой теории? Потому, что без него мы имеем хаос отдельных личностей. Другими словами, система капиталистического общества держится вовсе не какой-нибудь внутренней экономической гармонией, как утверждают вульгарные экономисты, разоблаченные в свое время Марксом,—эта система держится на полицейской диктатуре буржуазного государства. Вам это трудно втолковать, потому что вы не видели этого буржуазного государства во всей его прелести, но читали книжки, написанные об этом буржуазном государстве, а в этих книжках читали определенную ложь об этом государстве как о царстве свободы, ибо русские интеллигенты принимали за чистую монету то, что говорилось о свободе в западноевропейских конституциях. Главным образом потому с русским интеллигентом происходила такая ошибка, что он не жил в качестве обывателя в этой самой свободной буржуазной общественности, а приезжал за границу в качестве туриста,—ну, турист, путешественник, из окон вагона и из своей гостиницы всей жизни страны не увидит, тем более, что для туриста, дабы его не отпугивать, во всех буржуазных государствах было заведено более льготное положение, чем то, которое существовало для туземцев. Но когда вы попадали в положение туземца,—как мне пришлось прожить в Париже 8 лет,—то поневоле смотрели не с точки зрения гостиницы и железнодорожного вагона, а с точки зрения коренного жителя страны. И что поражало в свободной демократической республике, называемой Францией, это колоссальный культ городского.—культ городского, который я слабым своим языком не могу изобразить. Это нечто невероятное и непонятное. Городовой для доброго французского буржуа—это богоподобное существо, оскорбление которого карается примерно так, как у нас при царском режиме каралось оскорбление Иверской богородицы, или что-нибудь в этом роде. Когда известный, в то время крайне левый социалист, а позже крайне правый националист,—Густав Эрвэ, за несколько лет до войны, по случаю особенно возмутительного образчика французского полицейского произвола, высказался как следует в одной своей статье о французской полиции, т. е. подобающим образом изобразил ее прелести, его на три года отправили в каторжную тюрьму. Кто же туда его отправил? Отправили присяжные свободной

страны; его статья на них произвела такое впечатление, какое произвел бы у нас 20 лет назад камень, пущенный в Иверскую часовню. Когда я, не один раз соприкасавшийся с русской полицией в качестве «политического преступника», попал в парижский участок в качестве простого обывателя, мое впечатление было ни с чем не сравнимо,—это свержу участок, там с вами не разговаривают, на вас орут, дают понять, что чуть что—вас исколотят вдрызг. У нас могли исколотить забастовщика, но там колотят и домовладельцев. В один из парижских участков зашел случайно по своему частному делу местный домовладелец, которого в участке не знали в лицо. В участке в это время ждали кого-то, кто должен был подвергнуться избиению. Домовладельца схватили дюжие городовые и исколотили. Потом выяснилось, что это почтенный буржуа, но это не имело никаких последствий, газеты об этом не кричали, никого не судили: божество иногда ошибается. Господь бог ошибается: нужно солнце, а он шлет дождь.

Эти несколько анекдотов я привел для того, чтобы наглядно нарисовать вам полицейскую диктатуру буржуазного государства, при помощи которой это своеобразное божество справляется с хаосом буржуазного хозяйства, ставит каждого на свое место, поддерживает твердую руку хозяина. Вот для чего нужно это государство промышленному капиталу. Это отнюдь не простая фраза; это нечто абсолютно необходимое, и философия Гегеля, отразившая в себе буржуазную французскую революцию, одним своим крылом, правым, обоготворила это государство. Но гегелевская философия отражала не только буржуазную эволюцию, но и буржуазную революцию. Гегель с удивительной для прусского тайного советника и казенного профессора Берлинского университета откровенностью признал роль насилия в истории. Вы помните, что в его диалектическом процессе история не гнушается ничем. Он прямо говорит: ничто великое в мире не совершается без страсти; в своем бурном стремлении историческая диалектика пользуется не только насилиями, но даже прямо преступлениями. Таким образом диалектика Гегеля не останавливается ни перед чем. Слово «диалектика» и даже понятие есть у Чичерина, но вы тщетно стали бы искать в русской исторической литературе этого направления, этой стороны гегелевской диалектики, ее революционной стороны. Наоборот, самая мысль о возможности насилия в государственных делах приводила Чичерина в ужас, и когда он нашел в одной статье Герцена «воззвание

к топору», он разразился против Герцена ругательной статьей, из которой я позволю прочесть выдержку.

«На каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достоинство, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете, вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы в праве спросить это у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор, как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу—вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти... Нет, всякий, кому дорога гражданская жизнь, кто желает спокойствия и счастья своему отечеству, будет всеми силами бороться с такими внушениями, и пока у нас есть дыхание в теле, пока есть сердце в груди, мы будем проклинать и эти орудия и эти воззвания».

Как видите—это гегельянец особого толка. Из философии буржуазной революции осталась только первая половина—прилагательное «буржуазная», а существительное «революция» куда-то исчезло. Таким образом, нельзя просто сказать, что Чичерин был гегельянец; приходится назвать его своеобразным русским гегельянцем, принимавшим Гегеля без революции. Но нам интересно объяснение с классовой точки зрения, откуда взялось то национальное, своеобразное гегельянство, которое отразилось в теории Чичерина? Его статьи, заключающие в себе квинтэссенцию его исторического мировоззрения (знаменитые «Опыты по истории русского права»), написаны в конце 50-х годов XIX в., буквально накануне освобождения крестьян. Некоторые из этих статей представляют собой прямой ответ на вопрос: откуда взялось то крепостное право, которое сейчас, завтра, послезавтра будет ликвидироваться. Кто был Чичерин по своему классовому положению? Это был, во-первых, тамбовский помещик и, во-вторых, профессор государственного права в Московском университете. В этих двух своих ипостасях он должен бы быть сторонником мирной ликвидации крепостного права. При Александре II трудно было представить себе на кафедре профессора-революционера; еще труднее было представить себе, чтобы тамбовский помещик желал насильственной ликвидации крепостного права, которая угрожала бы кровавой ликвидацией ему самому.

Между тем операция была довольно трудная. Вы конечно знаете уже из общего курса русской истории, что само освобождение было самое последнее дело, стоявшее на самом последнем плане. Дело было не в освобождении, а в том, чтобы заставить крестьян уступить помещикам часть своей земли, и при этом лишившись части своей земли, уплатить помещику некоторую сумму денег, дабы у помещиков были и земля и капитал для заведения нового, батрацкого хозяйства на этой земле. Эта операция была невыразимо трудная и сложная. Как устроить так, чтобы крестьянин отдал землю, да еще и заплатил за это деньги? Согласитесь сами—это не так просто. То, что крестьяне ответили приблизительно двумя тысячами восстаний на эту свободу, это было гораздо ниже ожиданий, которые были у Чичерина и у тогдашнего правительства. Александр II почти прямо говорил, что когда крестьянин увидит ту волю, которую он ему дает, то он взбунтуется,—и требовал назначения всюду генерал-губернаторов с самыми широкими, неограниченными полномочиями, чтобы заставить крестьян эту волю признать. Александр II не был гениальным человеком, но эту простую вещь он понимал. Это понимал лучше его профессор Чичерин. «Вспомните,—говорит он Герцену,—в какую эпоху мы живем: у нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противодействующие стремления, согласить враждебные интересы (т. е. крестьян и помещиков), развязать вековой узел, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба (о, конечно здесь также есть борьба!), но борьба обдуманная, осторожная. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать, чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силой страсти, кипением гнева?». Попробуйте к мужику подойти и сказать: давай деньги и еще землю в придачу. Нужна была искусная рука, а в это время Герцен начинает говорить о палке, топоре и других неудобных вещах.

Итак вы понимаете, что из гегелевской формулы, по существу сводившейся к «буржуазной революции», Чичерин мог принять только первую часть—«буржуазная»,—а вторую часть—«революция»—он принять не мог. Как раз в России в то время для класса, к которому принадлежал Чи-

черин, складывались такого рода отношения, при которых революция была совершенно не желательна и не нужна. Только в этой связи мы и понимаем ту своеобразную форму, которую приняла диалектическая теория в России и которую я вам вкратце изложил в начале лекции, эту самую теорию закрепощения и раскрепощения. Что нужно было доказать Чичерину? Во-первых, что все крупные общественные перемены в России совершились сверху, силою всемогущего государства,—стало быть, так должна была совершиться и предстоящая перемена в отношении крестьян и помещиков. Во-вторых, что воля государства при этом не встречала противодействия, перемены происходили мирно, без революции. Теперь возьмите краткое резюме теории «закрепощения и раскрепощения» в собственном изложении Чичерина.

«Таковы указы об укреплении крестьян. Из последнего видно, что неурядица, происшедшие от укрепления неполного, повели к укреплению полному.—Если мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущею историею, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские и крестьяне—отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству. Служилые люди не были укреплены к местам, ибо служба их была повсеместная. Тяглые же люди, как мы уже видели, считались крепостными и не могли уходить со своих мест. Невозможно было не распространить этого положения и на вотчинных крестьян. Во времена всеобщего укрепления это было бы несправедливым исключением...».

«Итак этот переворот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего бы-

та. Но каким же образом мог он совершиться без сильных потрясений? Только в пословице: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» сохранилось о нем воспоминание в народе. Мы найдем этому объяснение, если взглянем на способ укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом перехода: «а боярам и слугам вольным воля». Но когда уничтожилась удельная система, московские государи стали требовать, чтобы они перестали отъезжать. И вот, без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг сделались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре, ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как например феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрознены. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами; их сделали холопами, а они все-таки продолжали отъезжать. Точно так же и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII в. наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписать, главным образом, этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло наконец верх, потому что на стороне его было право. Оно не делало исключений ни для кого; оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и сослужили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 г. оно получило разные права и преимущества как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы, приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается наконец и эта последняя принудительная связь: вековые

повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая была положена в XVI в., и начинается для России новая пора».

Почему нужно было государство-бог, которое творило сословия, которое их закрепощало и раскрепощало? Да потому, что это давало историческое оправдание готовящемуся акту 19 февраля. Кто создал крепостную неволю? Государство. Кто ее должен ликвидировать? Конечно государство.—«Я тебя породил, я тебя и убью»,—могло бы сказать это государство словами Тараса Бульбы, обращаясь к крепостному праву. Оно создало крепостное право из государственных соображений. Новые государственные соображения крепостное право отменяют. Чичерин утешает своего читателя тем, что в прежнее время закрепощение прошло без всякого сопротивления со стороны крестьян. Только, говорит, поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» — осталась. Так же безболезненно пройдет и новая, предстоящая (в 1858 г. дело было) операция над крестьянами. Вы видите, как тут объяснение истории переходит в фальсификацию истории, фальсификацию вероятно бессознательную. Чичерин слишком крупный мыслитель, чтобы его можно было подозревать в грошевых передержках, но как он смазал Смутное время, куда он спрятал Разина, куда он спрятал Пугачева? Да разве одного Пугачева было не достаточно, чтобы оценить, как крестьяне реагировали на закрепощение? А у нас был не один Пугачев, был еще Разин, а раньше Смутное время с Болотниковым. Это значит выкинуть из русской истории чуть ли не половину. Она выбрасывается потому, что она мешает схеме. Осталась только поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», а полторы тысячи повешенных Пугачевым помещиков—ну, это так, это беспорядок, это в историю не входит.

Вы видите, как классовая точка зрения от своеобразного, выгодного для данного класса объяснения переходит к форменному искажению русской истории. И вы увидите, что принимать эту теорию закрепощения и раскрепощения за чистую монету нельзя. Когда мы будем говорить о Ключевском, я расскажу, как даже этот последователь Чичерина должен был сдаться перед фактами и признать, что никакого государственного закрепощения крестьян не было,—но мы об этом поговорим в другом месте. Итак вот вам одна классовая точка зрения русской историографии 50—60-х годов, философии истории, извлеченная из Гегеля представи-

телями нашего дворянства, наших помещиков в лице Чичерина, которому нужна была историческая подготовка к 19 февраля. Это опять та же публицистика, которая была и раньше. Но нужно сказать, что в этой публицистике есть крупница науки. Чичерин знал, что такое диалектика, Чичерин оперировал со схемой Гегеля и постольку он стоит до известной степени на научной почве. Это объясняет нам, почему это могли принимать за науку даже марксисты. Но марксисты не заметили, что в то же время в России уже зарождалась настоящая историческая наука, материалистическая, но только она зарождалась не в дворянских кругах, откуда вышла теория Чичерина: она зарождалась в мелкобуржуазных кругах. Родоначальником ее был человек, которого без всякой натяжки можно считать по происхождению мужиком, потому что его отец был сельским дьячком, а вы знаете, что сельский дьячок от крестьянина отличается мало.

О биографии Чичерина я ничего не говорил, да и не стоит говорить, кроме тех сведений, что он был профессор государственного права и тамбовский помещик (позже он был городским головой в Москве). Биография Щапова больше заслуживает внимания, прежде всего потому, что Щапов меньше известен. Недавно мне понадобилась книга Щапова. Я зашел в библиотеку Коммунистической академии, где я узнал, что он постоянно стоит на полке и что его никто не читает. Я не говорю, что Щапова можно читать вместо Ключевского,—во-первых, Щапов устарел, а во-вторых, он писал тяжелым языком, его сочинения читаются с большим трудом. Ораторский талант у него был колоссальный; своими лекциями он умел очаровать не только студентов Казанского университета, но даже и профессоров, даже попечителя Казанского учебного округа: этот сухой чиновник однажды заслушался лекций Щапова до такой степени, что стал ему аплодировать. Это был человек потрясающе красноречивый, но писал он тягуче и длинно. Поэтому в литературном отношении состязаться с художественной прозой Ключевского он не может, но по содержанию, по своим взглядам он является его учителем и учителем хорошим.

Как я уже сказал, Щапов был сын сельского дьячка, переживший ужасные годы учения в иркутской бурсе, где ученики духовного училища были осыпаны вшами, оборваны и голодны, вследствие чего воровали с огородов. Поэтому их рассматривали как язву, как чуму тех мест. Словом, до духовной академии он вел босяцкое существование. Духов-

ную академию он одолел благодаря своему колоссальному терпению. У его столика в библиотеке студенты показывали два углубления в полу, которые якобы были вырыты ногами Шапова, простаивавшего целыми часами над книгами.

Ученая его карьера в сущности сводится к одной зиме. После «освобождения» был расстрел крестьян, между прочим и в селе Бездне (Казанской губ.). Несколько человек было убито, а их предводитель Антон Петров—казнен. Студенты устроили по погибшим панихиду. Шапов выступил с речью, по тем временам (1861 г.) весьма яркой и революционной¹, и в результате из профессора университета превратился в опального журналиста, некоторое время перебивался в Питере, а затем был выслан к себе на родину—в Сибирь. В Сибири он спился (он был злейший алкоголик) и умер сорока с небольшим лет, в 1876 г. Он писал довольно много; писания его наполняют три толстых тома.

Отношение его к Чичерину, а значит и к той теории, которую я вам сейчас излагал, лучше всего изложить его же собственными словами. Извините, я тут опять вам процитирую два довольно длинных отрывка.

«Первую теорию,—так начинает он свое изложение различных объяснений русской истории,—можно назвать историко-юридической. Эта теория по преимуществу старалась развивать, с разных точек зрения, идею постепенного государственного развития и благоустройства русского общества. Исходной и основной идеей ее была та мысль, что благосостояние русского народа зависит от хороших или правильных государственных учреждений, от постепенных политических реформ—административных, юридических, гражданских, от либерально-преобразовательной деятельности и умеренной опеки правительства. Лучшими представителями этой теории в литературе можно назвать Кавелина, Калачова, Беляева, Лешкова, Чебышева-Дмитриева, Муллова и пр. Чичерин проявился в этой категории писателей типом ультра-государственного фанатизма, рьяным проповедником строгой, систематической государственной унии и централизации; или централизационно-бюрократического государственного пантеизма. «Государство и народ,—по его метафизико-юридической доктрине,—одно и то же, одно

¹ Подлинный текст ее, писанный рукой Шапова, найден совсем недавно, уже после того, как я читал свои лекции. Этот подлинный текст совершенно опровергает легенду об «осторожности», навязываемой Шапову всеми его биографами из буржуазно-либерального лагеря. Я жалею, что в своей лекции положился на слова одного такого биографа.

целое, государство в народе, народ в государстве» и т. п. Другие писатели историко-юридического направления пошли прямо вразрез с доктриной Чичерина, затвердили не об абстрактной идее государства, не о централизации, не о единстве государственном, не о слиянии народа с государством, а о земстве, о народе, о земском самоуправстве, саморазвитии, самосуде и самоуправлении, о децентрализации, о земских соборах и об областных земских собраниях, об общинах сельских и городских и т. д. В том числе грешен был и я: на эти темы я писал статьи в «Веке», в «Отечественных записках», даже в «Очерках». До издания «Очерков» земство и земское саморазвитие было моей *idée fixe*. Под земством и земским саморазвитием я разумел все сферы социального развития, всю массу народа со всеми ее этнографическими видоизменениями, всю совокупность сил народных—умственных и физических, все интересы и потребности народные—умственные и экономические. Я защищал инициативу и самодеятельность сил народа в деле его социального развития. Только при свободном и равном праве инициативы и самодеятельности всех сил народных, думал я, возможно было и могло начаться прогрессивное, здоровое и всецелое саморазвитие народное—и умственное и экономическое. Веря в инициативу, самодеятельность земства, земских, народных, социальных сил, я верил не только в земские собрания, в земские банки и т. п., но и в земские реальные училища, в земские реальные гимназии, в земские реальные университеты, академии и т. д. Со времени издания «Очерков», после тяжелого сознания своего семинарского невежества и пустоты, после сознания в своей голове совершенного отсутствия естественных знаний и после болезненной работы и борьбы мыслей, я стал думать, не по своим силам, о взаимодействии и взаимоотношении сил и законов внешней, физической природы и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлениях их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов. Хотя я почувствовал все свое бессилие на этом новом пути мышления, но все же, сколько мог, понял тогда, что какая бы то ни было, хоть бы самая совершенная, абстрактная социально-юридическая теория не прочна, произвольна без единственно прочных основ—естественно-научных, физико-антропологических, потому что она не что иное, как временный продукт изменяющейся, отстающей или развивающейся человеческой мысли, временная и условная, следовательно

произвольная, форма склада и настроения наших метафизических, абстрактно-философских идей и понятий о человеке, о его физиологических и общественных функциях и отношениях, о его соотношении с внешним физическим миром и пр. Все юридические теории, без теории строго реальной и экономической почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общества прямо к главной цели—экономическому и умственному развитию и совершенствованию».

«Другая теория, ясно высказанная в нашей журналистике,—экономическая. По этой теории сущность, цель и основа социального развития заключаются в экономическом благосостоянии всех классов общества. Лучшим выразителем этой теории был переводчик и критик «Политической экономии» Милля¹. Эта теория сразу подорвала десятки теорий юридических, органических, почвенных, славянофильских, классических и т. п. На разных языках—славянофильских, классических, англоманских, русско-летописных, шумными, трескучими, высокоглаголивыми и всякими фразами трещали и трактовали мы о самоуправлении, об английском self-governement, о необходимости восстановления московской старины, избранного земского самоуправления времен Грозного, о почве, об органическом развитии, о самопроникновении русским духом, даже о воспитании детей по Нестеровой летописи и пр. и пр. И о чем мы не трещали и чего не словоизвергали! И где-то мы не искали счастья русского народа! Каких потребностей и необходимостей не насчитали мы для него, когда он вопил: нет денег, не знаем ремесл и промыслов, нет работы, нет железа, нет соли, неурожай в Вологодской губернии, неурожай в Пермской губернии и т. п. И вдруг светлая, здравая, рационально-экономическая критика и теория возвестила нам: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о мнозе службы, едино же есть на потребу—прежде всего хлеб насущный, прежде всего нужно, чтобы все были сыты, обеспечены и довольны. Да,—подумали мы,—в самом деле, вопрос хлеба есть вопрос жизни и следовательно мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты-естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину. «Государственное устройство,—говорит Либих,—социальные и семейные свя-

¹ Чернышевский.

зи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обуславливается фактом, что для поддержания своего существования человек ежедневно нуждается в пище, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни... Да, пока существует голодное человечество, пролетариат, пауперизм, возможно ли, мыслимо ли, чтобы желудочная машина человеческой природы не была тяжелым тормозом человечества на пути его высшего материального, умственного движения, а напротив, служила беспрепятственным, естественным локомотивом для живого, быстрого, прогрессивного движения машины мозговой, для прогресса естествоиспытующего разума»¹.

Как видите, он обращается не к философии Гегеля, а к химии Либиха (великий химик 60-х годов). Таким образом Щапов в своем понимании истории становится на чисто материалистическую базу.

Мне хотелось бы в двух словах сказать о материализме как классовой подоплеке философии истории Щапова. Это был почти мужик по происхождению, во всяком случае мелкий буржуа по своему быту сначала нищего профессора, потом нищего журналиста. Это был мелкобуржуазный интеллигент крестьянского происхождения, и не случайно, что помещик Чичерин создал барскую теорию истории, а мужик Щапов—мелкобуржуазную теорию русской истории. Класс трудящихся, в том числе и мелкая буржуазия, по своему мировоззрению почти всегда материалистичен. Наш крестьянин умудряется даже в религии быть материалистом. Этот материализм в религии называется фетишизмом, и крестьянин со своей верой в мощи и иконы является фетишистом, но он все-таки материалист.

Почему помещик или буржуа редко бывает материалистом? Потому, что те блага, которыми они пользуются,—одежда, пища и пр.—достаются им в готовом виде: они получают их путем приказаний, путем «идейного воздействия» на подчиненных им людей—ближайшим образом на при-

¹ Соч. А. П. Щапова, т. II (СПБ), изд. М. В. Пирожкова, 1906.

слугу. И для них ясно, что слово—выражение мысли—есть та сила, которая управляет миром. Поэтому для имущих классов идеалистическая философия, философия словесная, чрезвычайно естественна.

Но войдите в положение самого портного или повара, готовящего своему барину обед. Он имеет дело с материей (кожа для сапог, сукно для сюртука, мясо и пр.). Как вы ни внушайте ему, что все дело в идее, в словах, он вам ответит: я могу 20 слов сказать сукну, но от этого не делается сюртук,—я должен взять материал, вещь и поработать над ней. Не только пролетариат, но и все трудящиеся классы являются материалистами; это наиболее естественный для них подход.

Как я уже сказал, Шапов был сын сельского дьячка, сам пахал землю и косил, будучи в деревне, а затем в качестве нищего бакалавра Казанской духовной академии должен был сам себя обслуживать, естественно, что он был материалистом. Идеалистической философии надо было много над ним стараться, чтобы он на время свихнулся в идеализм, но в конце концов природа взяла свое, и он сделался материалистом. В этом отношении он не был одинок, так как вся русская литература 60-х годов, созданная выходцами из мелкой буржуазии, была проникнута материалистическими тенденциями. Таким образом материализм Шапова понятен. Мне не хочется отвлекаться в сторону, а то стоило бы остановиться на том, что исторический материализм является лучшим подходом к научному объяснению истории. Замечательная вещь, что из всех философов истории на наиболее научной точке зрения всегда стояли материалисты. Первая схема истории культуры создана римским писателем Лукрецием: например он гениально предугадал ход технического развития. Человек не проходил археологического института, а между тем его теория правильна: сначала камень, а потом металл (каменный и железный века). Затем возникновение религии на почве страха, на почве зависимости. Это опять-таки идея Лукреция: идея, несмотря на возражения некоторых критиков, материалистическая. Уже в первом веке до нашей эры мы встречаем первую схему истории культуры у писателя-материалиста. В средние века арабские философы,—мелкобуржуазные по своей подкладке, поскольку арабская культура держалась на ремесленной промышленности,—выдвигают материалистическую философию. Именно на почве этой арабской материалистической философии мы встречаем первого историка, который дого-

варивается до того, что в основе исторического развития лежит развитие производительных сил (Ибн-Халдун). XVIII в. в Западной Европе ярко окрашен материалистическим цветом, и на этом фоне появляется история культуры Аделунга. Книжка им написана в 1782 г., а рассказывает он приблизительно то же, что и Милюков в «Истории русской культуры», повторяя французского статистика Левассера. Возьмите его закон народонаселения,—как постепенно, по мере роста населения, изменялась техника производства и люди переходили от охоты к земледелию, от земледелия к скотоводству. Эта теория, которая могла показаться новой Милюкову, на самом деле изложена немецким лингвистом Аделунгом в 1782 г. Аделунг писал под несомненным влиянием французского материализма XVIII в.: и тогда материализм являлся лучшим подходом.

Аделунг и Милюков подводят нас к той разнице, которая имеется между Шаповым и нами. Шапов объяснял исторический процесс материалистически: образование государства он, например, сводит к процессу материальному— в основу он кладет средства существования. Люди стараются добыть себе средства к существованию наименее трудным способом, живут надаровщину, ведут хозяйство экстенсивное. Но экстенсивное хозяйство требует большой площади, и поэтому по мере нарастания населения хозяйство должно было перейти к более интенсивному или же растекаться по земле. В основу образования громадной Российской империи Шапов кладет стремление русского народа для своего экстенсивного хозяйства разбежаться по возможно большей территории. Он мастерски определяет физические условия, создавшие границы Российской империи. Чем определяется северная граница? Карамзин отвечает: успехами русских великих князей, а Шапов говорит: это гораздо проще; где кончается возможность земледелия по климатическим условиям? На такой-то широте. А где кончаются русские поселения? На такой же широте. Люди со своим экстенсивным хозяйством двигались к северу до тех пор, пока позволяли климатические условия.

Почему люди также шли на Восток, сначала к Уралу, потом за Урал? Что оттуда шло? Меха. Истребили бобра и соболя на русских землях,—пошли на Урал, из Урала в Сибирь. Шапов мастерски описывает, как в погоне за соболем русские охотники завоевывают всю Сибирь.

Возьмите теперь объяснение Шаповым народного русского характера, и вы почувствуете разницу между нами и

им, вы поймете, почему мне приходится говорить, что Шапов является нашим родоначальником, но не прямым учителем. Вот это объяснение. Вследствие суровых климатических условий кровообращение северных людей более медленно, чем у южан (не надо забывать, что Шапов стоял на уровне биологических знаний 60-х годов, и я не ручаюсь за научность его обобщений,—но нам важно выяснить его теорию). Эта медленность кровообращения, по его мнению, создает медленность нервных реакций: нервы русского человека туго реагируют на окружающую среду, но раз реакция достигнет своего апогея, она происходит быстро. Поэтому у нас период апатии сменяется порывами энергии: лежит человек, потом вскочит, забегает, а потом опять завалится. Этот факт необычайной диалектичности русского народного характера, выражающейся в резкой смене периодов, совершенно верно отмечен, но дело вовсе не в холодном климате, который якобы замораживает кровь, потому, что норманны забирались за Исландию, а кровь у них была довольно горячая. Почитайте Ибсена «Северные богатыри»: вы увидите, что в их жилах текла кровь быстро, несмотря на то, что они жили среди льдов. Дело здесь не в климате, а в необычайной отсталости русского народного хозяйства, с одной стороны, и чрезвычайно быстром росте капитализма в России—с другой. Это создавало резкие контрасты, и эти резкие контрасты выковали под конец в народном характере ту склонность к резким переходам, к резким скачкам, которая выразилась в области политики например тем, что мы сразу прыгнули от самодержавия к социализму, минуя все промежуточные ступени. Этот исторический прыжок чрезвычайно характерен. Это объясняется условиями нашего экономического развития, а не той температурой, которая существует в России. Тут мы видим водораздел между нами и Шаповым. Шапов приписывал экономическому фактору непосредственно природное происхождение: ему казалось, что природа действует на человека прямо. Это точка зрения не одного Шапова, а очень многих домарксистских материалистов, например Бокля, объяснявшего суеверие перуанцев тем, что в Перу часто происходили землетрясения. Это объяснение конечно не марксистское; если привлечь сюда землетрясения, надо показать, как они отразились на развитии производительных сил, на развитии производственных отношений в древнем Перу, а прямо связывать эти две вещи—нельзя.

Но несмотря на то, что Шапов не является марксистом

(повидимому он Маркса даже и не читал), несмотря на это Шапов делает огромный шаг вперед по пути научного понимания русского исторического процесса, потому его объяснение образования громадной Российской империи в тысячу раз более научно, чем чичеринская теория закрепощения и раскрепощения. В то время как чичеринская барская теория сделалась популярной, мужицкая теория Шапова была замолчана. Даже профессор Ключевский, который носит на себе явный отпечаток Шапова, ни слова не говорит о нем. В то же время это был человек, произведения которого были запрещены к выдаче из библиотек. Я помню, что, будучи студентом, я с трудом мог доставать его сочинения.

Вот вам лишний образец влияния классовых отношений на историю. Барская теория Чичерина стала настолько популярной, что ею заразились Плеханов и Троцкий, а теория Шапова покоится на полках библиотеки Коммунистической академии.

На этом я останавливаю свое сегодняшнее изложение, а завтра перейду к синтезу этих теорий, который нашел себе выражение в писаниях В. О. Ключевского. Чтобы понять Ключевского, надо привлечь к делу еще одну буржуазную теорию—теорию националистическую, автором которой является Сергей Михайлович Соловьев.

III

Итак, товарищи, мы остановились на характеристике двух резко противоположных схем—схемы материалистической, отражающей идеологию мелкой буржуазии, и схемы государственной, отразившей идеологию имущих классов. Противоположность этих схем лучше всего рисуется на одном примере, который я должен был бы привести в прошлый раз. Позвольте мне, напоминая вам об этом противоречии двух схем, привести его сейчас; это—вопрос о происхождении сельской общины.

Вот как объясняет происхождение общины Шапов: «Как ни груба была древнерусская община или общинная «земская дума», идея веча или земского собора, но и эта северная община и мирская дума, при первоначальной естественно слабой возбуждаемости и медленной и вялой деятельности индивидуальных умов и сил, вызвана была естественною потребностью коллективной, общинной борьбы грубых умов и рабочих сил народа с земско-хозяйственными бедствиями,

производимыми суровым северным климатом, с трудно доступной и скупой естественной экономией суровой северной природы, с бесчисленными физическими и историческими препятствиями, на каждом шагу стремившимися сокрушить жизнь и благосостояние отдельных личностей. И эта грубая, первобытная, древнерусская ассоциация индивидуальных сил, в силу естественного физиолого-психологического притяжения сил, концентрировалась для коллективного, общинного обсуждения и решения («поговоря со всем миром», «мирскою сказкою» «по мирскому уложению», «повальным обыском всяких чинов людей») всех общинных естественно-бытовых вопросов».

А вот как рисуется этот процесс Чичерину: «Из этого исторического обзора сельских учреждений мы можем вывести следующее:

1) Что наша сельская община вовсе не патриархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собою из естественного союза людей, а устроена правительством, под непосредственным влиянием государственных начал.

2) Что она вовсе не похожа на общины других славянских племен, сохранивших первобытный свой характер посреди исторического движения. Она имеет свои особенности, но они вытекают собственно из русской истории, не имеющей никакого сходства с историею западных славянских племен.

3) Что наша сельская община имела свою историю и развивалась по тем же началам, по каким развивался и весь общественный и государственный быт России. Из родовой общины она сделалась владельческой и из владельческой—государственной. Средневековые общинные учреждения не имели ничего сходного с нынешними; тогда не было ни общего владения землею, ни ограничения права наследства отдельных членов, ни передела земель, ни ограничения права перехода на другие места, ни соединения земледельцев в большие села, ни внутреннего суда и расправы, ни общинной полиции, ни общинных хозяйственных учреждений. Все ограничивалось сбором податей и отправлением повинностей в пользу землевладельца, и значение сельской общины было чисто-владельческое и финансовое.

4) Настоящее устройство сельских общин вытекло из сословных обязанностей, наложенных на земледельца с конца XVI в., и преимущественно из укрепления их к местам жительства и из разложения податей на души».

В то время как для Шалова сельская община была образчиком первобытной, зачаточной кооперации, трудовой ассоциации, созданной тяжелыми природными, климатическими условиями, с которыми человек не в силах был справиться в одиночку, для Чичерина и община была созданием государства. Государство, создавая русское общество, создало и сельскую общину—для того, чтобы было удобнее собирать подати. Круговая порука для Чичерина есть то, откуда развилось общинное землевладение; с крестьян взыскивали подати, и естественно, что деревня, платя подати за каждого крестьянина, устанавливала равенство землепользования. Вот вам один из образчиков, где эти теории резко сталкиваются. Шапов не дает организации производства, из которой выросла община, он только неопределенно говорит, что это была трудовая ассоциация; он не связывает ее с типичными формами земледелия—земледелием подсечным, потому что вырубить и очистить от деревьев лесную площадь было не под силу одному человеку или даже одной маленькой семье. Это могла осуществить только группа в несколько десятков человек, т. е. большая семья, из которой позднее развилась сельская община. Вот почему, будучи явлением седой старины для Европейской России, зарождение общинного землевладения—факт весьма современный для Сибири; здесь общинное землевладение возникает стихийно. Но он твердо стоит на том, что община есть экономический факт. Нет, возражает теория Чичерина, община есть факт политический.

Чичеринская схема в чистом виде мало известна широкой публике; мы ее знаем главным образом из курса Ключевского. Влияние Чичерина на Ключевского настолько велико, что если вы возьмете например статьи о земских соборах Ключевского, вы увидите, что он буквально клянется именем Чичерина. Но его понимание русского исторического процесса сложнее чичеринской схемы. Тут необходимо вставить два звена—одно, пришедшее из русской исторической литературы, а другое—заимствованное Ключевским из современной ему публицистики.

Ключевский—эклектик; он так или иначе суммировал объединил в своей исторической концепции, в своем понимании русской истории основные признаки нескольких теорий, и прежде всего он усвоил чичеринскую теорию с теми существенными дополнениями, которые в эту теорию внес Соловьев.

Прежде чем переходить к Ключевскому, надо, таким об-

разом, охарактеризовать Соловьева, тем более, что он и сам по себе этого стоит.

Соловьев безусловно есть величайший русский историк XIX столетия. Его отличительной чертой среди русских историков прежде всего является громадная историческая образованность, тогда как русские историки в истории других стран обыкновенно бывали большими невеждами.

Благодаря тому, что в 30-х годах XIX в. под влиянием национализма эпохи Николая I была создана особая кафедра русской истории, и тому, что от желавших занять эту кафедру не требовалось знания иностранных языков, ее стали занимать люди, не знавшие их. Эта безъязычность русского историка создала из кафедры русской истории своего рода гетто, замкнутый квартал. Русские историки великолепно знали свои летописи и документы, но имели смутное представление о том, как выглядит историческая наука в Англии, Германии, Франции и т. д. Вот почему они свои теории,—а без теорий и вовсе они жить не могли,—заимствовали исчужа. Чичерин был, как я уже говорил, профессор не русской истории, а государственного права, и в качестве такового был знаком с европейскими языками и с европейской литературой, ибо без этого изучать западноевропейское государственное право нельзя. Выгодное отличие Соловьева от варившегося в собственном соку русского историка заключалось в широкой исторической его образованности. Читая его статьи, вы видите, что он был в курсе всего, что писалось по истории на всех языках. Благодаря этому он двумя головами был выше всех своих современников. Это—во-первых. Во-вторых, Соловьев, не обладая художественным талантом Ключевского, не будучи таким гениальным стилистом, каким был Ключевский, был человеком выдающегося ума, а так же, как в конце XVIII и в начале XIX вв. каждый умный человек был по природе якобинцем, так во второй половине XIX в. каждый умный человек по природе немощно марксист,—сознает он это или нет. Мы встречаем у Соловьева ряд таких объяснений русской истории, которые очень напоминают по крайней мере «экономический» материализм. Он первый выяснил громадное влияние в русской истории речных путей. И действительно, если мы возьмем период торгового капитала, мы увидим, что в этом-то и суть дела, что группируется русская территория именно около водных путей. В частности он первый дал экономическое объяснение возникновению Москвы. Почему возвышается московское княжество? Потому, что оно стояло

на одном из больших дорожных узлов. Остается только подвести под это настоящий экономический базис. Все это мы знаем из курса Ключевского, и многие считают, что Ключевский автор таких объяснений. На самом деле он целиком взял их у Соловьева. Ключевский этого и не скрывал. Он неоднократно говорил нам, своим ученикам, что без «Истории России с древнейших времен» Соловьева он не в состоянии был бы составить своего курса. И действительно, целые главы курса Ключевского, например глава о междукняжеских отношениях в Киевской Руси, не что иное, как художественная популяризация Соловьева. Влияние Соловьева таким образом—и непосредственное и в особенности посредством Ключевского—было колоссальное. Но само собою разумеется, что это нисколько не устраняет того факта, что и Соловьев был представителем определенного класса и, значит, развивал определенную классовую точку зрения.

Класс этот был не совсем тот, который представлял собою Чичерин. Чичерин был тамбовский помещик, Соловьев был городской житель. По происхождению своему он был сын московского протопопа, который раньше был законоучителем в коммерческом училище. В доме этого коммерческого училища Соловьев родился; на этом доме есть доска, отмечающая этот факт. Он принадлежал к кругу зажиточного городского духовенства, которое вело буржуазный образ жизни и было проникнуто теми взглядами и симпатиями, которые свойственны зажиточной городской интеллигенции. Нужно сказать, что мировоззрение Соловьева было глубоко буржуазное, и не только в области истории, в области книги, но и в области бытовой. К сожалению в последнем издании его записок—он оставил очень интересные записки—выпущена замечательная страница, которая в первом издании была и которая выпущена детьми Соловьева, издававшими эти записки, вероятно именно ввиду скандальности этой страницы. На этой странице Соловьев изливает свою душу по поводу социальных последствий реформ 60-х годов. Он относился к ним весьма условно: конечно хорошая вещь—реформы, это верно, но зачем после этих реформ горничные стали носить шляпки,—ни с чем несообразная вещь; всякий сверчок знай свой шесток,—горничная, так ходи в платочке, зачем шляпу надевать? Буржуазия не может себе представить, чтобы рабочий человек смел бы одеваться так, как одеваются почтенные, образованные буржуазные господа. Уже одно это, что Соловьев всем своим мировоззрением был буржуа, достаточно характеризует его

в смысле идеологии, но кроме того и внешнее положение обязывало. Соловьев был профессором Московского университета, членом Академии наук, учителем двух наследников русского престола: сначала читал лекции Николаю Александровичу, а когда тот помер, Александру Александровичу. Уже эта близость ко двору указывает, что тут никоим образом не могло быть взъерошенного семинариста, каким был Щапов, которого на порог во дворец не пустили бы, а не то, что приглашать читать лекции наследникам. Соловьев был приличный человек, профессор, академик, и естественно, что его положение делало его представителем не пролетарского, даже не мелкобуржуазного, а крупнобуржуазного, собственного лагеря. Но подход Соловьева к русской истории был, как вы увидите.

Теория Чичерина оставляла без ответа один очень интересный вопрос. Государство создало общество, закрепостило его себе на службу—и дворян, и крестьян, и горожан,—всех. А зачем оно это сделало, почему это понадобилось? Чичерин удовлетворялся тем, что это дело государства,—так как государство, как известно, все может сделать, это, повторяю, некое земное божество, то нечего здесь и спрашивать—захотело государство и сделало. Но естественно, что такой ответ мог удовлетворить только метафизика, только отвлеченного мыслителя, который твердо запомнил, что правовые идеи сами творят жизнь. Государственная идея закрепощения создала известную систему общественную—и кончен бал. Спрашивать дальше нечего. Кто спрашивает: зачем бог создал мир? То же самое и тут. Соловьев,—в этом сказался историк, инстинктивный, бессознательный марксист,—понимал, что нельзя так объяснять, и дополнил схему Чичерина чрезвычайно интересными соображениями, в результате чего и получилась та схема, которую мы имеем в развернутом виде у Ключевского. Вот как он формулировал этот свой взгляд в одной из своих статей, в статье «Древняя Россия», напечатанной в 1856 г.

«Подобно юго-восточной европейской Украине, Греции, северо-восточная европейская Украина, принявшая с половины IX в. название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатцами, первая принимает на себя их удары. В то время как юго-восточная Украина, Греция, с таким успехом, с такою славою отбивалась от персов, северо-восточная Украина, сколько знала ее тогда история, находилась под владычеством кочевых азиатцев, которым оседлое народонаселение

рабствовало. Такой порядок вещей продолжался до половины IX в. по Р. Х... Только с основания Русского государства начинается освобождение славянских племен, оседлого европейского народонаселения восточной украины от ига кочевых и полукочевых азиатцев. Новое государство берет на себя удары степных хищников, долго борется с переменным счастьем. Но вот в XIII в. Азия, вследствие сильного движения в степях своих, высылает на Запад бесчисленные толпы кочевников: Русь склоняется перед ними, но не погибает под их ударами; собирает силы: и, в то время, как Византия падает перед турками, Россия, Московское государство, торжествует над татарами и начинает в свою очередь наступательное движение на Азию».

В конце своей деятельности, в статье «Начала русской земли», в этой предсмертной статье, своего рода завещании, Соловьев через 20 с лишком лет возвращается опять к этой мысли.

«Известия летописца о начале Русской земли стоят непоколебимо в силу своей внутренней исторической правды. В половине IX в. он приводит нас на европейскую украину. в те местности, где проходила граница между двумя формами, имеющими такое важное значение в нашей истории, между полем (степью) и лесом. Степь—море сухое, но обитатели этого моря представляют жидкий, подвижной, бесформенный элемент народонаселения. Вечное движение осуждает их на вечный застой относительно цивилизации; они не чувствуют под собой твердой почвы; они не любят непосредственно соприкоснуться с нею, проводя время на спине верблюда или лошади. Остановка их на одном месте коротка; они не обращают внимания на землю, не работают над нею; их животное ищет для себя корма и дает от себя корм хозяину. Их дело догнать живую добычу на бегу, поймать, убить; их дело напасть на других кочевников или на оседлого человека, ограбить, взять его в плен; они охотники нападать, но не умеют защищаться, при первом сопротивлении мчатся назад; да и что им защищать? Но, убежавши в степь, где никто не догонит, кочевник скоро возвращается назад и нечаянными разбойничьими нападениями не оставит в покое оседлого человека, живущего на окраине степи. И города не всегда спасут последнего: толпы кочевников окружают город и голодом заставляют его сдаться. Но верное спасение оседлому человеку от кочевника это лес дремучий с его влагою, его болотами. Крепкий и выдержливый вообще, кочевник как ребенок боится влаги, сырости и стра-

дает от них, поэтому он не пойдет далеко в лесную сторону, скоро воротится назад. В степи виднеются круглые вежи кочевников, как громадные постройки животных, громадные муравьиные кучи; быстро воздвигаются они, быстро исчезают, складываются, ибо в них нет почти ничего твердого. Этой круглой веже кочевника оседлый славянин противопоставил свой крепкий, долго стоящий дом, который построил из твердого материала в лесу или в его близости».

Прежде всего обращают внимание хронологические даты статей: одна написана в 1856 г.—год Парижского мира, когда кончилась Восточная война Николая I—Крымская война. Что же из себя представляет 1877 г., который стоит на второй статье? Это год второй Восточной войны, которую вел Александр II. Эти две статьи, где так четко формулирована борьба леса со степью, хронологически связаны с двумя турецкими войнами—одной неудачной, другой более удачной.

Что же представляют собою русско-турецкие войны?

Идеологически это были войны «за закон». «Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству,—писала Екатерина в своем манифесте по поводу первой турецкой войны (1768 г.),—законом магометанским преданная, стремится совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже...». На практике государственный совет Екатерины находил, что «при заключении мира надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море, стараться об учреждении порта и крепости». Практические цели двигались все дальше и дальше. Уже в 1829 г. Николай I видел себя в мечтах «владыкой Константинополя»; уже и Николая не было на свете, и Константинополь собирался брать его сын, Александр II,—а старая идеология все годилась: война попрежнему велась «за закон» и попрежнему мотивировалась стремлением освободить «древностью и благочестием знаменитые народы» от «ига Порты Оттоманской». Только к характеристике народов стали теперь прибавлять, что они не только «единоверные», но и единокровные—«братья-славяне». Греки, с «освобождения» которых началось дело, окончательно вышли из моды.

Мотив екатерининского манифеста вошел в состав «железного инвентаря» русской историографии. Для Соловьева война «за закон» является само собою разумеющимся и вполне бесспорным основанием русской восточной политики с конца XVIII в.

«С начала XVII в. в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: шведский, турецкий, или восточный, и польский; иногда они соединяются вместе по два, иногда все три...».

«Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря, Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями, Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря и утверждается в Новгороде, а второй уже утверждается в Киеве и победоносно плавает на Черном море».

«Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому при первых князьях русских завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства греческой веры; а по нижнему Дунаю и дальше на юг—сидели все родные славянские племена, тем более близкие к русским, что исповедывали ту же греческую веру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы. Московское государство осталось единственным независимым государством греческой веры, понятно следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова...»¹.

Читатель заметил модернизацию мотива при помощи «родных славянских племен». Но Соловьев был слишком крупный ученый, чтобы ограничиться такой газетной корректурой,—и он вводит новый мотив, которому и посчастливилось так у следующего поколения.

«Нестерпимое хищничество орд—Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской—заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских—с Крымскою, которая находилась под верховной властью султана турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью, чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков»...

То, что в «Истории падения Польши» было лишь слегка намечено, стало лейтмотивом для всей «философии исто-

¹ «История падения Польши». Разрядка моя—М. П.

рни» русского народа после того, как новая гурецкая война (1877—1878 гг.) заново отремонтировала идеологию екатерининских манифестов. Подводя итог тридцатилетней работе в своей лебединой песне, статье о «Началах русской земли» (написанной между 1877 и 1879 гг.—последний был годом смерти Соловьева), на борьбе леса и степи он строит весь русский исторический процесс—если не исторический процесс вообще.

«Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или Украина, со стороны Азии. Это украинское положение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю».

«В самой глубокой древности мы видим столкновения между народами, стоящими на разных ступенях развития, и происходившие именно от этого различия. Таковы были издавна противоположность и враждебность двух форм быта—кочевой и оседлой. Западная Европа и южные ее полуострова, бывшие главною сценою древней истории, по свойствам своей природы не представляли никаких удобств для кочевого быта, и потому мы не находим в преданиях этих стран известий о нем и о столкновениях между кочевым и оседлым народонаселением. Азия и Африка в своих степях и пустынях давали—и до сих пор дают—возможность народам вести кочевой образ жизни; до сих пор средняя Азия, области, на днях вошедшие в состав Русского государства, представляют любопытную картину отношений между кочевым и оседлым народонаселением, наглядно восстанавливающую отношения, которые некогда существовали и в других местах, именно в Восточной Европе, на той обширной, прилегающей к Азии равнине, на которой образовалась русская государственная область... В первых известиях о Восточной России, записанных у Геродота, мы уже встречаемся с отношениями между кочевым и оседлым ее народонаселением. Геродот отличает скифов кочевых от скифов-земледельцев и говорит, что первые господствовали над вторыми. Мы не станем решать нерешимого вопроса, принадлежали ли эти два вида геродотовых скифов к одному племени или к разным: для нас важно отношение—кочевые господствуют над оседлыми; для нас важно то, что в известиях летописца о начале русской истории мы находим то же отношение: кочевники или полукочевники хозары, живя на востоке, у Дона и Волги, господствуют над оседлыми племенами славянскими, живущими на западе, по Днепру и его притокам».

Итак борьба со степью связана с турецкими войнами, которые вела Россия в XIX в. Если мы поймем, зачем велись турецкие войны, то мы получим материалистическое объяснение интересующей нас идеологии. Зачем велись эти войны?

Это конечно непререкаемая истина, что русская промышленность не может расти без внутреннего рынка и что создание этого рынка было первостепенным условием для развития в России промышленного капитализма. Но этот внутренний рынок, столь необходимый для русской промышленности, рос при царском режиме очень медленно, потому что интересы старого хозяина русской земли—помещика—здесь сталкивались с интересами промышленного капитала. Промышленному капиталу нужна была быстрая дифференциация деревни, пролетаризация ее для получения рабочих на фабрики, с одной стороны, и для расширения этого самого внутреннего рынка—с другой. Этот процесс дифференциации крестьянства дворянство искусственно задерживало. В первой половине XIX в. оно чрезвычайно долго не мирилось с ликвидацией крепостного права, и ликвидировать крепостное право не удавалось, несмотря на то, что промышленный капитал чрезвычайно энергично и настойчиво этого требовал. Крымская война заставила ликвидировать крепостное право, но с крайней осторожностью. Крестьянин остался фактически прикрепленным к земле: именно этот смысл имел тот небольшой, уменьшенный против крепостного времени надел, который крестьянину при «освобождении» оставили. О таком значении «освобождения с землей» говорилось почти открыто. Это Кошелев, один из умнейших представителей дворян, говорил, что если освободят крестьян без земли, то это будет второе переселение народов, все уйдут в черноземные места. Затем в деревне крестьянина нужно было поставить в такие условия, чтобы он имел внутреннее побуждение идти искать работу в барской экономии. Без разрешения мира,—а мир был поставлен под надзор дворянского мирового посредника,—он не мог ни выделиться из семьи, ни уйти на заработки в сторону, ни, тем паче, раскрестьяниться и превратиться из земледельца в промышленного рабочего. На все это требовалось согласие мира. А мир,—это очень выразительно описывал Энгельгард в своих «Письмах из деревни»,—был всецело в руках посредника, который блюл за тем, чтобы не было переселения народов, чтобы крестьяне не разбежались.

В связи со всем этим крестьяне остаются только наполю-

вину раскрепощенными или даже на четверть. Конечно дифференциация крестьянства и пролетаризация его—это был стихийный экономический процесс, и его нельзя было перевернуть никакими законами, но образование пролетариата шло у нас до 80-х годов чрезвычайно медленно.

Это медленное расширение внутреннего рынка и ставило перед русским промышленным капитализмом, чуть не с момента его зарождения, вопрос о рынках внешних.

Экономический смысл русско-турецких войн и заключался в попытках русской мануфактуры прорваться на юг от Черного моря, Кавказского хребта и Каспийского моря в страны передней Азии, где, как еще в 1836 г. находил государственный совет Николая I, «при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброту, так и в цене»... А так как «законными хозяевами» мануфактурного рынка этих стран были уже в те времена англичане, то стремление русского самодержавия «пролагать оружием новые пути для торговли нашей на Востоке» тотчас же встречало отпор со стороны «заграничной расчетливости», в свою очередь стремившейся «заградить пути нам в Азию с той стороны, где иностранцы открыли новый сбыт своих произведений,—сбыт, который, как известно, значительно озабочивает ныне Англию и Францию».

Эти последние слова кажутся написанными накануне Крымской войны,—а они взяты из «мнения» государственного совета от 4 февраля 1832 г. Так глубоко в прошлое уходят корни конфликта. Но коварный Альбион нашел целесообразным вынуть из ножен свой собственный меч только однажды, двадцать два года после того, как государственные люди николаевской России констатировали его коварство. И до и после этого события «пролагать вооруженной рукой новые пути» приходилось насчет ближайших мусульманских соседей России, Турции и Персии. То, что для историка является русско-английским конфликтом, для современной публики было русско-персидскими, а главным образом русско-турецкими войнами. Отсюда—Крымская война Николая I и Турецкая—Александра II. Таким образом вы видите, что эти войны были необходимы как отдушины для русского промышленного капитала. И учитель наследника престола вынужден был построить такую историческую теорию, под которую это можно было подвести. Таким образом теория носит определенно классово-

вый характер, несмотря на то, что как будто бы между лесною сыростью и ситцевыми фабриками Владимирской губернии нет ничего общего.

Ключевский, к которому мы перейдем в следующий час, усвоил теорию Чичерина с этим ее чрезвычайно ценным, с точки зрения буржуазной идеологии, дополнением, ибо теория Чичерина объясняла лишь внутреннюю историю, а теория Соловьева захватывала и внешнюю. Посмотрим же, что представлял из себя как историк Ключевский.

«Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны—вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие». Так формулировал Ключевский свое понимание исторического процесса.

Людское общество, как это видно из его дальнейшей характеристики, это приблизительно то, что Чичерин называл государством.

Откуда Ключевский взял личность? Он ее взял не у Чичерина, не у Соловьева и даже не у Щапова,—Ключевский ее взял у Лаврова, столетний юбилей которого мы будем праздновать в июне настоящего года. Вам он вероятно известен как один из основоположников нашего народничества,—его «Исторические письма» были евангелием революционера 70-х годов. Вы помните, что в основе его исторического мировоззрения лежит теория, согласно которой народные массы представляют собой нечто инертное, неподвижное, почти не меняющееся и что двигателем прогресса этих масс является критически мыслящая личность. Мелкобуржуазный характер этой теории, сводящей все развитие к влиянию индивидуумов, бьет в нос. Процесс Лаврову представляется так: известная идея зарождается в мозге человека и оттуда, постепенно распространяясь, завладевает мозгами других личностей, а затем и всем обществом. Эта мысль была усвоена Ключевским.

«Идеи—плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности индивидуальных умов и совестей, и в своем первоначальном, чистом виде они проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности в пользу ближнего... Вы поймете, когда личная идея становится общественным, т. е. историческим фактом, это—когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, т. е. общепризнанным

правилом или убеждением. Но чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен целый прибор средств, поддерживающих это действие,—общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы... Итак, я вовсе не думаю игнорировать присутствия или значения идей в историческом процессе, или отказывать им в способности к историческому действию. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадает в этот процесс, а попадая, не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид. В этом виде, просто как идея, она остается личным порывом, поэтическим идеалом, научным открытием—и только; но она становится историческим фактором, когда овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом—силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предприятие, в обычай, наконец—в поголовное массовое увлечение или художественное всем ощутительное сооружение, когда например набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора»¹.

Вы видите, насколько мировоззрение Ключевского является мало марксистским и как наивны те люди, которые считают Ключевского одним из родоначальников исторического материализма в России; он является родоначальником исторического материализма лишь постольку, поскольку он стоит на почве Шапова.

«Внешняя природа нигде и никогда не действует на все человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям: разным частям человечества по его размещению на земном шаре она отпускает неодинаковое количество света, тепла, воды, миазмов, болезней—даров и бедствий, а от этой неравномерности зависят местные особенности людей. Я говорю не об известных антропологических расах: белой, темножелтой, коричневой и пр., происхождение которых во всяком случае нельзя объяснить только местными физическими влияниями; я разумею те, преимущественно бытовые, условия и духовные особенности, какие вырабатываются в людских массах под очевидным влиянием окружающей природы и совокупность которых составляет то, что мы называем народным темпераментом»².

¹ В. О. Ключевский, Курс русской истории. Часть I, лит. изд. Отд. НКП. Петроград, 1918 г., стр. 29—30 и 32.

² Там же, стр. 10—11.

Вспомните Шапова с его измерениями температуры, с одной стороны, и с его учением о непосредственном влиянии климата на характер,—и вот он, живой Шапов. Вы видите, что у Ключевского есть кусочек от Лаврова—роль идей и личности, есть кусочек от Шапова—из старого домарксистского экономического материализма, и рядом с этими кусочками у него вы находите в развитом виде и чичеринскую теорию.

«На физиологических основах кровной связи строилась первобытная семья. Семьи, пошедшие от одного корня, образовывали род, другой кровный союз, в состав которого входили уже религиозные и юридические элементы, почитание родоначальника, авторитет старейшины, общее имущество, круговая самооборона (родовая месть). Род через нарождение разрастался в племя, генегическая связь которого выражалась в единстве языка, в общих обычаях и преданиях, а из племени или племен, посредством разделения, соединения и ассимиляции, составлялся народ, когда к связям этнографическим присоединялась нравственная, сознание духовного единства, воспитанное общен жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб и интересов. Наконец народ становится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения»¹.

Я вам говорил, что Ключевский есть синтез, или, точнее говоря, Ключевский—эклектик. Конечно популярности Ключевского много помогло то, что это был человек совершенно исключительного художественного таланта. Страницы курса Ключевского выдерживают сравнение с любым отрывком тургеневской прозы. Вот почему Ключевский читается так легко, и вот почему его читать приятно. Без этого таланта его громадная популярность была бы непонятна. Можно однако быть уверенным, что даже при таком литературном таланте, но будучи более односторонним, Ключевский никогда бы не сделался таким кумиром русской интеллигенции, ибо эта интеллигенция ничего так не любит, как того, чтобы ей подавали предмет, как она говорит, с разных сторон. Она терпеть не может «односторонности».

¹ Там же. стр. 13.

Поэтому она всегда без всякой симпатии относилась к марксистам, ибо это люди явно односторонние. А ей нужно, этой интеллигенции, чтобы одновременно тут и народничество было—и у Ключевского есть Лавров, чтобы была и государственная теория—у Ключевского есть Чичерин, и чтобы был также и природный фактор—Ключевский дает Шапова.

Пожалуйте, все есть. И интеллигент, читая Ключевского, плавает в блаженстве: вот это действительно не узколобий марксист—у него все есть.

Конечно, эти теории немножко исключают друг друга, как вы догадываетесь. Если психологические особенности народа определяются материальной обстановкой, среди которой живет этот народ, то очевидно идеи стоят в какой-то связи с этою же обстановкой, и нельзя их рассматривать как свободное проявление индивидуального творчества. С другой стороны, если семья с железной, внутренней необходимостью развивается в племя, племя в народ, народ в государство,—тут как будто уже не остается места ни для природного фактора, ни для личной инициативы. Но для массового читателя тут нет большой беды. Вы знаете изречение: кто много дает, всем что-нибудь приносит. Поэтому всякий интеллигент, будь он сторонником теории Чичерина или народником типа Лаврова, находил у Ключевского родственные нотки. Отсюда вы видите, что Ключевский не может считаться выразителем какой-нибудь определенной классовой психологии, каким являлись Чичерин, Соловьев и Шапов. Это типичный представитель интеллигенции, т. е. того междуклассового слоя, который, с одной стороны, связан с капиталом, поэтому волей-неволей танцует по дудке буржуазии, но, с другой стороны, эксплуатируется этим капиталом,—поэтому он против буржуазии. Он очень любит разговоры о социализме, но как только этот социализм начинает превращаться из разговора в действительность, это для него является чем-то непереносимым: тут появляются и немецкие деньги, и шпионство, и пр.,—это вы знаете. Этот промежуточный класс и имел своим выразителем, гениальным выразителем (потому что Ключевский, в особенности по своему изложению, несомненно гениальный историк) В. О. Ключевского.

«Жизнь политическая и жизнь экономическая—это различные области жизни, мало сродные между собой по своему существу. В той и другой господствуют полярно-противоположные начала: в политической—общее благо, в эко-

номической—личный материальный интерес; одно начало требует постоянных жертв, другое—питает ненасытный эгоизм. Во-вторых, то и другое начало вовлекает в свою деятельность наличные духовные средства общества. Частный, личный интерес по природе своей наклонен противодействовать общему благу. Между тем человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможным потому, что в составе частного интереса есть элементы, которые обзывают его эгоистические увлечения. В отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельности духовной. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самым этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эта последняя на высшей степени своего развития выражается в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал по мере того, как развивающееся общественное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законного простора, требуемого личным интересом»¹.

Если мы возьмем отдельные теории Ключевского, то мы встретим на них точно такой же отпечаток эклектики, точно такое же сочетание различных точек зрения, сочетание, иногда довольно искусное. Если вы эту главу, которую я вам процитировал, прочитаете сплошь, не сопоставляя отдельных мест, вы, пожалуй, проглядите это: благодаря блестящему изложению довольно легко не заметить белых ниток, которыми все шито. Его теория развития русского общества есть, в сущности говоря, Чичерин, умноженный на Соловьева и дополненный теми теориями, которые Ключевский извлекал из современной ему публицистики. Прежде всего, в основе у Ключевского лежит теория закрепощения и раскрепощения. Для него точно так же русское общество образовано государством, причем государство сформировало это общество так, как ему нужно было. Всего характер-

¹ Там же, стр. 34—35.

нее этот взгляд Ключевского выразился в его теории земских соборов, причем в своих статьях о земских соборах он поминутно ссылается на Чичерина, как я упоминал, клянется именем Чичерина. По отношению к земским соборам Ключевский проделал ту же операцию, которую Чичерин проделал по отношению к русской общине. Он попытался и земские соборы рассматривать как известную форму круговой поруки. Что такое были земские соборы?—говорит он.—Это было совещание правительства со своими собственными агентами. Правительство было слишком слабо, чтобы заставляя на местах выполнять свою волю путем приказа из центра, как это делалось в XIX в. Правительство созывало местных людей в Москву и говорило, что от них требуется и сколько требуется. Оно говорило им: на вас, верхушках местного общества, лежит ответственность. Эти верхушки разъезжали по местам и проводили там директивы центра. Вот что такое земские соборы. Этим Ключевский объясняет тот факт, что у нас земские соборы не превратились в орудие политической оппозиции. Они не могли стать у нас зачатками парламента, потому что парламента в Западной Европе создавался в противовес центральной власти, как выразитель воли общества и против воли государства, а у нас земские соборы XVI—XVII вв. были созданы государством для него, на его потребности. Вот в чем разница. Так что земский собор, по Ключевскому, у нас есть чисто государственное произведение. Это является дополнением к теории Чичерина.

То же относительно образования в России сословий. Ключевский образование сословий ставит в непосредственную связь с волей государства. Государство у нас создало сословия, но почему оно их создало? Он, по Чичерину, берет удельную Русь как тип гражданского общества, где все держится на договорах между отдельными лицами, и заканчивает так:

«Своеобразный склад (русского) государственного порядка объясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа, во имя которой политически раздробленные прежде части его соединились под одной властью. Великороссия объединилась под властью московского государя не вследствие завоевания, а под давлением внешних опасностей, грозивших существованию великорусского народа. Московские государыни расширяли свою территорию и вооруженной борьбой; но то была борьба с местными прави-

телями, а не с местными обществами. Поразив правителей княжеств или аристократию вольных городов, моекоские государи не встречали отпора со стороны местных обществ, которые большей частью добровольно и раньше своих правителей тянули к Москве. Итак, политическое объединение Велнкороссии вызвано было необходимостью борьбы за национальное существование¹.

Вы видите, что теория Чичерина дополнена теорией Соловьева—борьбой со степью, ибо главным образом приходилось обороняться от татар,—и собственную мысль Ключевского о том, что оборонялось некое целое, именуемое великорусским народом.

Вот с этой стороны, может быть, нам будет всего удобнее начать критику Ключевского. В заключение своей характеристики «основного факта» русской истории XV в. он заводит речь «об идее национального (разрядка Ключевского) государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается прежде всего в московской правительственной среде по мере того, как Велнкороссия объединялась под московской властью». Эту «идею народного государства» «рождала объединившаяся Велнкороссия»; но Ключевский не ставит пределов «народному государству»; пределы эти «в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колониционным движением великорусского народа».

Оговорка очень благоразумная, ибо тексты, которые пытается приводить тут же Ключевский в подтверждение своей «национальной» гипотезы, к Велнкороссии-то уже ровно никакого отношения не имеют. Эти тексты, взятые из дипломатической переписки Ивана III, развивают ту обычную для своего времени мысль, что московский великий князь есть вотчик всей Русской земли, но образчики этой «вотчины», здесь упоминаемые,—Киев, Смоленск—и поводы для самой переписки—переход на московскую сторону черниговских князей—ясно показывают, что московская дипломатия отправлялась не от великорусского национализма. Что в Смоленске—«Белая Русь», а в Киеве—«Малая»,—это в Москве очень хорошо знали и помнили: но в эти дни там еще лучше знали и помнили, что московский великий князь—прямой потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, когда-то державшего всю Русскую землю. Что

¹ Ключевский, «История сословий», изд. 1918 г., стр. 120—122.

национальность тут была ровно не при чем, уездительнее всего свидетельствуется именно этой генеалогией, на которую так напирает в те годы как раз распространявшееся «Сказание о князьях Владимирских». В Мономахе больше всего ценили греческую кровь его деда, императора восточной Римской империи, ибо этой кровью надеялись стать вотчиками всемирного православного царства. Ничего более, чем это последнее, противоположного национальному государству нельзя себе и представить. А в дальнейшем разворачивании византийское происхождение Владимира Мономаха приводило к знаменитой теории, делавшей предком Ивана III не более, не менее как императора Августа. Основываясь на этой теории, Иван Грозный уверенно заявлял, что он не русский, а немец; и, подражая своему царю, все знатные бояре его времени выводили свой род от какого-нибудь именитого иностранца, якобы во время оно присхавшего служить знаменитейшей в мире династии. А Ключевский из этих людей хочет сделать великорусских патриотов!

И тут опять корни исторической гипотезы гораздо легче найти в современной историку среде, нежели в том прошлом, для объяснения которого гипотеза выдвинута. В 1860-х годах даже Наполеон III распинался в своем уважении к «принципу национальности», и налицо было два таких факта, как национальное объединение Италии и Германии. Русские вариации на тему о единокровных братьях-славянах были лишь запоздалым перепевом того же мотива. «Идея национальности» носилась в воздухе в те годы, когда Ключевский рос как ученый. Труднее было отгородиться от нее, нежели ее усвоить.

Но если логическая подпорка схемы Чичерина—Соловьева сама так плохо держится, лучше ли отвечает фактам сама схема? Этим вопросом стоит заняться подробнее.

Начнем с самого общего факта—борьбы со степью. Примем на минуту, что эта борьба действительно была пружиной, толкавшей вперед развитие московского государства, и посмотрим, что получается.

Максимум напора степи на русское славянство приходится, безо всякого спора, на XI—XIV столетия. Датами тут могут служить: 1068 г., когда Киевская Русь впервые была разгромлена половцами, и наступление на степь, очень заметное при Владимире и Ярославе, сменилось надолго обороной от степи, с одной стороны; с другой—1382 г., взятие Москвы Тохтамышем, последний случай, когда новая сто-

лица северо-восточной Руси побывала в татарских руках—в 1571 г. татарам удалось выжечь московский посад, но против кремлевской артиллерии степная конница оказалась бессильна. На этот промежуток, казалось бы, и должно падать по крайней мере начало московской централизации, по крайней мере начало пресловутого «закрепощения».

Обратимся к Соловьеву. Констатировав, что «северо-восточная европейская Украина, принявшая с половины IX в. название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатами», вот как характеризует он внутреннее состояние этой «Украины» за отмеченный нами период—самый критический период «борьбы со степью»:

«В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенчества. Так бывает и в обществах человеческих: одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские; вследствие слабости не сложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV в. представляет непрерывные усобицы: «Тогда земля сеялась и росла усобицами; в княжих крамолах вск человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы; часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: это мое, а это мое же; и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями, тоска разлилась по русской земле». Русь превратилась в стан воинский: бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно?»¹

По мнению Соловьева, оно спаслось «нравственными» силами, «ибо материальные были бесспорно на стороне Азии». Не будем об этом спорить—для нас важно то, что сам автор теории, объяснявший возникновение московской государственности потребностями национальной обороны от «степных хищников», должен был признать, что на период,

¹ С. М. Соловьев, Собрание сочинений, изд. «Общественная польза», стр. 794. Из статьи «Древняя Россия».

когда эта оборона была особенно нужна, когда стране грозила «конечная гибель» от этих хищников, падает максимум децентрализации, максимум разложения, а не сложения сил. Действие борьбы со степью походит таким образом на действие некоторых заражений—малярией например,—когда болезнь начинает проявляться лишь долго спустя после момента заражения. Когда-то боролись со степью, это привило микроб «закрепощения»—и, лет этак через полтора, микроб начал действовать...

Лет через полтора, ибо «закрепощение», т. е. обязательная военная служба помещиков, падает на середину XVI столетия (между 1550 и 1556 гг.—см. «Курс» Ключевского, ч. II, стр. 273—274). Но защитники теории скажут нам: позвольте, однако,—ведь на XVI в. приходится все-таки целых два крупных набега татар (крымских) на Москву, 1521 и 1571 гг. Последний составил эпоху—от 1571 г., от «татарского разорения», вели летоисчисление, как впоследствии от 1812 г. Разве этого бытия не достаточно?

Как раз сравнение с 1812 г. и показывает, что весьма конечно недостаточно: до сих пор никто еще не выставил теории, объясняющей милитаризм Николая I уроками 1812 г. Но примем, что татарские набеги XVI столетия действительно могли сыграть роль в «закрепощении»: из затруднения мы все-таки не выйдем.

Первый большой набег татар имел место в 1521 г. Имели ли после него место закрепощение? От 1539 г. до нас дошла писцовая книга Тверского уезда, перечисляющая тогдашних тверских землевладельцев. Их всего 572; из них великому князю служили только 230 человек, 126 были на службе у крупных землевладельцев (больше всего у тверского архиерея и у князя Микулинского), а 150 человек не служили никому. Общеобязательной военной службы всех землевладельцев великому князю еще не было.

После 1556 г. эта служба была несомненным фактом; но «степная бацилла» и тут дождалась 35 лет, чтобы начать действовать. И так как набег 1571 г. все же хронологически ближе (всего пятнадцать лет против тридцати пяти), то остается предположить, не обладала ли бацилла обратным действием, вызывая болезнь до заражения. Степные хищники так коварны...

Конечно, если вспомнить, что на этот период 1550-е—1560-е годы, падает расцвет московского империализма XVI в. эти годы был захвачен южный конец великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и

началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море, началась Ливонская война,—если это вспомнить, пожалуй не нужно будет никаких предположений более или менее сверхъестественного характера. Но нужна ли тогда будет и гипотеза «борьбы со степью»?

Так дело обстоит с «закрепощением» благородного русского дворянства. Лучше ли обстоит оно с настоящим, уже без всяких кавычек, закрепощением сидевших на земле этого дворянства крестьян?

Для того чтобы связать его с оборонческой теорией, нужно, конечно, чтобы закрепощение было актом той государственной власти, которая руководила этой самой обороной. Естественно, что создавшие нашу теорию историки немало потратили труда и времени на то, чтобы отыскать этот акт. Чем кончились их поиски, лучше всего рассказать словами В. О. Ключевского.

«Первым актом, в котором видят указания на прикрепление крестьян к земле, как на общую меру, считают указ 24 ноября 1597 г. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказания об общем прикреплении крестьян в конце XVI в. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убежал от землевладельца не раньше 5 лет до 1 сентября (тогдашнего нового года) 1597 г. и землевладелец вчинит иск о нем, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возратить назад, к прежнему землевладельцу, «где кто жил», с семьей и имуществом, «с женой и с детьми и со всеми животы». Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 г., не вчинил о нем иска, такого крестьянина не возвращать и исков и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ очевидно говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев «не в срок и без отказу», т. е. не в Юрьев день и без законной явки с стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и возврата беглых временная давность, так сказать, обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время. Такая мера, как выяснил смысл указа Сперанский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового в право, а только регулировал судопроизводство о беглых крестья-

нах. И раньше, даже в XV в., удельные княжеские правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 г., должно было последовать общее законоположение, лишившее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним и Беляев, основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 г.; только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем и Беляев думал, что если не в 1592 г., то не раньше 1590 г. должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 г. сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах.

Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того, ни другого указа, ни 1590, ни 1592 г., потому что ни тот, ни другой указ не был издан»¹.

«Итак,—заканчивает Ключевский,—законодательство до конца изучаемого периода (т. е. до конца «Смуты»—М. П.) не устанавливало крепостного права. Крестьян казенных и дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действие круговой поруки. Крестьян владельческих оно не прикрепляло к земле, не лишало права выхода, т. е. не прикрепляло прямо и безусловно к самим владельцам»².

Мы не выписываем промежуточных страниц, где Ключевский очень тонко и обстоятельно развивает свою известную теорию об обязательствах крестьянина к помещику, как возникших на почве исключительно гражданских правоотношений, безо всякого вмешательства государства. Что теория эта бьет в лицо развиваемую тем же Ключевским в других лекциях теорию закрепощения, едва ли нужно на этот счет распространяться: историк, т. е. бессознательный марксист, взял здесь у Ключевского верх над буржуазным публицистом. И, как всегда бывает с новой и свежей мыслью, ею стараются объяснить слишком много.

¹ «Курс», II, стр. 385—386.

² Там же, стр. 406.

Нет сомнения, что прямое вмешательство государства даже и в XVI в. было значительнее, чем изображает Ключевский. Классовое землевладельческое правительство (с 1565 г. отражавшее интересы не только крупнофеодальной верхушки, а всей помещичьей массы) не могло же в борьбе крестьянина и помещика соблюдать нейтралитет. Для XVII в. этого прямого вмешательства не отрицает и сам Ключевский. Но характерно тут то, что чем дальше от «борьбы со степью», тем это вмешательство смелее и бесцеремоннее. Первые указы, не мифические, а вполне реальные, о крестьянской крепости появляются на фоне помещичьей реакции после «Смуты», начиная с чрезвычайно характерного указа Шуйского (7 марта 1607 г.), закрепившего результаты разгрома болотниковского восстания: поражение крестьянской рати под Котлами и обратное взятие царскими войсками Коломенского имели место за три месяца до указа; в момент его издания правительство боярско-купеческой реакции всюду уже перешло в наступление, между прочим и на фронте крестьянской политики. «Борьба со степью» была бы, в приложении к этому моменту, чистой иронией—поскольку пришедшие с границ степи казаки представляли собою наиболее боеспособную часть болотниковского ополчения.

А когда степь совсем скрылась за горизонтом русской внешней политики, прочно заменившись финскими болотами, указ Петра 1723 г. совершенно незаметно, мимоходом, смешав крестьян в одну кучу с холопами. И, как нарочно, максимума своего географического распространения крепостное право достигло именно в год завоевания русскими Крыма—как бы для того, чтобы окончательно обелить «борьбу» со степью» от обвинения в содействии гибели крестьянской свободы. В 1783 г., когда Екатерина распространила крепостное право на Украине, вести борьбу было не с кем—в последнем гнезде «степных хищников» господствовали русские штыки. Но связь между их появлением в Крыму и распространением крестьянской крепости на всю площадь русского чернозема конечно была: Черное море теперь открылось для русской пшеницы, и черноземному помещику, как никогда, нужны были рабочие руки.

Таким образом теорию «закрепощения» с удобством можно разрушить руками ее создателей.

IV

В прошлый раз, товарищи, я дал вам характеристику главных течений русской исторической мысли, поскольку

они отражали собою известные классовые интересы. Я сказал, что последняя из охарактеризованных мною концепций, способов понимания русского исторического процесса, является до некоторой степени синтезом,—она объединяет собою целый ряд предшествующих концепций. Именно в этом синтезированном виде все эти концепции—и чичеринская с ее закрепощением и раскрепощением, и соловьевская с борьбой со степью, и шаповская с влиянием географических условий—именно в этом синтезированном виде эти концепции, сгущенные в виде экстракта, получили широкую популярность в русской интеллигенции под именем «Схемы русской истории» Ключевского. Нисколько не уменьшает достоинства Ключевского то, что все эти элементы понимания русского исторического процесса взяты у его предшественников—и в марксизме есть элементы, перешедшие к нам от предшествующих поколений: материализм от французских материалистов XVIII в., диалектика—от Гегеля и т. д. Разница только в том, что из всего этого у нас получилось химическое соединение, т. е. нечто совершенно новое. Химическое соединение тем и отличается от элементов, входящих в его состав, что не похоже ни на один из этих элементов,—марксизм есть нечто совершенно самостоятельное.

У Ключевского мы имеем механическую смесь этих трех элементов, благодаря чему перед читателем, более или менее вдумчивым, схема Ключевского ставит целый ряд недоуменных вопросов. Поскольку у Ключевского выдвигается личность, является вопрос: как связать личность с географическими условиями? Он не дает даже прямого ответа на то, как связать с географическими условиями общество или государство. Таким образом, у Ключевского мы имеем не такой синтез, каким был марксистский, но тем не менее это нечто объединенное. И вот тот факт, что мы в конце развития имеем обобщающую схему, дает ответ на вопрос, который вы мне задали в прошлый раз: «А как нам быть с теми книжками, к которым вы не даете ключа в ваших лекциях?».

Ключевский наложил отпечаток на всю новейшую историографию, вы везде встретите осколки его влияния. Имея ключ к шифру Ключевского, вы имеете ключ ко всей русской историографии, и к Платонову, и к Милюкову, и ваше дело им воспользоваться применительно к зашифрованному тексту. Так что для большей части русской исторической литературы Ключевский дает великолепную исходную точку зрения. Только две группы историков остаются вне ее: одну

группу можно назвать юридической, а другую—федералистской.

Позвольте сказать два слова относительно этих двух групп. Легче всего расшифровать юридическую группу, которая начинается с Неводина и кончается недавно умершим академиком Дьяконовым. Эта юридическая школа легче всего расшифровывается, поскольку у нее никакой исторической концепции нет и быть не может. Все эти юристы, одни более, другие менее, стоят на той точке зрения, что юридические нормы—правовые категории—есть нечто вечное, оно изменению не подлежит, и когда юрист приступает к истории—для него вся задача заключается в том, чтобы отыскать применение этих норм.

Наиболее выразительным представителем этой категории является Сергеевич, оставивший очень полезную книжку «Русские юридические древности». Полезна эта книжка тем, что в ней имеется масса цитат из подлинных документов; она может быть вам полезна в качестве хрестоматии.

Точка зрения Сергеевича очень проста: он был непримиримым врагом Ключевского, издевался над ним, потому что Ключевский был бессознательным диалектиком. В вопросе о происхождении крепостного права, вы помните, Ключевский очень тонко и красиво прослеживает, как из частных договоров крестьян с помещиками в XVI в. постепенно складывалась в XVII в. крестьянская крепость, крестьянская неволя. Сергеевич издевается над этим. Договор есть договор: кто бы его ни заключал,—египетский фараон 5 тысяч лет назад или теперешние помещики,—никакой крепости из него получиться не может. Разве в результате заключения контракта на квартиру с домовладельцем для ваших потомков может получиться крепостное право? Сергеевич смеется над этим. Для него нет другого объяснения возникновения крепостного права, как закрепощение сверху. Были свободные люди, а получилось крепостное право. Как это вышло? Очень просто—пришел указ сверху. Вы видите, что отсутствие собственной концепции приводит Сергеевича к тому, что он принимает кусок чужой концепции—концепции Чичерина, которой он, в сущности, не разделяет.

Так называемые объективные историки, которые всячески отгораживаются от высказывания своих взглядов, невольно повторяют чужие взгляды; нельзя одной памятью брать факты: их надо объяснять.

И у Дьяконова факты группируются по известным юридическим категориям, которым он верит. Он тщательно воздер-

живается от всякого рода обобщений, но в конце концов у него получается схема, похожая на схему Ключевского.

Таким образом по отношению к юристам можно сказать, что у них собран очень ценный фактический материал, которым нужно пользоваться, а расшифровывать тут ничего не нужно, ибо у вас определенный подход к юридическим нормам должен быть. Юридическая норма есть идеологическое отражение данного буржуазного хозяйства; это—самая простая расшифровка.

Что касается федералистов мелкобуржуазного ответвления, которые представлены в исторической литературе Костомаровым и Грушевским, у них не может быть концепции русского исторического процесса, потому что вся суть их деятельности заключается в разрушении понятия единого русского исторического процесса. Вы знаете, что мелкая буржуазия в борьбе с надвигающимся на нее капиталом, в тех случаях, когда этот капитал чужой, т. е. приносится людьми другого языка, свою оборону против надвигающегося капитализма облекает в форму национальной самозащиты. Мелкобуржуазный национализм есть по существу оборона против капиталистического гнета, идущего из центра. В особенности ясно это в наше время, когда в окружающих нас странах господствует империализм. В Индии, Египте, Китае это выражается в особенно отчетливой форме. Поэтому национализм является известной формой мелкобуржуазной обороны против капитализма.

Костомаров—украинец (бывший раньше членом левого тайного украинского общества), мечтавший о самостоятельности Украины, борется с концепцией, в сущности, Карамзина, где вся суть русской истории заключается в образовании громадной империи. Для него это вовсе не суть. Для него суть в тех местных национальных движениях, которые были оппозицией против этого объединения; он берет например новгородскую общину и драматически изображает ее борьбу с Москвой. Он берет Смутное время, когда верхушка государства на время развалилась и на сцену выступают местные «миры»; в особенности он конечно интересуется историей Украины. С ее историей мы знакомимся, главным образом по Костомарову, тем легче, что он—превосходный рассказчик, один из самых художественных наших историков. Из его теоретических, не чисто описательных работ (в описании он особенно силен, надо сказать) лучшая посвящена происхождению московского единодержавия—гвоздю карамзинской схемы. Костомаров весьма

остроумно изображает этот факт как одно из отражений татарщины. Связь московских князей с Ордой, которую они ловко использовали в борьбе со своими тверскими, нижегородскими и другими конкурентами,—несомненный факт. Но конечно объяснить этим возвышение Москвы значило бы вводить юридическую теорию с другого конца.

Суть дела не в том, от чьего имени, по чьему полномочию действовали московские князья; суть дела в тех экономических силах, которые выдвигали Москву, а на это Костомаров ответа не дает.

Костомаров—талантливый рассказчик, а Грушевский в своих первых томах, посвященных Киевской Руси, является наиболее свежим и наиболее европейским исследователем; поэтому я рекомендую вам I том Грушевского как справочник для получения известных сведений о Киевской Руси. Он опирается на новейшие археологические и лингвистические данные, но концепции никакой дать не может по самой сути дела, и противопоставлять их обоим Ключевскому не приходится.

Теперь, товарищи, я перехожу к заключительной части своего курса—к характеристике тех отражений изложенных мною буржуазных теорий, которые имели место в нашей марксистской литературе. Присутствующие, вероятно, ждут от меня изложения в этом пункте моих разногласий с Троцким, но от этого я уклонюсь: Троцкий никакой книги, посвященной специально общей концепции русской истории, пока не дал. Его маленькое введение к «1905» издано для западноевропейских читателей его книжки, к которым он обращался, чтобы дать им элементарное понятие о русском историческом процессе. В первых двух главах он объясняет, откуда пришла революция. Мне казалось и продолжает казаться, что для русских читателей эти главы лишние, но Троцкий держится иного мнения; во всяком случае это не есть попытка самостоятельно перегруппировать материал. У Троцкого были две книжки: «Курс» Ключевского и «Очерк» Милюкова. Но Ключевского я разбираю, а Милюкова не стоит, ибо общая схема его есть повторение схемы Ключевского. Разбирая Троцкого, мне пришлось бы разбирать тех авторов, ключ к которым у вас уже имеется. Поэтому я предпочитаю заняться двумя другими марксистами, которые пытались самостоятельно пересмотреть сырой материал и на его основе дать свою концепцию русской истории.

Те два автора, о которых мне придется говорить, — покойный Г. В. Плеханов и доныне здравствующий И. И. Ильич не избежали большого влияния предшествующей историографии.

Плеханов закончил свою литературную карьеру большим трудом по русской истории; вышли три тома его «Истории русской общественной мысли». Эта книжка очень полезная, поскольку в ней изложено содержание целого ряда памятников русской литературы, которые в подлиннике к вам в руки не попадут. Например напомним изложение Пересветова или Крижанича; эти главы полезны даже для лектора.

Я не буду касаться ни ошибок, ни положительных сторон Плеханова в тех его главах, где он излагает отдельные произведения русской общественной мысли, а возьму общую концепцию, общее понимание исторического процесса. Есть ли историческая концепция основоположника русского марксизма действительно марксистская?

Вот какую формулу исторического процесса давал Плеханов в те дни, когда он, безо всякого спора, был выразителем, пролетарской идеологии — в 90-х годах прошлого столетия. «Всякая данная ступень развития производительных сил, — читаем мы в его тогдашней основной методологической работе, — необходимо ведет за собою определенную группировку людей в общественном производственном процессе, т. е. определенную структуру всего общества. А раз дана структура общества, нетрудно понять, что ее характер отразится вообще на всей психологии людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. Привычки, взгляды, нравы, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, их способу добывания себе пропитания (по выражению Пешеля). Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею. Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самым характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к условиям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям суще-

твования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма».]

Здесь дан совершенно отчетливый ответ на вопрос, как движется исторический процесс в пределах развития производительных сил. Оставалось ответить на дополнительный вопрос: что толкает вперед развитие этих последних? Плеханов и на это в 90-х годах давал ясный и точный ответ.

«Первоначальный толчок для развития общественных производительных сил дает сама природа, их рост в определенной степени определяется свойствами географической среды. Но отношение человека к географической среде не неизменно; чем больше растут его производительные силы, тем быстрее изменяется отношение общественного человека к природе,—тем быстрее подчиняет он ее своей власти. С другой стороны, чем больше развиваются производительные силы, тем скорее и легче совершается их дальнейшее движение: производительные силы в современной Англии растут несравненно быстрее, чем росли они например в древней Греции. Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются: пример—рабство, которое перестало существовать, когда пришло в противоречие с производительными силами общества, т. е. говоря проще, когда стало невыгодным. Само собою понятно, что это устранение отживших учреждений и отношений вовсе не происходит само собою,—нелепая мысль, которую часто приписывают диалектическим материалистам их противники. Даром ничто никому не дается,—эту старую истину прекрасно знают материалисты-диалектики»¹.]

Короче, в виде очень сжатой схемы, Плеханов повторил еще эту формулировку в 1908 г. в «Основных вопросах марксизма».

«Если бы захотели кратко выразить взгляд Маркса—Энгельса на отношение знаменитого теперь «основа-

¹ «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», по изданию 1919 г., стр. 140—141 и 273.

ния» к не менее знаменитой «надстройке», то у нас получилось бы вот что:

1. Состояние производительных сил.
2. Обусловленные им экономические отношения.
3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической «основе».
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общественного человека.
5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».

Тут конечно есть кое-что новое—и это новое, без сомнения замеченное уже читателем, заключается в несомненной попытке сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил. Отодвинуть его подальше от них. Но и отделенная более или менее толстой простойкой «основа» все же остается на своем месте (хотя зачем-то и попадает в кавычки). Формулировка «Основных вопросов» все же еще приемлема для всякого марксиста.

И вот автор всех этих формулировок принимается за изображение конкретного исторического процесса, общественного развития определенной страны, России. Как должен был он поступать?

Прежде всего конечно выяснить условия географической среды. Показать, как отразилась она на развитии производительных сил. Показать далее, какие на основе последних возникали группировки людей, классовые отношения. Выяснить, как эти отношения отразились на политической надстройке, которую впрочем автор «Монистического взгляда на историю» правильно не находил нужным выделять из «структуры всего общества»: государство действительно лишь самый верхний этаж этой структуры. Наконец, из этой структуры вывести «психику общественного человека», показать, как в данных условиях развития производительных сил развивалась в России «общественная мысль».

Подойти к географической среде русской истории было сравнительно нетрудно. Огромный и, при всей хаотичности, правильно, с точки зрения материалистического объяснения истории, ориентированный материал собрал уже Шапов в 1860-х—1870-х годах. Синтезировавший все предшествующее развитие, включая и Шапова, Ключевский по-

святил вопросу две лекции своего курса—из лучших в I части. Во всем этом не хватало диалектики: географические условия изображались как равные себе на всем протяжении процесса; того изменения в отношениях человека и среды, которое подчеркивает Плеханов, не замечалось. Кому, казалось бы, внести в этот уже подобранный материал диалектическую точку зрения, как не основоположнику диалектического материализма в России?

В действительности, как это ни удивительно, Плеханов проходит мимо всей этой группы ценнейших для него фактов. Как отправную точку историко-географического анализа Плеханов берет одно из общих мест автора, писавшего ранее и Ключевского и даже Щапова, одно из общих мест Соловьева, который, обосновывая историческую неизбежность для России быть единым централистическим государством (мы—в 50-х годах, не забудем этого!), выдвигал на первый план «однообразие природных форм», «исключавших областные привязанности».

В одном месте своего четырехтомника я попрекнул как-то Соловьева «школярством» (по поводу его объяснения петровской эпохи). Это стяжало мне исключительную честь—быть названным на страницах «Истории русской общественной мысли» (вообще избегающей упоминать о марксистах, писавших по русской истории). Плеханов длинно и нудно, по своей обычной манере последних лет, поучает своего читателя, какой я невежливый и невежественный человек, что решаюсь о Соловьеве (подумайте!) употреблять столь непочтительные термины. Мое уважение к Соловьеву, одному из умнейших и, без всякого сравнения, образованнейшему русскому историку XIX столетия, не меньше плехановского. Но на «школярстве» я все-таки продолжаю настаивать. Виноват в нем не Соловьев, а качество его аудитории. Как все профессорские произведения, исторические писания Соловьева выросли из его лекций. А эти лекции читались публике, по своему развитию стоявшей не выше теперешних школьников второй ступени (очень извиняюсь перед последними). С этой публикой приходилось говорить наиболее простым и общедоступным языком, начинать с самых элементарных обобщений. Соловьеву нужно было доказать, что централизованная империя Николая I (да, вот, давно как это было!) есть осуществление той идеальной цели, к которой стремилась российская история «с древнейших времен». Для сидевших перед ним, фактически гимназистов, еще не решивших окончательно, какой мундир луч-

ше, студенческий или гусарский¹, «однообразие природных форм» было конечно аргументом силы потрясающей. Для нас—это фраза из гимназического учебника пятидесятых годов XIX в.

Но посмотрите, как носится с этой фразой Плеханов («История русской общественной мысли», I, стр. 32 и сл.). Как обстоятельно и учено, с цитатами из Маркса, с параллелями из биологии, пытается он еще более разжевать своему читателю «ценную мысль», которая без всякого разжевывания была понятна дворянским гимназистам времен Крымской войны. Общие места Соловьева «до сих пор», видите ли, «слишком мало принимались в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса».

Между тем, если даже на минуту отнестись серьезно к обобщению Соловьева и признать за ним не только педагогический, но и некоторый научный смысл, то оно фактически верно лишь для Российской империи начала царствования Екатерины II, для середины XVIII столетия. Только оставаясь в пределах этого периода, когда еще не вошли в сельскохозяйственную эксплуатацию южнорусские степи, и принимая Россию за чисто земледельческую страну, можно говорить об «однообразии природных форм». Уже для конца царствования Екатерины, 1790-х годов, утверждение было бы устарелым: распашка «новороссийского» чернозема создала два типа земледельческого хозяйства, типа, разница которых была настолько глубока, что ею обосновалось подклассовое деление класса русских землевладельцев, деление, легшее в основу конфликтов, связанных с «крестьянской реформой». «Освобождение крестьян» выглядело бы иначе—и не так нуждалось бы в кавычках,—если бы у нас существовал только один тип нечерноземного помещика, дворянина-манчестерца, и не было другого типа черноземного, степного помещика-плантатора. Если же мы возьмем промышленный период русского развития, XIX век, то нам придется привлечь к делу и криворожскую руду, и донецкий уголь, и бакинскую нефть, и туркестанский хлопок, и мы наткнемся на такое разнообразие природных условий, которое побьет все европейские рекорды и найдет себе соперника только в Америке, в Соединенных штатах. Для Соловьева, в 50-х годах, это

¹ Такой анекдот был не более, не менее как с Лермонтовым. Не смеяться.

было будущее, и как историк он не обязан был с ним считаться, но для Плеханова, выпустившего свою книгу в 1914 г., это было уже прошлое: игнорировать его — значило отказаться от объяснения ближайшей к нам и самой интересной для марксиста части русского исторического процесса.

Итак, что дало исходный толчок развитию производительных сил на русской равнине, остается невыясненным: мы узнаем, в сущности, лишь в чем заключался географический фундамент российского «единодержавия» по мнению русских историков конца царствования Николая I. Проще говоря, приступая к изучению «Истории русской общественной мысли», читатель Плеханова, — ежели он только не прочел раньше хотя бы Ключевского, — о «географической среде» ничего не узнает. Зато он узнает хоть, как развивались самые-то производительные силы? Увы — и этого нет. Он убедится только лишний раз, что Плеханов ценил историков как хорошее вино — чем старше, тем лучше.

Пленившись одним обобщением I тома соловьевской «Истории России с древнейших времен» (напомним еще раз, что этот том вышел в начале 50-х годов), Плеханов приводится в еще больший восторг другим обобщением — все того же типа. «Великая равнина, — продолжает он выписывать Соловьева, — открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно со степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главнейших явлений будет постоянная борьба со степными варварами».

Глубина этого обобщения не больше, чем предыдущего. Его связь с практическими задачами русской политики времен Соловьева и его фактическая несостоятельность мною подробно разобраны в другом месте¹ — и я позволю себе здесь к этому не возвращаться. Здесь для нас не важно, что оно еще раз и уже окончательно сбивает Плеханова с той дороги, которую он сам считал единственно правильной.

¹ См. выше лекцию III.

«Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России?» — спрашивает Плеханов, и вы чувствуете трепет человека, который наконец нашел ключ к давно мучившей его загадке. «С. М. Соловьев, — продолжает Плеханов, — делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежит к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: «татары (после покорения Руси—Г. П.) остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было». Но другие кочевые народы, — предшествовавшие татарам в своих столкновениях с русскими племенами, — еще меньше татар «вмешивались во внутренние отношения». Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти кочевники еще более, чем татары, «оставляли все, как было». А если это так, то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя «все, как было», кочевники своим влиянием замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. «Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь,—говорит он,— они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византией. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников; варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та общалась с образованной Европой». Но если это так, то очевидно, что и кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю, прежде всего, — и, может быть, главным образом, — тем, что замедлили наше экономическое развитие. К сожалению С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса... «Кочевники «только» опустошили Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли все, как было. Но если опустошения задерживали внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому развитию новое направление, более или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно разница в быстроте развития есть лишь количественная разница. Но, постепенно накапливаясь, количественные различия переходят наконец в качественные. Кто

знзет? Может быть, опустошая Русь и, стало быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе»...

Попав на эту зарубку, Плеханов так и не сходит с нее уже до конца. О развитии производительных сил России читатель от него ничего не узнает, если не считать беглых, попутных замечаний по поводу «поистине замечательного труда» В. А. Келтуялы («Курса истории русской литературы») на стр. 37 — 45 I тома «Истории общественной мысли». Начавшись довольно правильными соображениями насчет относительного значения лесных промыслов и земледелия в древнерусском хозяйстве и кончаясь весьма сомнительного достоинства рассуждениями о превосходстве меча над саблей, или сабли над мечем, Плеханов оставляет вопрос открытым—никакого влияния на ход исторического процесса различных военнохозяйственных фактов эти замечания не устанавливают. Характерно только явное скольжение от экономического момента (земледелие—лесные промыслы — скотоводство) к военно-техническому (сабля — меч); тенденция — подалее от экономики, поближе к политике — чувствуется все определеннее. Скоро она окончательно берет верх. Нимало не смущаясь фактом, что «производительные силы» попрежнему для него и его читателя остаются иксом, Плеханов все свое внимание сосредоточивает на вопросах: какие политические и причины задерживали развитие этого икса и какие политические и последствия эта задержка имела.

Он явно досадует, что Соловьев не сумел извлечь из своего нового общего места — пресловутой «борьбы со степью» — всех возможных логических последствий. («С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени». На самом деле это неверно: Плеханов считался только с «Историей» и упустит из виду последнюю предсмертную статью Соловьева, цитированную нами выше, где все строится на борьбе «леса» и «степи»). И он спешит этот пробел пополнить. У него-то уже ничто не увильнет от этого «классического» объяснения — ни классовый состав русского общества, ни его, этого общества, политическое возглавление!

Почему Россия больше похожа на Азию, чем на Европу? Ключевский в своем географическом обзоре приводит

ряд остроумных сближений, показывающих, как русская равнина в целом ряде отношений (пропорция моря и суши, устройство поверхности и т. д.) ближе к своим соседкам на восток, равнинам Северной и Средней Азии, нежели к Западной Европе. От Вислы и Карпат до Великого океана мы имеем в сущности один географический комплекс. Не следует преувеличивать исторического влияния этого сходства, но что однообразие, например, водных речных путей, так привычных русскому, очень облегчало быстрое продвижение на восток наших сибирских конквистадоров, а следом за ними и быструю колонизацию Сибири, — это не подлежит сомнению; как и то, что будь, вместо равнины, в этом направлении хороший горный хребет, вроде Кавказского, и завоевание и колонизация наткнулись бы на затруднения, для XVII в. неодолимые, — о завоевании Кавказа и обрусении Закавказья до XIX в. русскому империализму не приходилось и думать. В Сибири же не приходилось над этим задумываться. В сближениях Ключевского есть несомненный смысл для историка-материалиста. Но Плеханова это мало интересует. Для него «азиатизм» России, которому он придает даже преувеличенное значение, имеет совсем другой источник. Он берет не географическую характеристику Ключевского, а другое место «Курса», где тот объясняет не сходство России и Азии, а основные мотивы русских былин, «углубляет» мысль московского историка и получает то, что требовалось.

«Борьба со степным кочевником, половчином, злым тарином, длившаяся с VIII почти до конца XVII в., — говорит проф. Ключевский, — самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его память и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни». Это справедливо, может быть более, чем предполагал сам проф. Ключевский. Даже те «европейские недочеты», которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономического развития России».

Хотите ли вы знать, почему у нас не сложилось могущественной феодальной аристократии, подобной Западу или хотя бы Польше? Ларчик открывается просто. «Мы уже

знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней, за исключением Волыни и Галиции, влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и в случае надобности поддержать их силой. Те условия, в которых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти «европейские недочеты в русской исторической жизни» и тем содействовали постоянному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий».

И уже легче легкого из той же универсальной причины вывести московское самодержавие. Тут даже можешь сослаться на Энгельса «Чтобы обезопасить себя от внешних нападений, — например от набегов тех же кочевников, которые и на северо-востоке не оставляли в покое русского землевладельца, — обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные и русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое «собрание Руси» великими московскими князьями могло идти так успешно только потому, что «собирательная» политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же самое время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой, их же нуждами и их же сочувствием укрепившейся центральной власти: крошечная деревенька в два-три двора могла оказать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту; напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с «воровством» непокорных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин этого явления лежит в условиях натурального хозяйства, исключаящих экономическое разделение

труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу именно в силу полного тождества их экономического и общественного положения»¹.

А чтобы читатель от этой мысли Энгельса не впал, чего доброго, в «экономический» материализм, в примечании назидательно напоминает: «К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось между прочим в следующем: «со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ее обитателей» («Промышленность древней Руси» Н. Аристова, СПб 1866, стр. 49)».

Это ли не мастерство — сочинение специально по экономической истории России использовать для того, чтобы лишний раз отгородиться от экономики и восстановить «чистую политику» в ее неотъемлемых правах!

Ибо основная задача Плеханова в том и состояла, чтобы поставить незаслуженно возвеличивавшуюся им в 90-х годах экономику «на свое место». Наивно было бы думать, что этот тонкий наблюдатель не замечал банальности и поверхностности обобщений Соловьева, которыми он восхищается. Соловьев был нужен Плеханову, чтобы помощью солидного авторитета обосновать собственную мысль: в России экономика давала лишь самый сырой, первичный материал в образе «натурально-хозяйственных отношений». Все формы лепила из этого сырого теста политика, — та политика, самодовлеющего значения которой упорно не хотели понимать большевики, выдвигавшие на первое место национализацию земли, диктатуру пролетариата и крестьянства и тому подобные, русской серости совсем неприличные вещи. Надо было показать, что в формально политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, вся суть дела; что прав был Плеханов и кадеты, когда они советовали сначала обеспечить себе эту формально-политическую сторону, завоевать хорошую конституцию, а потом уже разговаривать и о захвате власти. Действовать наоборот — значило идти против течения всего русского исторического потока: и надо было это показать невежествен-

¹ Плеханов, «История русской общественной мысли», т. 1, стр. 52, 55, 74 и 75.

ным людям. Формально-политический момент, воплощенный в созданной потребностями национальной обороны государственной власти, сотворил Россию со всем ее общественным строем, а они этот момент игнорируют.

И вот, со ступеньки на ступеньку, мы у знаменитой теории закрепощения. «Значительный отстав» от Московской Руси XVII в. вела с ними продолжительные войны. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты. В стране, продолжавшей оставаться колонизирующейся страной, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению всех слоев населения, а в особенности трудящейся массы для непосредственной или посредственной службы государству... Общественно-политический быт русского государства представлял собою как бы двухъярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству... При сопоставлении этой особенности с той, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западноевропейских стран, у нас получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший, земледельческий, но и высший, служилый, класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны, — то, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население»¹

Теории этой пишущий настоящие строки отдал достаточно внимания в своей статье «Откуда взялась теория внеклассового происхождения русского самодержавия»² и в предыдущих лекциях. Повторять детально развитую там аргументацию не имеет смысла, — напомним только, что родоначальником теории является Б. Н. Чичерин, идеологический предок позднейшего «Союза 17 октября», и что сложилась она в эпоху «освобождения крестьян», когда Чичерину даже Герцен казался ярко-красным якобинцем. В названной статье выяснены и причины долговечности схемы, понадобившейся первоначально, собственно, русскому по-

¹ Там же, т. I, стр. 203—204, 107, 86.

² См. настоящий сборник, вып. I, стр. 167—Ред.

мещицкому центру перед 19 февраля. Классовое происхождение схемы вне сомнения, и усвоение ее Плехановым служило лучшей иллюстрацией того, к чему приводит уклонение от принципов исторического материализма, когда-то так красноречиво развитых тем же Плехановым.

С первого взгляда может показаться, что Плеханов просто усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса и что он никакой более или менее оригинальной «группировки людей» не представляет. Дело однако не так просто. Буржуазная схема понадобилась ему не сама по себе, а как средство для обоснования некоторой, опять-таки своей мысли. Эту свою мысль он формулировал так на стр. 110: «Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существующего у нас политического порядка, а напротив, чрезвычайно упрочивала его».

Для того чтобы иллюстрировать это на одном примере, который является типичным для характеристики классовой борьбы в древней Руси, лучше всего взять отношение Плеханова к казачеству. Казачество — это тот элемент русского крестьянства и мелкого городского населения, который эмигрировал за рубеж, но периодически пытался вернуться в то общество, которое вытеснило его из себя, и преобразовать это общество по-своему, — особенно характерно это у Разина, но это встречается и у Пугачева, — подчинить общество своему казацкому влиянию. Но когда мы имеем дело с казаками, то трудно стать на точку зрения сотрудничества классов: «коготок увяз — всей птичке пропасть». В вопросе о казаках Плеханов усваивает идеологию уже и не Соловьева, а прямо и непосредственно Чичерина. Чичерин был непримиримым врагом казачества исторически. Для характеристики явлений, несимпатичных ему в нашей литературе 60-х годов, он постоянно пользовался этим термином: «Чернышевский — представитель умственного и литературного казачества». Хуже этого он ничего не мог сказать: казаки — прирожденные анархисты. Вот, что говорит Плеханов:

«Прав Соловьев и в том, что казаки были для русского государства подчас опаснее самих кочевых орд. Однако этими указаниями еще не исчерпывается вопрос о роли казацких удалцов в истории русского общественного развития. А так как он сильно интересовал когда-то наших народ-

ников, то нам приходится досказать то, чего не досказал покойный историк».

«Предприимчивые, подвижные, по необходимости воинственные казаки временами переходили в наступление, и тогда они действительно становились для Москвы опаснее, чем «кочевые орды», которые впрочем нередко выступали их союзниками в борьбе с нею. Они много причинили ей хлопот в Смутное время, хорошо «тряхнули» ее в царствование Алексея Михайловича (Ст. Разин), а потом не на шутку перепугали и Петербург в царствование Екатерины II (Е. Пугачев)».

«Протест казаков был исторически бесплоден, и в конце концов они превратились в орудие угнетения той самой на родной массы, из которой они когда-то вышли и которая величала их «доорными молодцами», тьюбуясь их удалыми подвигами как выражением своего собственного протеста...» Проф С. Ф. Платонов нашел интересную отметку о донских казаках от 22 декабря 1613 г., т. е. ст того времени, когда, несмотря на избрание Михаила Федоровича, смута далеко еще не была окончена. Отметка гласит, что «они-де во всем царскому величеству послушны и на всяких государевых недругов стоять готовы». Конечно, отметка слишком сгущала краски. Донские удалы еще не один раз сами превращались потом в «государевых недругов». Но, как сказано, их общественный протест вышел исторически бесплодным. А их служба государству в конце концов сделала их одним из удобнейших орудий борьбы реакции с истинно освободительным движением народа. Так что в последнем счете история вполне оправдала отметку».

Казаки были такой же ордой в глазах Плеханова, как татары и половцы. И так открытая борьба классов, поскольку она и появлялась в русской истории, давала отрицательные результаты. Этот единственный случай — случай явно ненормальный. Как норма, открытая борьба классов не характерна для русской истории. Потребности государственной обороны притушили эту борьбу и во всяком случае отодвинули ее на второе место. Оттого и «промежуточные» и «внеклассовые» партии, вроде кадетов, могут у нас играть совсем иную роль, чем на западе. И не только «так было», но и «так будет»: потребности обороны всегда будут сглаживать классовые противоречия. «Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными

отношениями, т. е., во-первых, их взаимной борьбой, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть объяснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса»¹.

«Относительное своеобразие русского исторического процесса» заранее обосновало оборончество группы «Единство». Мы видим, до какой степени близоруко было бы причислить Плеханова к сонму тех социал-демократов, которых неожиданный сюрприз войны загнал в лагерь «защитников отечества». Первый том его «Истории» уже вышел из печати, когда еще, кажется, и Фердинанд Австрийский был жив и когда говорить о надвигающейся войне считалось для доброго марксиста безусловно неприличным: стыдно помогать рекламе пушечных заводчиков. Не испуг, а теория загнала Плеханова к оборонцам, — теория, отражавшая интересы отнюдь не класса предпринимателей (которые в России и оборонцами стали далеко не сразу), а их образованных слуг, того слоя, который можно назвать технической интеллигенцией.

Этот слой уже успел создать на Руси свою идеологию. То была идеология «легального марксизма», не отрицавшего влияния бытия на сознание, но отрицавшего классовую борьбу и воспевавшего, в лице Струве, внеклассовое государство. Этот марксизм без революции был вполне приемлем и для левого крыла кадетов, многие из которых в теории мало отличались от правых меньшевиков.

Этому слою нужна была не только своя «внеклассовая» власть, но и своя «философия русской истории» — не революционная, ибо он смутно предчувствовал свою судьбу в дни массового революционного движения (уже в декабре 1905 г. его принудительно заставляли питаться черным хлебом), но все же почти материалистическая, с классами, но без борьбы классов, по возможности. Во внешней политике этот слой был большим патриотом, нежели предприниматели, ибо он представлял интересы русского капитализма в целом, русского капитализма как такового, а рядовой предприниматель представлял интересы только своего собственного капитала. «Оборона страны» для него была менее звуком, чем

¹ Плеханов. «История русской общественной мысли», т. I, стр. 11.

для «толстосума» (с толстой сумой везде хорошо!), и он громче и искреннее кричал «ура», чем кто бы то ни было, когда Германия на нас «напала» в 1914 г.

Этому слою нужен был свой идеолог — и он нашел его в лице Плеханова после 1905 г. Последний же просто поддался влиянию буржуазных книжек. Буржуазные книжки были ему нужны для обоснования его собственных мыслей, но обосновывал-то он теперь не наступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени.

Что представляет из себя Рожков? Я опять-таки не буду касаться отдельных взглядов Рожкова на отдельные явления русской истории, а постараюсь заняться его общей концепцией и дать общую характеристику. Как он себе представляет развитие общества?

«Представляя себе таким образом развитие общества как единый и цельный процесс, развертывающийся с закономерной необходимостью из хозяйственных условий, дальнейшее звено этой цепи мы видим в социальных отношениях, причем в сфере этих последних первенствующее место принадлежит классовому строю. Естественным продолжением этого является политический строй, выражающий интересы господствующих классов, и духовная культура, в которой объединяющим элементом служит психический тип. Как классовые отношения с необходимой и постоянной последовательностью вытекают из хозяйственных условий и в соответствии с эволюцией последних сами развиваются, не являясь неподвижными, так и государственный строй подчинен классовой эволюции, и психология общества есть всегда в сущности психология его отдельных классов, и опять-таки не подвижная, а последовательно, закономерно развивающаяся. Психология каждого класса в данный момент отличается и от психологии того же класса в другое время. И все эти различия, проявляясь в истории духовной культуры разных народов, находят себе яркое выражение в смене психических типов».

Все как будто бы благополучно — концепция почти, как у Плеханова, но есть одна маленькая черточка, очень характерная. Вы помните, что Плеханов в своей первоначальной, «классической», можно сказать, постановке социальный и политический строй объединяет в одну категорию, исходя из положения Маркса, что правительство есть ис-

полнительный орган господствующего класса. Рожков это разъединяет. Для него политический строй выражает интересы господствующих классов, но это не есть организация этих классов. Это выделение политического строя на особую ступень хотя и кажется мелочным, но все же характерно, и особенно оно характерно при свете последних событий, которые сорвали много завес, между прочим и с этого секрета—связи политического и социального лозунга. В «мирные» времена социальный материк власти действительно скрыт—для непосвященного взгляда—под «политической надстройкой». Но общественные катастрофы грубо обнажают материк, и мы тогда видим, много ли значат политические формы как таковые. Ну, какую роль играл у нас в 1917 г. лозунг монархии или республики? А лозунг Учредительного собрания? Когда его разогнали, то иные обыватели думали: «батюшки, что будет—оскорбили народную волю»,—а народ даже не почесался. Политический лозунг отступил на задний план, а социальная природа выступила на передний план. Важно было, в чьих руках, в руках какого класса власть, а то, как она организована,—вопрос второстепенный. Это дает ключ к целому ряду явлений, например к тому, почему одна из самых сознательных буржуазных демократий—английская—мирится и с королем и с палатой лордов. Политический момент есть второстепенный, а у Рожкова он равноправный.

Но главное не в этом. Рожков начинает с фразы, которую его поклонники глотают так же спокойно, как стакан воды: в основе лежат хозяйственные условия. Значит—марксист, о чем же больше толковать? Но это далеко не так просто. С каких хозяйственных условий начинает Рожков свой анализ? Что такое «хозяйственные условия»? Для него они следующие: добывающая промышленность, обрабатывающая, земледелие, скотоводство, раньше всего—охота. Это деление на экономические категории для марксиста несколько неожиданное. Разве марксизм объединяет по этому принципу, разве можно объединить в одну категорию деревенского кузнеца и Путиловский завод на том лишь основании, что они относятся к обрабатывающей промышленности, в частности к металлургии? Деревенский кузнец—это одна категория, а Путиловский завод—другая.

Возьмите охоту—разве какая-нибудь капиталистическая организация охоты, вроде компании Гудзоновского залива, или Русско-американской компании, это то же, что охота

первобытных краснокожих? И тут и там—охота. Охотой занимаются и краснокожие и Гудзоновская компания, но никто не скажет, что это одно и то же. Для нас «революцией» является переход от мелкого производства к крупному, машинному: мы говорим например о «промышленной революции» в Англии в XVIII столетии. У Рожкова же переход от скотоводства к земледелию является экономической революцией.

«Таким образом, рассматривая в целом соотношение разных отраслей хозяйства в России X, XI и XII вв., надо признать, что основною новою чертою здесь являлось быстрое увеличение удельного веса земледельческого производства: оно по своему значению стало почти уже равняться добывающей промышленности и скотоводству. То была целая экономическая революция, из которой последовательно с железной необходимостью произошел целый ряд крупных перемен в хозяйстве, обществе и государстве».

Для Рожкова революция—это появление «земледельческого производства».

Итак, когда Рожков и марксисты говорят о «хозяйственных условиях»,—это не одно и то же. И это повторяется во многих местах. Так например Рожков говорит: «В хозяйстве варварских обществ наблюдается преобладание уже не только добывающей промышленности (охоты, рыболовства, пчеловодства), но также и скотоводства, при второстепенном значении земледелия, и иногда еще внешней торговли». Это—категории, странные для нас, которые в наше марксистское сознание входят с большим трудом.

Не более благополучно обстоит у Рожкова со следующей ступенькой—связью «хозяйственных условий» и политики с «психологией общества». Ошибки, которые делает в данном случае Рожков, тем любопытнее, что они имеют не только отрицательное значение—помогают провести водораздел между ним и марксистами, но помогают установить и положительный признак, наметить ту общественную группу, к которой Рожков идеологически несомненно ближе, чем к пролетариату.

«Мы,—пишет он,—полагаем в основу социологии духовной культуры понятие «психического типа». Что же лежит в основе самого этого «типа»? «...первенствующее значение в психической жизни имеют эмоции и теория ассоциативной связи»¹.

¹ Рожков, т. I, стр. 14—15.

«Ассоциативная связь» есть «формальное» условие—«материю» психической жизни дают таким образом э м о ц и и. А каково происхождение этих последних?

«Физическая сторона эмоций, по Сутерланду, состоит в изменении тонуса или напряжения сосудистой системы нашего тела. Существуют две категории эмоций—эмоции, повышающие и понижающие телесную энергию, так как иногда животному надо было защищать себя, иногда уклоняться от опасности. Эмоции сначала были автоматическими, просто изменениями в кровообращении; только потом рефлекс, начинающийся внешним стимулом и заканчивающийся сокращением мускула, стал проходить через сознание. Первые признаки страха замечаются у червей, первые признаки полового чувства—у насекомых. Но у холоднокровных животных эмоции слабы, эмоциональность связана с теплокровностью»¹.

Вы конечно уже сами вспомнили Шапова с его медленно текущей в жилах кровью северян как основой русского народного темперамента. В самом деле, это подлинная шаповщина, домарксистский исторический материализм. Что «изменение тонуса» может воздействовать на общественную природу человека лишь через общественные отношения—этого вопроса для Рожкова не существует. Во всем дальнейшем анализе² он считается, как и его источник—Сутерланд, исключительно с индивидуумом, а не с членом общества.

Мы приближаемся к социальному материку, на котором стоит Рожков. Присматриваясь к его взглядам, мы все более и более находим то, что роднит его с домарксистским историческим материализмом. Возьмите его деление на статику и динамику. Откуда оно взялось? Рожков взял его у Маркса или Энгельса,—для диалектика самое понятие «статики» есть нечто чуждое,—он взял его у позитивистов, типично мелкобуржуазной разновидности полуматериализма, предполагавших, что то или иное явление может пребывать «в покое» и что так конечно очень удобно его рассматривать. Для марксиста ничто никогда не остается «в покое»—такие уж мы беспокойные люди. Между тем Рожков «статику» явно любит больше, чем «динамику»: вся его периодизация, так восхищающая его немарксистских критиков, построена на сравнении статических характеристик, причем, нужно

¹ Там же, стр. 16.

² Там же, стр. 17—20.

сказать, тут уж и материализму—хотя бы домарксистскому—иной раз плохо приходится. Возьмите его основную периодизацию всей культурной истории.

«Девять основных периодов можно различить в истории каждого общества, каждой культуры. Периоды эти сле-

дующие»

1. Первобытное общество.
2. Общество дикарей.
3. Дофеодалное общество или общество варваров.
4. Феодальная революция.
5. Феодализм.
6. Дворянская революция.
7. Господство дворянства.
8. Буржуазная революция.
9. Капитализм».

Я очень извиняюсь, но мне эта периодизация напомнила издевку старого Льюиса над Аристотелем, будто бы делившим животный мир на «людей, четвероногих, лошадей, ослов и пони». Только 9-я рубрика построена на чисто экономическом признаке. 1-й и 2-й периоды охарактеризованы по признаку общекультурному; 3-й, 4-й, 5-й и 8-й—по признаку социальному, в основу положено строение общества, в 6-м и 7-м мы благополучно скатываемся к признаку юридическому. Дворянство—это юридическая категория, это известное сословие. Это не экономическая, не социальная категория.

Как видите, и в области статистики дело обстоит не совсем благополучно—может быть потому, что этой важнейшей для него области он не уделит достаточного внимания. Он сам это смутно сознает: «строго говоря, следовало бы предпослать социальной динамике социальную статистику»,—пишет он¹. Но уже то, что он признает возможным рассматривать «общественное явление» «в состоянии покоя» (там же), достаточно характеризует его основной дефект. Он не там, где его видит сам автор. «Это схематично, это чересчур схематично»—слышится ему упрек воображаемых критиков. Это не диалектично—имеют полное право сказать ему его действительные критики из марксистского лагеря.

Рожков ближе к Щапову, чем к Плеханову классической поры: от Плеханова-упадочника он далек, на этот раз к величайшей своей выгоде. И это последнее расхождение не случайно. Ни Плеханов дней своего заката, ни Рожков на

¹ Там же, стр. 14.

всем протяжении своей деятельности не являются идеологами рабочего класса: но они представляют идеологически разные общественные группы. Плеханов,—мы видели,—отражает интересы технической интеллигенции, так бурно нарождавшейся у нас в последние десятилетия XIX в. Она не прочь была от перемен—только не революционных. Она готова была принять марксизм и даже диалектику в качестве учения о вечном и постоянном изменении, но без борьбы классов. Рожков не прочь от революции, но революция для него не борьба непрерывно движущихся, переплетающихся между собою общественных сил. Революции для него—столкновения твердых, как дерево, кусков, фетишизированных общественных форм. Он как будто хочет заморозить явления, чтобы удобнее с ними оперировать, превратить их в куски, не связанные друг с другом, а не в части живого общественного процесса. В то же время он искренний социалист—я говорю только об общественной стороне. Какой общественной формации принадлежит такой социализм? Я только что слышал здесь, что Рожков пользуется особенным авторитетом среди учителей. Это великолепно гармонирует с его системой. Учитель—это тип дотехнической интеллигенции. С одной стороны, он, как мелкий буржуа, материалист, до известной степени революционер, поскольку он враждебен капитализму, но в то же время он не может примириться с тою диалектической точкою зрения, которую выставляют марксисты, потому что эта диалектика в применении к нему означает его упразднение. Никогда общественный класс не примирится с теорией, которая говорит ему: «ты умрешь», ни один класс, ни один человек с этим не примирится: это противоречило бы классовой природе. Поэтому дотехническая интеллигенция, не желающая помирать, склонна видеть явления в статическом состоянии, причем, как говорится в одной грамоте Смутного времени, думает: «может быть господь смилуется, и до нас не дойдет». Эта дотехническая интеллигенция составляет, по моему мнению, ту социальную базу, на которой стоит Рожков. Этим объясняется, во-первых, его подход к хозяйственным явлениям. В то время как марксисты и пролетариат в лице марксизма берут хозяйство со стороны организации его, для них важен тип хозяйства—пролетарского, мелкобуржуазного,—для мелкой буржуазии важен труд как таковой в своей непосредственной форме. Наиболее в этом отношении мелкобуржуазным типом является толстовщина, когда человек сажился на

землю, начинал тачать сапоги, не справляясь с тем, целесообразно ли это, садился на землю только потому, что «надо трудиться». С этой стороны чрезвычайно типично внимание Рожкова к внешним формам хозяйственной деятельности—ко всем этим земледелиям и скотоводствам,—иными словами, к труду в его индивидуальной, а не в его общественной форме. И недаром популярность Рожкова дала такой скачок кверху именно после Октябрьской революции. Едва ли нужно напоминать, что эта последняя, разрушив крупное капиталистическое хозяйство и не успев еще создать на его место социалистическое, в промежуточный период, в связи с закрытием рынка, междоусобицей и блокадой, невольно вызвала к жизни целый ряд форм угасшего со второй половины XXI в. мелкого производства. Что, особенно в промежуток 1919—1921 гг., мы нырнули в область натурально-хозяйственных отношений, это еще в свежей памяти у всех, и, повторяю, едва ли стоит об этом напоминать. «Трудовая интеллигенция» стала более трудовой, чем она была когда-либо на всем протяжении своего существования. Именно в этот период работы на огородах, колки дров и ношения на спине всевозможных пайков она приобщилась к физическому труду, как никогда раньше. И в лице фактически трудовика, а не марксиста, Рожкова она нашла историка, как нельзя более ей по сердцу.

Итак, поскольку речь идет о впавшей в натурально-хозяйственный рецидив интеллигенции, Рожкова можно считать хозяином сегодняшнего дня. Значит ли это, что плехановщина—хозяин «вчерашнего дня»? Нет, наоборот, плехановщина в значительной степени может возродиться завтра с возрождением нашей промышленности, нашей технической интеллигенции. Правда, теперь эта интеллигенция идет из рабфаков, через классовый прием—мы употребляем все меры к тому, чтобы она как можно меньше была похожа на свою предшественницу—интеллигенцию 90-х годов, но как марксист я не могу делать такого удара на происхождении интеллигенции. Рожков группирует декабристов по их происхождению—на аристократию, бюрократию и т. д. Происхождение, особенно от фабричного станка, очень важно, но все-таки оно не решает еще всего. Представьте себе такую картину: возрождается крупная промышленность, а с ней—техническая интеллигенция. Представьте себе все это в капиталистическом окружении—на фоне ожесточенной войны с Западной Европой:

тут есть определенная угроза ежеминутно впасть в плехановщину, возвратиться к оборончеству. Плеханов в своих исторических концепциях, в частности в понимании русской истории, не является учителем прошлого, он является, может быть, учителем будущего. Вот почему в настоящий момент не так важно бороться с рожковщиной, ибо она сама собою умирает, поскольку возрождается русская промышленность, она умирает, как умерли в 90-х годах народнические концепции русской истории—ее убивает стихийный исторический процесс, но этот же процесс может обусловить возрождение плехановщины. Вот почему ясное представление об ошибках Плеханова и его зависимости от буржуазной идеологии чрезвычайно важно запечатлеть в своем сознании, особенно вам, товарищи-зиновьевцы, потому что вы являетесь одной из тех групп, которые вырабатывают новую философию истории, вернее, одной из тех групп, через которые массовое движение вырабатывает свою историческую схему. Ибо оно, это массовое движение, при всей своей подвижности, представляет собою тот прочный грунт, на котором стоит диалектический материализм. Вот почему так быстро перестают быть историческими материалистами те, кто от этого движения отрываются.

КАК И КЕМ ПИСАЛАСЬ РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДО МАРКСИСТОВ¹

Читателям «Русской истории в самом сжатом очерке» захочется конечно пополнить свои знания чтением более обширных сочинений по русской истории. За парюю исключений им придется иметь дело с книжками, написанными буржуазными учеными. Никак не следует думать, что эта буржуазность выражается только в кое-каких искажениях, в умолчании кое о чем невыгодном для буржуазии и т. д.,—словом, в таких ухищрениях, которые очень легко раскрыть и к которым очень легко присмотреться. Нет, у буржуазии есть собственное историческое мирозерцание, которым проникнуты все сочинения по истории, написанные буржуазными учеными. Последние были глубоко убеждены в правильности этого мирозерцания и проводили его в своих сочинениях с полной искренностью, просто даже не понимая нередко, что можно смотреть на историю, можно объяснять исторический процесс иначе. Искренность и убежденность тона многих буржуазных историков может сбить с толку любого неподготовленного, начинающего читателя-марксиста, а иной раз даже и очень подготовленного,—ниже мы увидим, как например Плеханов незаметно для себя самого усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса.

Для правильного использования буржуазной литературы по русской истории уяснить себе основные черты буржуазного исторического мирозерцания очень поэтому важно.

Буржуазия командовала над рабочими при помощи аппарата, называемого государством. При посредстве государства она создавала пролетариат, обезземеливая кре-

¹ Покровский, «Русская история в самом сжатом очерке», ОГИЗ, «Московский рабочий» 1931 г. (стр. 255—273), 10-е издание, вновь просмотренное автором,

стьянство («великая реформа 1861 г.», столыпинский закон 9 ноября 1906 г. и т. п.). При посредстве государства же она заставляла пролетариат себе служить (законы против стачек, закон о найме на сельскохозяйственные работы и т. п.). Наконец, когда ей приходилось отстаивать свои барыши от покушений буржуазии других стран, тот же государственный аппарат сгонял рабочих в ряды войск, заставлял их во имя выгод «отечественных» эксплуататоров убивать пролетариев, мобилизованных эксплуататорами противной стороны.

Совершенно естественно, что создание государственного аппарата казалось буржуазии самой главной, основной частью исторического процесса—так сказать становым хребтом истории. Все буржуазные книжки по русской истории почти без исключения рассказывали историю государства. Немногие исключения отражали собою или точку зрения мелкой буржуазии, или точку зрения докапиталистического, феодального общества. И о той, и о другой мы скажем ниже несколько слов: для нас особенно интересны мелкобуржуазные русские историки, потому что никто ближе их не подошел к историческому материализму. Это, если хотите, наши ближайшие предки. Пока достаточно сказать, что ни мелкобуржуазная, ни феодальная точка зрения не получила права гражданства в русской университетской науке. Все русские профессора-историки с их курсами стоят на буржуазной точке зрения, а так как изучающему русскую историю прежде всего и чаще всего придется иметь дело с профессорскими курсами и диссертациями, то с этой точкой зрения необходимо познакомиться поближе и пообстоятельнее.

Историки, писавшие в XVIII и начале XIX столетий, были под влиянием тогдашних экономических условий—на них и их писаниях отразилась идеология, создавшаяся крепостным хозяйством. Крепостное право, как показывает самое название, это что-то очень крепкое, прочное, устойчивое. Барин-крепостник был убежден, что его крестьяне, «его люди» ему «крепки навек», «вечные подданные». Хозяйство свое этот барин вел по-старине, по примеру предков: если находились в крепостное время чудачки, заводившие машины и разные другие сельскохозяйственные усовершенствования, то их нововведения успеха обычно не имели и сами они оставались одишочками. А когда стремление поднять производительность труда в русском помещицком хо-

зьяйстве стало массовым явлением, помещикам пришлось ликвидировать крепостное право.

Итак это последнее должно было внушать людям мысль о крепости, неподвижности всего существующего. Крепостное хозяйство делало русского помещика консерватором («охранителем»). Величайший русский историк этого периода Карамзин был великим консерватором и в политике: когда Александр I вздумал было ввести в России цензую конституцию, Карамзин яростно против этого восстал; самодержавие в России, казалось ему, должно быть так же «крепко», как и помещичья власть. Он написал «Историю государства российского» в уверенности, что государство, подобно империи Александра I, существовало в России испокон веку, со времени Владимиров и Ярославов. Оно только по временам «приходило в упадок», делилось на части, подпало под татарское иго; причиной были недостатки тех или иных государей, князей, виноваты были плохие хозяева, но хозяйничали они, управляли государством всегда одним и тем же манером, как одним и тем же манером всегда хозяйничали крепостник-помещик и его предки. Разорившиеся любители новшеств были грозным предостережением и для других помещиков, и для их государя.

История государства превращалась таким образом у Карамзина в историю государей,—государство собственно еще не имело истории. От этого сочинение Карамзина потеряло теперь всякое значение даже для буржуазных историков. Сохранили цену только его примечания, где Карамзин собрал фактический материал для своего времени, т. е. для первой четверти XIX столетия, когда писалась его «история»,—огромный и не вовсе утративший значение даже и теперь. Но определяющее влияние на новейшую русскую историческую литературу сохранили только писатели, стоявшие на почве уже промышленного капитализма.

Промышленный капитализм, с его быстрым на виду у всех ростом крупного машинного производства, с его кризисами и т. п. должен был, наоборот, внушать человеку мысль об изменчивости всего существующего. Утвердившаяся в начале промышленно-капиталистического периода Европы философия Гегеля исходила из понятия, что все течет, все непрерывно изменяется. Это было огромным шагом вперед—шагом, подготавливающим исторический материализм. Но буржуазные писатели применили это понятие прежде всего к своему богу—государству, для самого Гегеля государство было именно чем-то божественным. К

хозяйству, это понятие непрерывного изменения, развития было применено ими лишь гораздо позже, под прямым или косвенным влиянием марксизма. На первых порах все буржуазное хозяйство в целом казалось буржуазному историку таким же «вечным» и «крепким», как историку крепостной эпохи государство.

Вопрос, не вставший перед Карамзиным, как возникла и развивалась государственная власть в России, был таким образом поставлен у нас под влиянием гегелевской философии. Ответ на это был дан в духе гегелевской социологии, т. е. общего учения Гегеля о развитии человеческого общества. А это развитие рисовалось Гегелю в таком виде: древнейшей формой объединения людей была семья, древнейшей властью была власть отца, патриарха, старшего в роде. Человеческая личность тогда совершенно поглощалась семьей, вне семьи человек не имел никакого значения. Когда русским историкам впоследствии приходилось объяснять своим читателям эти первобытные порядки, им достаточно было указать на то, что все обозначения, какие люди дают друг другу в крестьянском быту, взяты из семейного словаря: обращаясь к равным, крестьянин говорит «братцы», к старшему—«дядя» или «тетка», к совсем старому—«дедушка», «бабушка». Или припомнить, что к имени у нас всегда присоединяется отчество—человека зовут по отцу, т. е. по семье. Принадлежность к семье определяет положение человека в обществе.

Но мало-помалу семья начинает разлагаться (какие были экономические условия этого разложения—этим вопросом не задавались). Личность выделяется из семьи. Мир семей превращается в хаос отдельных личностей, борющихся или соединяющихся друг с другом во имя своих личных интересов. «Родовой быт» переходит в «гражданское общество». Типом такого гражданского общества историкам-гегельянцам (последователям Гегеля) представлялось общество феодальное, где, казалось им, каждый отдельный помещик, «рыцарь», «дворянин», действует на свой страх и риск, вступая от себя лично в те или другие отношения с другими такими же помещиками. Того, что под этой «отдельной личностью» стоит коллектив, сельская община, буржуазный историк не замечал, а когда из феодального лагеря ему указали на этот факт, он стал от него отпихиваться, уверяя, что общины никакой сначала не было, что ее создала «личность»—помещик или помещицье государство. Это обстоятельство—очень выразительный пример того, как об-

щее миросозерцание историка отражается на его взглядах по отдельным вопросам и как, изучая даже какую-нибудь подробность исторического процесса по той или другой книжке, необходимо знать общие взгляды автора этой книжки.

Но мало-помалу «феодалный хаос» стал невыносимым для самих феодалов. Мир «отдельных личностей» начинает складываться, смыкаться в новое целое, но уже совершенно не похожее на семью—образуется централизованное государство.

Это третий и, для Гегеля, последний период развития. Государственная власть организует хаос «гражданского общества», делит последнее на сословия, прикрепляя каждого к определенному занятию и т. д. Из хаоса возникает дисциплинированное целое, где личность теряет свою свободу как личность, приобретая её вновь как часть государственного коллектива. Из этого следовало, что конечной целью развития государства должна быть буржуазная демократия, потому что в самодержавной монархии личность не только власти, но даже прав не имеет. Но до этого логического вывода из всей теории не смел договариваться даже Гегель, не говоря об его русских подражателях. Что «государственный порядок» буржуазии покрывает собой настоящий хаос капиталистической конкуренции, что этот «порядок» стал попросту диктатурой буржуазного меньшинства над массой крестьян и рабочих, этого тоже «не замечали», как не замечали сельской общины под покровом феодализма. Буржуазия видела в истории только то, что ей было выгодно видеть, на свои отрицательные стороны она не желала обращать внимания.

Первым, кто применил новую точку зрения к русской истории, был не русский, а немецкий профессор, один из тех ученых немцев, которые уже с XVIII в. занимались изучением русского прошлого. Их целый ряд—Байер, Миллер, Шлецер, Рейц, Эверс; последний и выпустил в 1826 г. книжку под заглавием «Древнейшее право руссов», где доказывал, что древнее русское право всегда легче понять, если мы примем, что русские жили тогда (в X—XI вв.), в «родовом быте», что все отношения у них строились по типу с е м ь и,—одним словом, что русские находились тогда в первом периоде развития по гегелевской схеме. Любопытно, что наши буржуазные историки не очень любят вспоминать Эверса, хотя книжку его всякий из них конечно знает; но они предпочитают начинать с русских имен Соловьева и Кавелина,

хотя несомненно, что эти ученые были, по существу дела, учениками Эверса. Буржуазному ученому как-то неловко признаваться, что он учился своей истории у иностранцев, из книжки, писанной на чужом языке. Примеры такого буржуазного национализма мы уже видели; когда пользуешься буржуазной исторической литературой, нужно принимать во внимание и эту слабость почтенных буржуа.

Популярность среди русской учащейся молодежи «теория родового быта» получила конечно от двух названных русских ученых, книжку Эверса знали и читали только специалисты. С. М. Соловьев (1820—1879) был для этого периода тем же, чем Карамзин был для предшествующего. Он написал «Историю России с древнейших времен» в 29 томах, доведя свое изложение до царствования Екатерины II (Карамзин остановился на Смутном времени). Фактический материал, собранный в этом труде, особенно в последних его томах, еще ценнее, чем примечания к истории Карамзина: Соловьев здесь использовал множество архивных документов, отчасти не опубликованных до сих пор. Соловьев был профессором Московского университета (Карамзин профессором не был—он был богатый помещик и управлял своими имениями) и создал целую школу последователей, самым замечательным из которых был В. О. Ключевский (о нем мы еще будем говорить ниже). Это был таким образом самый влиятельный русский историк второй половины XIX столетия.

Что касается изложения «История России», то последние самые ценные томы представляют собою просто пересказ архивных материалов. Основная идея Соловьева развивается в первых томах до царствования Петра I включительно. Нет необходимости говорить, что для Соловьева русская история распадается на «царствования». Его основная идея—переход России от «родового быта» к «государственному», промежуточный период «гражданского общества» у него ступшевывается. Древние русские князья владели, по Соловьеву, русской землей всем родом: княжескому престолонаследию, с этой точки зрения, Соловьев посвятил особое исследование, доказывая в нем, что все переходы княжеских «столов» от одного князя к другому объясняются родовыми обычаями. А при московских царях стало развиваться «государственное начало», воплощением его был и Иван Грозный, борьба которого с боярством была борьбой государства с остатками родового быта, а в особенности Петр Великий. Петру Соловьев посвятил целый ряд томов своей исто-

рии, рисуя этого царя со всех сторон как олицетворение внеклассовой государственности.

О том, что развитие этой государственности определялось развитием хозяйства, нет и помину. Любопытно, что в отдельных случаях Соловьев обнаруживал правильное понимание влияния экономических условий: он например первый указал, какое значение имела Москва как торговый пункт для возвышения Московского княжества. Но предвзятая мысль, будто историческое развитие есть развитие правовых понятий, развитие законов, а не реальных вещей, которым эти законы служили только отражением,—эта предвзятая мысль мешала Соловьеву видеть действительную историю. Взгляды Соловьева были взглядами историка-идеалиста, который смотрит на исторический процесс сверху, со стороны командующих классов, а не снизу, от классов угнетенных.

Но мы видели, что и самые понятия класса, классовой борьбы чужды Соловьеву. Буржуазии невыгодно напоминать, что у нее свои интересы, отличные от интересов народной массы: напоминание об этой борьбе всего больше дразнит буржуазию. Когда появились историки-марксисты, буржуазные профессора яростнее всего напали не на их материализм, а на их утверждение, что классовая борьба есть главный двигатель исторического процесса. В доме повешенного не говорят о веревке, тем более буржуазия не любила, чтобы при ней говорили о веревке, на которой ее буржуазию, повесят.

И совершенно естественно, что та же буржуазия очень любила подчеркивать то, что ей казалось выражением классовой солидарности. А ей казалось, что эта солидарность различных классов проявляется в борьбе с внешним врагом. Для этой борьбы будто бы объединяются все классы. Это пожалуй и правда, что помещик живет трудами крестьян: зато, когда придет татарин, тот же помещик выступит в поход и будет грудью защищать того же крестьянина. Что помещик защищал не столько крестьянина, сколько свое право эксплуатировать этого крестьянина (а с крестьянином, восставшим против эксплуатации, с самим обращались как с татаринном), что и защита-то велась крестьянскими же руками, а помещики играли роль командиров,—всего этого буржуазия опять-таки старалась не видеть.

И вот разворачивается грандиозная картина, как «борьба со степью» создала, выковала русское государство. Степня-

ки, как хищные звери, нападали на Русь; чтобы спастись от этих набегов, все государство было построено по-военному: половина, служилые люди (помещики) должны были жить в постоянной готовности для боя; другая половина, тяглые люди (купцы, ремесленники и крестьяне) должны были содержать первую. Все были прикреплены к своему занятию: помещик не смел отказаться от службы, а его крестьянин—от барщины, оброка и податей. Так государство во имя общего интереса закрепило себе общество; только когда борьба со степью кончилась победой русского государства, началось раскрепощение: сначала в XVIII в. была снята повинность с дворян, потом в XIX пало крепостное право и для крестьянства.

Эта схема русской истории господствует в буржуазной литературе до сих пор—во всех курсах, до Милюкова, Любавского, Кизеветтера и т. д., вы найдете все те же «закрепощение» и «раскрепощение». Иначе, как от этой печки, танцевать буржуазные профессора не умеют. Сложилась эта схема главным образом в школе Соловьева,—сам он так отчетливо не ставил еще вопроса, какие же внешние, объективные причины двигали вперед развитие «государственности». Переход к этой схеме, сделанный главным образом петербургским профессором государственного права Градовским (1841—1889) и московским историком Ключевским (1841—1911), а раньше их крупнейшим русским гегельянцем Чичериным (1828—1904), был таким образом крупной, хотя и совершенно бессознательной, уступкой историческому материализму. Этот шаг навстречу марксизму до того соблазнил покойного Г. В. Плеханова, что тот во введении к своей «Истории русской общественной мысли» почти целиком присоединился к схеме Чичерина—Градовского—Ключевского. Эта соблазнительность полууступки и заставляет присмотреться к ней особенно внимательно.

В этой грандиозной картине имеется один недостаток: она совершенно не соответствует исторической действительности. Наибольшее напряжение борьбы со степью приходится на XI—XIII вв., когда в конце концов Русь и была завоевана степняками-татарами, но как раз тогда не образовалось единого государства, князья постоянно дрались друг с другом, и никакого закрепощения не было, помещики свободно переходили от одного князя к другому, а крестьяне от одного помещика к другому. А в XVI—XVII вв., когда возникло и Московское государство и крепостное право, татары уже настолько ослабели, что и мечтать не могли о завоева-

нии Руси, а могли только ее грабить. И хотя быть ограбленным дело конечно неприятное, но кто же поверит, чтобы целая страна сама себя укрепостила исключительно для борьбы с грабителями? Будто не было никаких других средств с ними справиться?

Присматриваясь к господствующей в буржуазной литературе схеме русской истории еще ближе, мы видим, что, даже если принять за основную пружину всего процесса борьбу с татарами, концы с концами не сойдутся. Дело в том, что «закрепощение» дворянства—если называть таким именем обязательную военную службу, лежавшую в феодальном мире на всех «вассалах», не только в России, но и во Франции, в Англии и т. д.—падает на XV—XVI вв., а закрепощение (уже настоящее, без обиняков) крестьянства—на XVII—XVIII. Если в первом из этих двух периодов татары были еще довольно грозной силой, хотя чаще и успешнее русские на них наступали (завоевание Казани и Астрахани при Грозном), чем они на Русь, то во втором периоде нельзя отметить ни одного сколько-нибудь крупного татарского набега. Войны, которые велись в это время с Польшей или Швецией, были во сто раз серьезнее. При чем же тут «борьба со степью»?

Наконец, если мы вспомним, что всего ближе к степи сидели как раз наиболее свободные поселения Московского государства, сидели казачьи станицы, где не было крепостного права и откуда волны демократической революции докатывались иногда до самой Москвы, а военная служба дворянства и крепостное хозяйство двигались с северо-запада, из Новгородской земли (где еще в XV в. была расквартирована целая армия московских помещиков и где тогда же намечались первые примеры крестьянской крепости), т. е. из того угла России, который всего дальше от степи,—мы поймем всю искусственность «общепринятой» схемы.

Немудрено, что эта последняя начала разлагаться уже в руках самого талантливого ее распространителя—Ключевского. Продолжая на своих лекциях придерживаться теории «закрепощения» и «раскрепощения», в своих исследованиях происхождения крепостного права Ключевский доказывал, что крепостное право вовсе не было установлено сверху, государством, а возникло из ежедневной, будничной борьбы между собою крестьянина и помещика в течение многих десятилетий.

Зачем же, спрашивается, нужно было целым поколениям буржуазных историков придерживаться теории, которая бы-

ла в полном разладе с фактами и развалилась, как карточный домик, при первой попытке серьезно исследовать эти факты? Потому, что им нужно было доказать, что государство в России не было созданием господствующих классов и орудием угнетения всей остальной народной массы, а представляло собою общие интересы всего народа, без различия классов. В основе «научной» теории лежала таким образом практическая потребность буржуазии. Университетская наука была для этой последней одним из способов господства над массами.

Вполне естественно, что ученые, не стоявшие на точке зрения крупной буржуазии, пытались совершенно по-иному объяснить ход русского исторического развития. Для одних из этих ученых государство было чуждой, враждебной силой, «насевшей» на русский народ, настоящей, исконной формой объединения которого было не государство, а сельская община. Эту теорию развивали главным образом в 40—50 годах так называемые славянофилы. Возникновение славянофильского учения объясняется той экономической обстановкой, в которой находилось помещичье хозяйство в первую половину царствования Николая I. Тогда на хлебном рынке был кризис, хлебные цены падали очень низко, аграрный, сельскохозяйственный капитализм не развивался, помещики более чем когда-либо были консерваторами. Правительство же покровительствовало промышленному капиталу. Дворянин был зол на правительство и искал утешения в далеком прошлом, когда никаким промышленным капиталом и не пахло. В этом далеком прошлом наиболее интеллигентные из таких помещиков и нашли—опять-таки не без помощи ученого немца Гакстгаузена—залог светлого будущего России, общину. Какие это надежды у них возбуждало, мы уже видели. Здесь для нас интересно их отношение к только что возникавшей тогда «государственной» теории. Славянофилы оказались очень зоркими по отношению к слабым сторонам этой последней. Они извлекли из тьмы прошлого на свет ряд явлений, которые «государственному» объяснению никак не поддавались,—начиная с самой общины и продолжая так называемыми «земскими соборами» в XVI—XVII вв. (собрания представителей от помещиков и городской буржуазии; первое было в 1566 г., последнее в 1682 г.), местным самоуправлением тех же времен и т. д. Чтобы объяснить такие явления, «государственникам» приходилось пускать в ход самые невероятные предположения—изображать например земский собор как особую фор-

му круговой поруки (Чичерин, а за ним Ключевский). Но тут они натыкались на целый ряд параллельных явлений западноевропейской истории, где, ясно, дело шло совсем не о круговой поруке.

На их счастье как раз параллели с Западом и были самой слабой стороной «славянофилов»: те утверждали, что русский исторический процесс ни на что не похож—совсем своеобразный. С этим у них выпадали из рук самые сильные доводы против «западников»—как назывались тогда сторонники «государственной» теории, ибо «западников» можно было бить всего чувствительнее именно примерами из западноевропейской истории (между прочим древность общинного землевладения в западноевропейской истории никогда не подвергалась серьезному спору). Естественно, что вся молодежь с здоровыми научными и общественными вкусами тяготела к противникам славянофилов: от последних для этой молодежи всегда припахивало реакцией.

Спор решили в конце концов не доводы той или другой стороны,—решила его сама история. Прошел кризис хлебных цен, стало у нас вновь развиваться сельскохозяйственное предпринимательство, и помещики перестали быть консерваторами, объединившись на одной платформе: ликвидации барщины и создания батрацкого хозяйства (это, как мы знаем, называлось «освобождением крестьян»). В реформе 1861 г. «западники» и «славянофилы» работали рука об руку, а десять-пятнадцать лет спустя эпигоны (последыши) славянофильства стали такими защитниками «государственности», что куда до них было Соловьеву и Чичерину.

Наиболее самостоятельными славянофильскими историками были Константин Аксаков (1817—1860) и Юлия Самарин (1819—1876), оба помещики. В университетах, как мы уже сказали, славянофилы почти не нашли последователей; одним из исключений был профессор Московского университета Беляев; его «Курс истории русского права» может и теперь попасться под руку читателю, а лет 25 назад по нем учились. Таких блестящих представителей, какими для «западнической» теории были Чичерин, Граловский и Ключевский, у славянофилов никогда не было. Зато хоть одного, но очень крупного представителя выдвинуло явившееся на смену славянофильству в качестве противника «государственников» мелкобуржуазное течение. Этим представителем был А. П. Щапов (1830—1876).

Щапов только очень короткое время, в молодости, был на университетской кафедре (в Казани): первое же его пуб-

личное выступление стоило ему этой кафедры и возможности когда бы то ни было занимать какую бы то ни было кафедру,—стоило всей его карьеры как ученого. Очень уж он тогда откровенно высказался о той манере, с какой «царь-освободитель» благодетельствовал своим верным крестьянам. Короткое время продержавшись затем на полудегальном положении «неблагонадежного» журналиста, он быстро попал туда, куда попадали при царях все подобные люди—в ссылку, в Сибирь, и там написал большую часть крупнейших своих работ. Написал по случайно нашедшимся у него под руками книжкам, да по тем выпискам, какие сохранились у него от тех времен, когда он мог работать в архивах и библиотеках. Если славянофилы мало имели успеха в университетах, то Шапов для последних можно сказать совсем не существовал. Ни в одном университетском курсе до «Очерков по истории русской культуры» Милюкова вы не найдете ссылок на Шапова. Милюков был первым, решившимся его процитировать. И понадобилась первая русская революция 1905—1907 гг., чтобы Шапов дождался до полного собрания сочинений, дождался только как ученый, разумеется, физически он умер за 30 лет до этой революции.

Писания Шапова с научной точки зрения очень устарели—гораздо больше, чем писания Ключевского например. И тем не менее каким свежим воздухом веет на вас, когда вы возьмете том шаповского «полного собрания»! Шапов—последовательный и убежденный материалист. Не в духе Маркса и Энгельса,—как все наши «шестидесятники» (люди 60-х годов XIX в.) этих авторов он почти или совсем не знал (их почти не знал и во много раз более образованный Чернышевский). Его материализм сродни скорее материализму французских «энциклопедистов» XVIII в. Основная мысль Шапова, это—что человек есть часть природы, неразрывно связанная с окружающей материальной средой. Никакого таинственного влияния сил, создавших «родовой быт», «гражданское общество», «государство», мы у него не найдем: историю создают материальные потребности человека. И Шапов рассказывает подробно и обстоятельно, как погоня за пушным зверем привела русского охотника, шаг за шагом, к завоеванию всей Сибири, как климат положил границы русскому земледелию и тем очертил район древнейших поселений русского племени. Вместо князей и царей с их войнами вы находите таблицы средних температур—средней теплоты лета,

среднего холода зимы, расчеты количества калорий (тепловых единиц), какое нужно, чтобы вызрел ячмень или чтобы могла расти картошка. Все это тоже, разумеется, устарело за пятьдесят лет; теперь есть более точные и свежие исследования по этой части—плагаться на данные Шапова теперь уже нельзя. Но на какую новую и несравненно более торную дорогу вывел бы русскую историческую науку этот человек, если бы он занимал кафедру в Москве или в Петербурге, вместо того, чтобы гнить в сибирской тайге!

И материализм Шапова, как мы уже сказали, довольно старомодный—он еще не вполне уяснил себе, что природа действует на историю человека только через хозяйство. И ему кажется например, что характер русского народа, его психологический склад (который он изображает довольно верно, забывая только прибавить, что это—характер, собственно, не «народа», а мелкобуржуазной интеллигенции, к которой принадлежал и сам Шапов, сын сельского дьячка) можно прямо и непосредственно вывести из климата. В этом коренное различие между Шаповым и марксистами: для последних общественное бытие определяет сознание человека, для Шапова—просто бытие. И тем не менее родство между ним и нами так велико, что в отдельных своих мыслях он прямо поднимается до положения предшественника исторического материализма. Так, сравнивая существовавшие в его время основные течения русской исторической литературы, Шапов говорит:

«Все юридические теории без теории строго реальной и экономической почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общество прямо к главной его цели—экономическому и умственному развитию и совершенствованию». И, разобрав знакомую нам государственную теорию, Шапов решительно предпочитает ей «экономическую», как называет он учение Чернышевского. В подкрепление последнему он приводит слова знаменитого в те времена немецкого химика Либиха, который, как многие естествоиспытатели, в силу своей профессии был свободнее от идеалистических предрассудков, нежели люди, занимавшиеся общественными науками. «Государственное устройство,—говорил Либих,—социальные и семейные связи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обусловливается фактом, что для поддержания своего существования человек нуждается ежедневно в пи-

ще, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратнo иметь влияние на события человеческой жизни».

Сколько нужно было употребить усилий, чтобы такие простые и ясные вещи сделать спорными! Но не следует думать, что борьба доставалась разным «государственным теориям» только силою словесного звона. Полезно припомнить, что Шапов писал эту цитируемую нами статью уже в Сибири, где основатель «экономической теории», Чернышевский, гнил в это время на каторге, тогда как глава «государственной теории», Соловьев, читал лекции наследнику царского престола. Старая власть умела поощрять тех, чьи теории были ей приятны и полезны, и железною рукою сдавить горло тем, кто осмеливался говорить ей «неприятности».

Из других, кроме Шапова, представителей мелкобуржуазного течения в русской исторической литературе придется упомянуть только о Н. И. Костомарове (1817—1885). Гораздо более известный интеллигентской публике, чем Шапов, Костомаров обязан этим отчасти своему крупному литературному таланту, отчасти именно тому, что у него не было таких острых углов, не было такой неумолимой материалистической последовательности, как у Шапова. Не даром и жизнь его прошла иначе. Испытав в молодости—при Николае I—ссылку (не тяжелую), Костомаров позже был профессором Петербургского университета и, хотя не удержался на кафедре, остался все же в рядах писателей вполне легальных, уважаемых даже и буржуазным читателем,—он писал в таких «почтенных» органах, как «Вестник Европы» и т. п. Главная его заслуга—внимание к народным массам, совсем скрывавшимся в тени величественной «государственности» у более академических историков. Благодаря этому, с жизнью вечевых республик древней Руси, со Смутным временем, восстанием Разина и т. п. русская молодежь знакомилась главным образом по писаниям Костомарова. И по ним же, и тут уже исключительно, знакомилась она с историей Украины, которую «государственники» не умели вместить в свою схему русской истории. Научная цена всех этих писаний невелика, общие исторические взгляды Косто-

марова отмечены тем же расплывчатым идеализмом, как вообще все миросозерцание интеллигенции, для которой он одно время был едва ли не самым любимым историком. Но написаны они хорошо, читаются легко, основаны на большом фактическом материале, недоступном рядовому читателю, не-историку,—оттого книги, особенно по истории Новгорода и Пскова («Севернорусские народоправства») и Украины, могут быть полезны до сих пор.

«Западниками», «славянофилами» и мелкобуржуазными народниками типа Щапова или Костомарова исчерпывается все, что было оригинального в русской исторической литературе до марксистов. Крупнейший из ближайшего к нам поколения историков—Ключевский—ученик Соловьева, в общем верный «государственной» теории, с теми поправками (или непоследовательностями), о которых мы уже упоминали. А историки следующего поколения—Милюков, Платонов, Любавский, Мякотин, Кизеветтер—принадлежат с большими или меньшими отступлениями к школе Ключевского. Отступления у первых двух—самых крупных—сводятся: у Милюкова, как мы уже упоминали, к легкому (и быстро исчезающему) привкусу щаповского, домарксистского материализма, у Платонова—к некоторому налету уже почти марксистскому (интерес к социальным отношениям, некоторое, хотя не весьма глубокое, понимание классовой борьбы и т. п.)¹. Для нас все их книги являются главным образом собранием материала, у Платонова например очень ценного.

Таким же ценным собранием материала, не более, являются работы и последнего крупного историка народнического направления В. И. Семевского (1848—1915).

Их исключительная ценность состоит в том, что Семевский с особенной любовью занимался вопросами, бойкотированными казенными историками (сам он, не стоит и прибавлять, удержался на университетской кафедре очень недолго). Лучшие книги Семевского посвящены революционному движению—декабристам, петрашевцам, а его большая, очень важная и до сих пор, работа о русском крестьянстве при Екатерине II была собственно обширным введением к истории пугачевского бунта, которую Семевскому так и не удалось написать. Без этих книг—как справочников и первого пособия, чтобы разобраться в материале—не обой-

¹ В последних своих писаниях (после Октябрьской революции) Платонов тщательно старается счистить с себя этот налет.

дется пока не только ни один марксист-читатель, но и ни один марксист-историк.

Но это только справочники. Читать их тяжело, ибо Семевский далеко не обладал литературным дарованием Костомарова. Общее же его миросозерцание гораздо элементарнее, чем даже у последнего. Семевский в сущности все исторические движения делил на симпатичные и антипатичные: ни тени понимания классовой подкладки этих движений у него нет, и он очень даже обиделся, когда историки-марксисты приурочили например декабристов к определенному классу. Вера во внеклассовый характер русского «освободительного движения»—один из основных догматов Семевского, теоретическое значение его трудов можно оценить по одному этому. Но его искренний, хотя и очень элементарный, упрощенный демократизм выгодно отличает его от буржуазных подделывателей истории. Семевский многого не понимал, но что он понимал, он передавал верно и добросовестно, чего никак нельзя сказать о новейших представителях буржуазной исторической литературы, охотно проходивших мимо и исторических движений, и исторических книжек, если те или другие били в лицо буржуазии. Семевский например, будучи определенным антимарксистом, никогда не замалчивал марксистской литературы, чем усиленно занимались кадетские историки, особенно в последнее десятилетие перед революцией.

На этом мы останавливаем наш очерк развития русской исторической литературы до марксистов. Затем следовало бы сказать несколько слов об этих последних: исторический материализм в России уже имеет свою историю. Но это удобнее сделать, когда читатель получит представление о нашем «легальном марксизме» 1890-х годов—другими словами целесообразнее присоединить обзор марксистской исторической литературы в России к 3-й части настоящей «Русской истории в сжатом очерке».

Прилагаем список важнейших сочинений по русской истории, о которых упоминалось выше.

Бадамзин—«История государства российского»—лучшее издание Эйнерлинга 1843 г., в трех больших томах, со всеми примечаниями.

Соловьев—«История России с древнейших времен»—лучшее издание «Общественной пользы» 1890-х годов (было повторено) в 6 томах в 2 столбца. Также «Общественной пользой» издано и «Собрание сочинений» Соловьева, где собрано главнейшее, написанное им, кроме «Истории Рос-

сии» (к сожалению, не все—нет главнейшей его научной работы «История отношений между князьями Рюрикава дома», где теория Соловьева изложена гораздо отчетливее, нежели в «Истории»).

Чичерин—важнее всего из очень многого, написанного этим автором, для русской истории «Опыты по истории русского права», М. 1861.

Градовский—«История местного управления в России», часть I. «Уезд Московского государства»; особенно важно введение. Перепечатано в «Собрании сочинений» Градовского.

Ключевский—«Боярская дума древней Руси», «Исследования и статьи» и «Курс русской истории», перепечатаны нашим Государственным издательством.

Щаповский—«Полное собрание сочинений» в 3 томах, изд. Пирожкова, Петербург 1906—1907. Важнейшие статьи: «Естествознание и народная экономия» и «Историко-географические условия расселения русского племени»—во II томе.

Костомаров—«Севернорусские народоправства в эпоху удельно-вечевого уклада», «Смутное время Московского государства», «Богдан Хмельницкий», «Разин» и другие работы по истории Украины, «Бунт Стеньки Разина» и т. д.,—все перепечатано в «Монографиях и исследованиях».

Семевский—«Политические и общественные идеи декабристов», Спб. 1909; «Крестьяне при Екатерине II», 2 тома, новое издание, 1901—1903; «Петрашевцы»—ряд статей в журнале «Голос минувшего» 1913—1915 (и отдельно небольшая брошюра, 1905).

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ СТАТЕЙ «РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КЛАССОВОМ ОСВЕЩЕНИИ», т. I¹

У нас давно привыкли к тому, что некоторые общественные науки—политическая экономия, юриспруденция—представляют собою не что иное, как приведенное в систему отражение классовых интересов и классовой борьбы. Что так называемая «вульгарная политическая экономия» есть не что иное, как очень грубая попытка «научно» (по существу псевдо-научно) обосновать интересы класса предпринимателей, что «австрийская школа» есть «политическая экономия рантье», что римское право есть юридическая формулировка нравов и обычаев отчасти «простого товарного хозяйства», отчасти торгового капитализма,—это все знают и об этом не спорят. Словом, что науки абстрактные и научные абстракции отражают собою классовые интересы, к этому более или менее привыкли. Но когда на сцену выступает наука конкретная (такова история), четкость понимания тотчас же теряется. Кто из нас на вопрос «как мне познакомиться с политической экономией?» ответит: «да читайте Бем-Баверка!» И кто на вопрос: «как мне познакомиться с русской историей?» не ответит: «да читайте Ключевского!». Что «Ключевский» есть такой же сгусток классовой идеологии, как и «Бем-Баверк», только иначе, на ином материале, изложенной, это у нас усвоили еще далеко не все,—я едва ли ошибусь, сказав: это усвоили пока очень немногие. Большинству кажется, что история—это все равно история. Ну, конечно факты немножко

¹ Труды Института красной профессуры—«Русская историческая литература в классовом освещении» (Сборник статей, под редакцией М. Н. Покровского), т. I, стр. 5—18, изд. Комакадемии, М. 1927.

иначе «освящены»; но ведь это ф а к т ы—все равно, кто бы их ни обрабатывал, они останутся фактами.

Но ведь в основе и у Бем-Баверка, и у Brentano лежат тоже факты—факты повседневной экономической действительности—ведь не роман же все они писали? И поскольку это факты непосредственно наблюдаемые, это более фактические факты, если можно так выразиться, чем все, что мы находим в исторических книжках. Ибо факты, которые мы находим у того или другого историка, по крайней мере, на 75% суть комбинация некоторого сырого материала, который был в руках у этого историка. Излагать непосредственно этот сырой материал совершенно невозможно: получилась бы абсолютно нечитаемая книжка. Получился бы хаос мелочей, в которых ничего нельзя было бы понять, нельзя было бы даже просто представить себе, как дело внешним образом происходило, ибо каждый «свидетель» излагает его по-своему. Даже описание чисто внешних «событий» у двух историков редко сходится. Пытался Наполеон под Бородином обойти русский левый фланг или нет? По одним историкам—да, по другим—вовсе не пытался и вел всю атаку в лоб, на центр. А уж, казалось бы, чего проще это-то установить: все архивы целы и современных описаний масса. Когда же «факты» приходится восстанавливать по двум-трем срокам летописи (написанным иногда через сто лет после события) или на основании одного, неясно притом изложенного документа,—простор для «творческой фантазии» историка полнейший. О том, кто были первые русские князья и откуда они явились, спорили без прочных результатов до тех пор, пока исчезновение со сцены последних князей не лишило вопрос всякого практического интереса.

Этот практический интерес и является в истории в конечном счете решающим. История, вопреки своей обманчивой конкретности, не более, а менее точная наука, нежели политическая экономия или даже юриспруденция. Научную историографию можно построить, как и научную историю, только на классовом принципе. Только классовый подход поможет нам расшифровать бесчисленные исторические контroversы, найти ключ к бесконечным, тянувшимся иногда веками историческим спорам, показав нам эти споры как столкновения различных классовых точек зрения.

Между тем история как раз теперь начинает вновь играть крупную роль в нашем общем образовании. Восемь-де-

вать лет тому назад история была почти совершенно изгнана из нашей школы,—явление, свойственное не одной нашей революции. Детей и подростков занимали исключительно «современностью», которую притом—по крайней мере в теории—они должны были изучать сами, непосредственно, лишь под руководством учителя. Не говоря уже о том, что теорию удалось провести в жизнь лишь в минимальнейшей дозе (главным образом вследствие отсутствия как пособий, так и подготовленных преподавателей), результаты получились такие, что сейчас мы имеем жесточайший перегиб палки в другую сторону, жесточайшую историческую реакцию. Наши «обществоведы» готовы изучать, что угодно, до Рюрика и Ромула с Ремом включительно, лишь бы это была «история». С этой реакцией нужно конечно бороться всеми силами. Центр тяжести в нашем общем образовании должен ставиться, само собою разумеется, на марксистском обществоведении, изучаемом активно, то есть отнюдь не только по книжке, но в тесной связи с участием детей в общественно-полезной работе и в связи с теми формами общественности, которые детям доступны и имеются в самом детском быту. Но что отныне в наше общее образование должен, в отличие от того, что мы имели еще недавно, входить крупный запас чисто исторических знаний, это тоже не подлежит сомнению. Как увязать эти исторические знания с обществоведением, это дело педагогов-марксистов. Но дать новый, потребный советской школе, руководимой коммунистами, исторический материал, это дело наше, историков-марксистов.

Подготавливая этот материал, мы конечно не сможем не обращаться к буржуазной исторической литературе; не сможет обойтись без нее и будущий преподаватель-обществовед нашей школы. Написать заново «всю историю», во-первых, невозможно, ибо за последние годы выросли новые, крупнейшие отделы истории, отчасти недоступные еще вчера исследователям (для русской истории к этой категории относится почти все XIX столетие и почти вся история наших народных революций XVII—XVIII вв.), отчасти вчера просто еще не существовавшие как история (обе наши новейшие революции, 1905 и 1917 гг.),—мы должны их в первую очередь разрабатывать. А во-вторых, это и не нужно, ибо материал, собранный буржуазными историками, как материал, в тесном смысле этого слова, может быть использован и нами, под условием его «расшифровки», то есть снятия той идеологической оболочки, ко-

торую он был окутан у наших предшественников. Фетишизировать римское право, как «писанный разум», мы не обязаны, подобно буржуазным юристам, но говорить и о римском праве в истории институтов права приходится каждому марксисту, и тут подготовительные работы буржуазных романистов являются конечно главной нашей опорой. То же самое и с историей. Повторять концепции Чичерина, Соловьева или Ключевского мы не станем, но поскольку у них подработан целый ряд конкретных вопросов: откуда взялся тот или другой документ, подлинный или неподлинный, когда возник, в какой среде и т. д.,—нам нет необходимости повторять эту работу. Но мы должны относиться к ней сознательно, т. е. критически, а для этого нам опять-таки нужно расшифровать того историка, у которого мы берем материал.

Но этого мало. Несомненно, что «классиков» нашей исторической литературы—Соловьева, Костомарова, Ключевского—будут еще долго читать и в школе и вне школы. Старик Макиавелли—один из предшественников исторического материализма—правильно говорил, что история тогда лишь интересна, когда она подробна. Короткие изложения марксистских курсов с этой стороны никогда не удовлетворяют читателя, а повторить работу Соловьева—какой же марксист за это возьмется, раз перед ним есть несравненно более интересные, еще не тронутые историческим анализом объекты изучения? Это мотив конечно проходящий: лет через пятнадцать-двадцать читать Соловьева и Ключевского перестанут, как теперь никто не читает уже Карамзина. Но если их будут читать еще хоть пять лет, дать читателю путеводитель по их сочинениям все же необходимо.

Я не останавливаюсь на большом методологическом мотиве—необходимости дать картину развития исторической идеологии как части развития идеологии вообще. Это требует уже ряда чисто исследовательских работ. То, что предлагается теперь читателю, это еще не исследования в настоящем смысле этого слова. Это—монографии научно-популярного характера, предназначенные для широких кругов студентов и преподавателей, а не для специалистов. Специалист едва ли найдет здесь что-нибудь для себя абсолютно новое. Но это уже и не тот чрезвычайно популярный очерк, какой был дан пишущим эти строки в 1923 г. под названием «Классовая борьба и русская историческая литература». Тот имел в виду не только студентов

вузов, но и рабфаковцев и совпартшкольцев. Круг распространения его был поэтому довольно широк, и от 10 тысяч выпущенных тогда экземпляров давно уже ничего не осталось в продаже. Наша книга предназначается не для столь широкой публики, но и она разумеется стремится быть возможно менее академической и доступной возможно более широким кругам.

Главным образом практическими задачами определился и хронологический захват нашей книги. Мы оставили вне поля зрения всю историческую литературу периода крепостного хозяйства в его чистом виде,—хотя там есть очень любопытные фигуры, как Татищев, Щербатов и Болтин, и есть одна фигура очень крупная: Карамзин. Сказать, что историки этого периода не имели никакого влияния на воспитание нашего поколения, конечно, нельзя. Казенные учебники царского времени, с Иловайским во главе, шли, по существу дела, от карамзинской схемы. Торговому капиталу, дирижировавшему из-за кулис крепостным хозяйством XVIII—XIX вв., важно было в первую голову образование громадной государственной территории: недаром в первом большом государстве торгового капитала, какое видел свет в новое время, в империи Карла V (XVI в.), «никогда не заходило солнце». Империя Романовых была последним образцом того же типа. Вот отчего образование территории, «собрание Руси» играло такую, вне всякой пропорции с действительностью, колоссальную роль в историческом процессе у Карамзина и у Иловайского. Налет «патриотизма» и «национализма» был здесь данью «Европе», вместе с дамскими модами, фракком, тротуарами и камином французского образца: «Европа» перешла уже в следующую ступень развития исторической идеологии, в ней исторический процесс строили, отправляясь от интересов промышленного, а не торгового капитализма, а в эти интересы входило и понятие «нации», как мы сейчас увидим. В империи Карла V, объединявшего под своим «скипетром» испанцев, голландцев, немцев, итальянцев и американских краснокожих, как и в империи Романовых, считавшей своими подданными финляндца и грузина, поляка и киргиза, националистическому патриотизму места еще не было. Место «нации» в государстве этого типа занимал правящий слой, полудворянский, полукупеческий и вполне чиновничий, потому что каждый порядочный дворянин и каждый «выбившийся в люди» купец имели свое место в чиновной иерархии и по праздникам облакались в чиновничий мундир. У нас люди этого

времени любили помечтать на патриотические темы по-французски—устно или с пером в руках, как это делал Карамзин в своем знаменитом предисловии к «Истории государства Российского», но к настоящему буржуазному национализму и патриотизму это имело такое же отношение, как цитаты из Плутарха и Ливия в устах ораторов французской революции и фракций. И там и тут это была мода, не более.

Через школьный учебник эта идеология засорила довольно прочно мозги нашего—и, пожалуй, даже непосредственно следовавшего за нашим—поколения. Воздыхания о «единой, неделимой», которые слышались еще в период гражданской войны, несомненно являлись отголоском уроков о «собрании Руси», ибо одно дело лозунг «единой, неделимой» в почти однородной по национальному составу Франции, совсем другое в «Российской империи», где даже Витте насчитывал более 40 процентов «инородцев», а еще он зачислял без околичностей в «русские» и белоруссов и украинцев. Но как ни свежо предание, все же это—предание. Ныне вступающее в жизнь поколение—а для него пишутся все книжки—не знает Иловайского и никогда не читало Карамзина, даже в хрестоматийных отрывках, нужно только принять все меры, чтобы под видом восстановления истории в ее гражданских правах эти почтенные люди снова не забралась в наши школьные учебники. Пока этой беды не случилось трактовать об этой «истории в чистом виде» в книжке, преследующей в первую очередь практические цели, едва ли стоило.

Мы начинаем поэтому с концепции не крепостнической, мы начинаем прямо с концепции буржуазной. Эта концепция господствовала в нашей академической литературе сплошь и без всяких изъятий всю вторую половину XIX столетия и из академической русской литературы забралась в весьма неакадемическую, марксистскую литературу, забралась на страницы таких авторов, как Плеханов, как Троцкий и т. п. Эта концепция чрезвычайно четко отразила в себе тот момент в развитии русской буржуазии, который совпадает как раз с серединой XIX в.—момент возникновения и окончательного оформления у нас промышленного капитала.

Промышленный капитализм имеет перед собой первую задачу, основную, без чего он не может просто стать, не может возникнуть,—это отбиться от своих конкурентов, от других промышленных капитализмов. В странах, где промышленный капитализм родился раньше, чем где бы то ни

было в другом месте, например в Англии, это выявляется главным образом в агрессивных действиях растущего промышленного капитализма против других стран. Англия была первой страной промышленной революции, а непосредственно после этого, в течение примерно столетия, если не больше, она воевала с Францией. Эти англо-французские войны отразили как раз наступление английского промышленного капитала на континент. Окончились они блестящей победой английского промышленного капитала, овладением европейским рынком и фактической монополией английской крупной индустрии на этом рынке, которая держалась до конца XIX в.

Что касается стран, которые позже Англии вступили на этот путь, то они естественным образом должны были не только наступать,—они наступали тоже, обыкновенно на Восток,—они должны были и обороняться. И та же самая Франция создала в начале XIX в. самую грандиозную систему обороны своего промышленного капитала—континентальную блокаду. Совершенно в такое же оборонительное положение попадали после этого и все другие европейские страны, где усиленно развивался промышленный капитализм: попала после Франции Германия, которой пришлось отбиваться уже от Франции, попала Италия, которой пришлось отбиваться от Австрии и т. д. и т. д. В конце концов в такое же положение должна была попасть и попала Россия. Как раз в начале характеризуемого мною периода—в 1822/23 г.—мы имеем первую жесткую протекционистскую программу, которая была проведена у нас. Мы имеем первое возведение таможенной стены, которая отделила Россию от западных стран и которая дала возможность развиваться нашему промышленному капитализму, которая эмансипировала его от засилья Запада, главным образом засилья англичан, но конечно и французов, и немцев, и всяких других «насильников» и «нападателей» на невинную русскую промышленность.

Этот процесс развития национальной промышленности лежит в основе всего идеологического движения буржуазии в то время. Представляясь нам тривиальным, материальным процессом, делом кошелька и пяточка, он ведь мог сублимироваться, как сублимируется все на свете,—нет такой вещи, которую сублимировать было бы нельзя,—и, сублимируясь, он вырастает в те роскошные националистические движения, которые знают массу героических эпизодов в истории Италии, в истории Франции, в истории Германии

«Марсельеза»—не только революционная песня, но и великая националистическая песня. Этот ореол национализма, этот пафос национализма, в основе которого лежал в сущности тривиальный факт образования внутреннего рынка,—этот пафос проникает собою всю соответствующую литературу, и между прочим литературу историческую, которая дает нам целый ряд ярких националистических произведений. В особенности это отразилось на германской исторической школе Ранке, основной националистической школе XIX в., и соответственной параллелью к этому является наша русская историческая литература середины XIX в., историческая литература, связанная с именем Соловьева, Чичерина, Кавелина и др.

Эта русская литература, как и вся русская классическая литература, насквозь великодержавна. И великодержавие ее чрезвычайно характерно для националистической политики. Для всех этих историков русская история есть история великорусского племени. И это чрезвычайно характерно, потому что главным агентом того исторического процесса, который я характеризую, является именно великорусская народность. Русский промышленный капитализм складывался около Москвы, великорусского центра, и московский отпечаток чрезвычайно резко лежит на всей его политике. Отсюда прежде всего великодержавность этой литературы, то, что она смотрит с московской колокольни. Министр финансов Александра II Грейг сказал в одной речи, что он смотрит на Россию с высоты Кремля. Один остряк прибавил: «Потому он и видит только Замоскворечье». Вот такую позицию занимала и наша националистическая историческая литература. Это—одна из ее черт.

Другая ее черта, еще более характерная для нее, черта тоже роднящая ее со всякой подобной литературой, в том числе и с германской и французской соответствующего периода, это то, что для создания внутреннего рынка нужно было прежде всего сильною рукою сломать всякие внутренние перегородки, объединить страну. Притом чем больше этих перегородок было сломано, чем шире был рынок, тем было лучше. Во Франции пришлось это делать довольно решительным путем, поскольку во французской революции промышленный капитал столкнулся еще с живыми феодальными перегородками, с живыми местными властями и т. д. У нас это все было попроще, не было такой борьбы. Но перегородки и у нас были. Главной перегородкой было конечно крепостное право, которое являлось помехой на пути

развития промышленного капитализма. Отсюда наш пафос сосредоточивается на борьбе с крепостным правом. Так или иначе, внутри нужна была очень сильная, крепкая государственная власть, которая сломала бы эти перегородки, какого бы вида они ни были, и создала единый внутренний рынок со свободным передвижением рабочих рук, с резервной армией этих рабочих рук и т. д.,—со всем, что необходимо для развития промышленного капитализма.

Отсюда вопрос о государстве и происхождении государства занимает громадное место в наших исторических идеологиях середины XIX в. Все они ставят вопрос, как возникло государство, в чем его сущность. Государство играло во всех их построениях, как и во всей практической системе промышленного капитализма, колоссальную роль. Без государственной власти нельзя было сломать этих перегоронок, нельзя было сломать крепостного права, т. е. его можно было сломать конечно и революционным путем, путем взрыва с низу. Но, я думаю, нет надобности объяснять, что такой путь не был путем промышленного капитализма ни в одной стране. Только Франция должна была пойти этим путем, но и то она быстро справилась с этим низовым движением, и уже при Наполеоне там царствовал «полный порядок». Совершенно естественно, что в других местах сломали эту перегородку сверху, путем реформы, и для этого нужна была сильная государственная власть, и для этого нужно было всячески возвеличивать государство. Отсюда все наши буржуазные историки суть историки-государственники. Прежде всего они выдвигают теорию, которую они выдают за особенность русского исторического процесса, но которая на самом деле отражала особенность объективного положения их класса в России,—теория, которая гласила, что само русское общество создано государством. Нигде до такой степени известная гегелевская фраза, что государство есть своего рода бог, не оправдалась так, как именно в русской исторической литературе, которая считала, что все общество со всеми его сословиями создано государством. До этого договорилась только одна русская историческая литература, и никакая другая так далеко в своем преклонении перед государственной властью, в своем возвеличивании государственной власти не шла. Это было совершенно естественно, потому что сильная государственная власть нужна была той основной производственной силе, которая в это время росла—промышленному капитализму. При помощи этой государственной власти был пробит барьер кре-

постного права в 1861 г., были открыты пути для более или менее беспрепятственного развития промышленного капитализма в будущем. Совершенно ясно, на кого опиралась эта идеология. Это для нас служит иллюстрацией того, кто командовал в это время русским общественным мнением. Командовал фактически промышленный капитал. Тут совершенно не приходится стесняться тем, что ни у Чичерина, ни у Кавелина, ни у Соловьева, ни у кого другого из историков-государственников не было никаких фабрик. Тут применимо то, что говорит Маркс о мелкобуржуазной идеологии, о мелкобуржуазных идеологах: не обязательно, чтобы у них была лавка, но их кругозор не выходит за пределы кругозора лавочника. Точно так же для наших историков-государственников не обязательно было, чтобы они были фабрикантами, но их кругозор был кругозором крупных предпринимателей, кругозором буржуазии, которой были нужны определенного рода государственные учреждения.

И вот почему те общественные классы, которые при этом развитии промышленного капитализма являлись не субъектом, а объектом, которых этот развивающийся промышленный капитализм мял и трепал, естественно должны были занять противоположную позицию. И прежде всего такую позицию заняли славянофилы, т. е. помещики. Что для помещиков означал рост промышленного капитализма? Он означал прежде всего колоссальные таможенные пошлины, которые били по карману помещиков, потому что в каждом аршине и в каждом фунте того, что они покупали, сидели эти самые таможенные пошлины. И вот на почве этой противоположности интересов промышленного капитализма и помещиков возникла славянофильская теория, которая отрицала государство и которая договаривается местами до демократических и даже анархических положений. Я не хочу отрицать того, что славянофильская теория многогранна, что в ней кроме отрицательного отношения к государству как двигателю промышленно-капиталистического развития,—а таковым несомненно была империя Николая I,—что кроме этого сюда примешивалась еще и борьба с революционным движением снизу, и что для славянофилов момент страховки от возможности социальной революции играл также очень большую роль. Это совершенно верно; никто не станет отрицать того, что их историческая теория многогранна, и никакую историческую теорию вы не исчерпаете одним положением и тезисом. Но все-таки основным моментом в славянофильстве было отрицательное

отношение к государству как посетителю, как возглавлению, как политическому орудию того промышленного капитализма, от которого больно приходилось помещикам, от которого помещики экономически страдали, в особенности страдали в тот период, когда был аграрный кризис и когда помещикам и без того приходилось туго. А тут фабрики росли, и оттуда раздавались голоса, что крепостное право нужно отменить и т. д. и т. д. Все это вместе создало известное настроение славянофильства, и этим объясняется его отрицательное отношение к государству, то, что оно государство выдвигало за скобки как чужую силу, как насильника, как что-то наносное в русской истории, с чем народные массы вовсе не желают считаться.

Но в этом хоре не звучал голос того класса, на котором сидела вся эта пирамида: сидел помещик, сидел фабрикант, сидел чиновник, сидел и царь. В нашем обычном классическом изображении русской историографии середины XIX в. крестьянин совершенно отсутствует, его не было, его голоса не было слышно. Это довольно естественно. Этот безграмотный крестьянин,—по подсчетам Шапова, в России на 65 миллионов населения всего было 4 миллиона грамотных, причем большая часть неграмотных падала разумеется на крестьян (это было до возникновения даже земских школ, которые возникли позднее),—этот безграмотный крестьянин казалось бы не мог никак проявить себя в исторической литературе. И однако проявил. И интерес Шапова, суть его классовой позиции заключается в том, что он учитывает весь этот процесс, о котором я говорю, чувствуя его на себе, и представлял идеологические интересы именно этого якобы молчавшего класса. Шапов—типичный крестьянский историк.

Сохранился любопытный анекдот о том, как Шапов спорил с Чернышевским. Этот анекдот рассказывает между прочим Плеханов в своей статье о Шапове,—как они спорили очень долго, целый вечер, и как Шапов ушел, не убежденный Чернышевским. И чрезвычайно метко схватывая разницу между ними, Плеханов говорит: «Тут спорили демократ с социал-демократом». Чернышевский был уже зародышем социал-демократии, т. е. представителем городского рабочего движения. Шапов и тут остается настоящим мужичком—он стоял на своей мужичьей позиции. И вот, столкнувшись с социал-демократом горожанином, Шапов своих позиций не сдал. Чернышевский отличался могучей диалектикой, но эта могучая диалектика не победила Шапова. Он как пришел мужичком к Чернышевскому, так и ушел.

Вот те три основные концепции русского исторического процесса, которые боролись в середине XIX в. Мы начинаем их характеристику с самого раннего представителя диалектики (а домарксистская, идеалистическая диалектика отражала развитие именно промышленного капитализма), какого мы имеем в русской исторической литературе,—с Эверса. Для широких читательских кругов это имя наверно незнакомо, но его надо знать и помнить: это учитель наших учителей—Соловьева, а через Соловьева и Ключевского, хотя ссылаться на этого «немца» наши учителя не любили. А в конце галереи вслед за Щаповым мы ставим Лаврова. Он не специалист-историк, но на специалистов-историков он несомненно влиял, и без Лаврова не было бы многих страниц Ключевского. В то же время этот создатель типичнейшей мелкобуржуазной философии истории, какого только знает русская литература, уже знал и читал Маркса, понимая его по-своему. Позже идут уже полумарксистские схемы, хромающие и отступающие или в сторону Гегеля, что роднит их с классическими схемами русской истории,—и они от этого родства не отрекаются,—или в сторону Щапова, что роднит их с классическим веком русского «просвещения», с 60-ми годами. Это схемы Плеханова и Рожкова.

Смерть Н. А. Рожкова сделала то, что из живущих еще на свете русских историков в книге говорится только об одном Милюкове. Научная карьера этого крупнейшего представителя «школы Ключевского» представляет собою почти замкнутую кривую. Начав с попытки примирить абсолютно непримиримое—«государственную» схему русской истории со Щаповым, Милюков возвращается в наши дни почти к чистой «щаповщине». Но как не похожа щаповщина 1920-х годов на ее прототип 1860-х! Подлинный Щапов на крестьянстве и его труде базировал все будущее России. Его крестьянин смотрел вперед, вот в чем было его право на красный угол в русской истории. Для Милюкова последнего извода крестьянин—тоже герой всей русской истории, но ничего красного у него не осталось. Воображаемый Милюковым русский крестьянин—своего рода белый дворник русской истории, предтеча и помощник того городского «с медалями, крестами на груди», который «огласил всю Русь могучим криком: куда прешь? подайся! осадил!». Этого городского ждет—не дожидется русская эмиграция. Но не дожидется ни его, ни его предтечи. Настоящий крестьянин Советской страны не имеет ничего общего с печальным героем, которого сочинил себе Милюков в припадке последнего

отчаяния. И от его новейшей исторической теории остается одно: констатирование того несомненного факта, что «государственная» концепция Чичерина—Соловьева—Ключевского присоединилась в царстве теней к концепции Карамзина.

А переход в целом ряде случаев на чисто марксистские позиции покойного Рожкова, в его пореволюционных книжках не меньше, чем щаповские реминисценции Милюкова, свидетельствует, что и просветительству 60-х годов в нашей исторической литературе тоже пришел конец. Марксистская схема, изгой 90-х годов, чрезвычайно неприятная «втируша» первых десятилетий нашего века, но которую уже нельзя было выгнать за дверь, которую можно было только «не замечать»,—эта марксистская схема занимает теперь в русской исторической литературе то же место, какое занимала схема «государственная» в середине прошлого века. Дальнейшее развитие идет в порядке дифференцирования, очищения и уточнения этой схемы. Но этот процесс еще не принадлежит истории. Это еще наше настоящее. Вот почему характеристика различных оттенков этой схемы еще не дается в этой книге. Писавшие ее сами принадлежат к школе историков-марксистов. А дать объективную характеристику самим себе всего труднее, не говоря о том, что трудно дать законченную характеристику тому, что еще живет и развивается, что само еще не закончено. Пусть этим займутся читатели этой книжки, когда они сами сделаются вполне зрелыми историками. И если нам удалось хотя немного облегчить их путь к этой цели, наша задача выполнена.

В настоящем первом томе мы даем «классиков» основных направлений русской историографии середины XIX в.: Соловьева, Чичерина и Щапова. Мы присоединяем к ним по изложенным уже выше соображениям в качестве «введения» Эверса. И мы даем параллельно с ними славянофилов. Славянофилы могли бы казаться совершенно устаревшими, почти настолько же, насколько устарел Карамзин,—если бы Милюков самой последней формации не попытался их оживить, почти целиком усвоив их схему государства, «насевшего» сверху на народную массу. Если прибавить к этому, что славянофильские отзвуки отчетливо слышатся в исторических концепциях народничества и что славянофилы нанесли первые и меткие удары «государственной» теории в пору ее наивысшего расцвета, то думается, славянофилы будут отнюдь не лишними в нашей коллекции.

Чтобы не впасть в грех «великодержавности», которую так была заражена «государственная» школа, мы должны по крайней мере попытаться дать и наших историков-«федералистов», начиная с Костомарова. Имея не очень большое чисто научное значение, Костомаров имел громадное влияние общественное: для наших отцов, а отчасти и еще для нас самих в дни нашей молодости это была единственная отдушина, через которую к нам шла свежая струя, независимая от «государственного» понимания русского исторического процесса. Что в древней Руси были не только князья и бояре, но была и народная масса, было что-то вроде республик, что «русскую историю» делали не только великороссы, но и украинцы,—это мы впервые узнавали от Костомарова. Если прибавить, что при малом удельном весе его писаний в чисто научном отношении иные его теории, как например его объяснение возникновения Московского государства как продукта тесного союза Москвы и Орды, остаются верными и доселе и что мы отнюдь не ставим своей задачей изображать только вершины русского исторического Олимпа,—присутствие в наших очерках Костомарова не будет нуждаться в дальнейших доказательствах. Но нам хотелось бы и продолжить ознакомление наших читателей с этим «федералистическим» направлением, дав характеристику и новейшей украинской исторической литературы, начав в первую очередь с М. С. Грушевского. Украинская параллель Милюкову—не в политическом конечно отношении,—притом параллель более яркая, поскольку Грушевский как историк талантливее и значительнее своего великорусского ровесника, не может быть устранена из обзора концепции русского исторического процесса, поскольку при всем своеобразии украинской культуры и украинской истории построить ее схему, не затронув так или иначе схемы русской истории, совершенно невозможно.

Удастся ли ввести «федералистов» во второй том, это конечно зависит от размеров, какие примут основные статьи этого тома. Во второй том обязательно должны войти Ключевский, Милюков, Плеханов и Рожков. Костомаров и Грушевский быть может составили бы третий том—или выпуск—настоящего сборника. Во всяком случае в наш план—и план всякого подобного издания—они должны войти¹.

¹ Во второй том вошли статьи: «Федералистические теории в истории России», «П. Н. Милюков как историк», «В. О. Ключевский», «Н. А. Рожков как историк России». (См. «Русская историческая литература в классовом освещении», т. II, изд. Комакадемии, 1930 г.).

В заключение несколько слов о происхождении этой книжки и связанных с этим особенностях ее изложения. Печатаемые статьи возникли из докладов, читавшихся в семинарии по русской истории Института красной профессуры. Их авторы,—за исключением М. В. Нечкиной, научной сотрудницы первого разряда Московского института истории,—студенты Института красной профессуры I курса. Их задачей было дать возможно более полное представление о том или другом историке, избавляя нашего читателя от труда знакомиться с этим историком непосредственно. Отсюда изобилие цитат, которые делают чтение нашей книги может быть менее «занимательным», чем если бы изложение было дано в форме обычной журнальной статьи. Мы считали, что для руководства,—а книга является и таковым,—занимательность и легкость изложения должны отступить на второй план перед его содержательностью.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В РОССИИ АБСОЛЮТИЗМ «СУЩЕСТВОВАЛ НАПЕРЕКОР ОБЩЕСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ»? ¹

Как всякая схема, ясная и отчетливая, схема Троцкого легко запоминается и усваивается. И это очень жаль. Ибо схема эта, во-первых, не наша, а во-вторых, объективно неверна. Постараемся доказать то и другое.

«Русское государство, возникшее на примитивной экономической основе, столкнулось на своем пути с государственными организациями, которые сложились на более высоком экономическом базисе. Здесь открывались две возможности: русское государство должно было либо пасть в борьбе с ними, как пала Золотая Орда в борьбе с московским царством, либо оно должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений, поглощая под давлением извне несоразмерно большую часть жизненных соков нации...» «...Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику, нанимать военных специалистов, государственных фальшивомонетчиков и пороховщиков, доставать учебники по фортификации, вводить навигационные школы, фабрики, тайных и действительных тайных советников...»

~~«В результате этого царство Золотой Орды пало и т. д.~~
жавное государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, т. е. жило за счет формирующихся привилегированных классов и т. д. без того, чтобы развиваться.» «В своем стремлении к созданию центра-

¹ Сборник статей М. Н. Покровского: «Марксизм и особенности исторического развития России», изд. «Прибой», 1925 г., стр. 20—29. Впервые статья напечатана в журнале «Красная новь», 1922 г. № 3 (7), стр. 144—151.

дизованного государственного аппарата царизму приходилось не столько тягаться с притязаниями привилегированных сословий, сколько бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью. Не равновесие экономически-господствующих классов, как на Западе, а их социальная слабость и политическое ничтожество создали из бюрократического самодержавия самодовлеющую организацию...» «Чем централизованнее государство и чем независимее от господствующих классов, тем скорее оно превращается в самодовлеющую организацию, стоящую над обществом...»¹

Что это такое, как не теория внеклассового государства, которую развивал Милюков без помощи марксистской терминологии и Струве с помощью последней? Пусть Троцкий отмежевывается от Милюкова на стр. 19-й (характерно, что он почувствовал эту потребность!): все же, стоя на своей позиции, он не может сказать о кадетском историке больше, чем что схема того есть «страшное преувеличение». Преувеличение чего? Ошибки или правильного в основе понимания русского исторического процесса? Ясно, что последнего...

В самом деле, какой же класс или классы представляло в русской истории самодержавие? Не «привилегированные»—это ясно из приведенных цитат: самодержавие стояло над ними. Тогда, может быть, не привилегированные? Но этот вопрос—чисто риторический: не может же Троцкий стоять на точке зрения «социальной монархии». Значит никаких классов самодержавие не представляло, оно стояло над классами, что впрочем на стр. 21-й и сказано всеми словами («самодовлеющая организация, стоящая над обществом»).

Пснятно зачем кадетским историкам нужно было поддерживать иллюзию внеклассового русского самодержавия. Внеклассовая верхушка русского государства предполагала и возможность неклассовой перестройки этой верхушки. Самодержавие должно было быть заменено конституционной монархией: но причем тут классы? Причем пролетариат и крестьянство? От них можно отделаться уступками в «социальной» области (8-часовой рабочий день

¹ Троцкий, «1905», стр. 16—21 и дальше. Разрядка везде моя—

«по возможности», наделение крестьян землею за выкуп). А политическая власть должна остаться «внеклассовой», т. е. буржуазной.

Повторяем, с кадетской политикой все это великолепно вяжется. Но как это связать с нашими призывами к пролетариату—бороться с буржуазией за власть? Как это отнимать у буржуазии то, чего она сама не имела? Зачем вообще осложнять борьбу с «внеклассовым» самодержавием классовыми мотивами? Надо бороться с бюрократией, с армией, с полицией, а за что припутывать тут буржуазию? Ведь самодержавие жило и на ее счет («жило за счет формиовавшихся привилегированных классов и тем задерживало их развитие», стр. 18). Это самое говорили кадеты против большевиков: осложняют борьбу, направляют энергию не по надлежащему руслу, тратят ее зря, словом—косвенно, по неразумию, помогают абсолютизму. Это самое и говорили кадеты, вполне последовательно применяя к текущей политике свою историческую теорию—внеклассового самодержавия.

Нет, это не наша теория. В прошлом она уже имеет за собою одно—имя Плеханова, который попал на ту же дорогу (и затем пошел гораздо дальше): сначала, в 1905—1907 гг., стал применять кадетскую теорию на практике, а потом, в 1913—1914 гг., истолковал при ее помощи русскую историю (для читавших введение к «Истории русской общественной мысли» вводные главы книги Троцкого уже прозвучали конечно очень знакомо). С этой теорией необходимо бороться самым решительным образом, не менее энергично, нежели мы боремся теперь с религиозными предрассудками. Я даже скажу больше: не так важно доказать, что Иисус Христос исторически не существовал, как то, что в России никогда не существовало внеклассового государства.

По отношению к новейшему времени дело впрочем обстоит и сейчас гораздо благополучней, чем может показаться читателю «1905». Оспаривать классовый характер буржуазных реформ Александра II, антибуржуазный, т. е. тоже классовый характер контрреформ Александра III, классовое значение закона 9 ноября 1906 г. или цензовой системы выборов в Государственную думу не решился бы теперь и ни один из кадетских историков. Во всяком случае крупнейший народнический авторитет в области русской истории, покойный В. И. Семевский, до конца жизни негодовавший на попытки дать классовую характеристику декабристов, охотно соглашался, что главы о крестьянской

реформе в «Истории России XIX в.» (гранатовское издание) есть «лучший сжатый очерк» по этому вопросу, какой существует в русской литературе: а эти главы выдержаны с самой определенной классовой точки зрения. Теперь даже и Милюков, в последнем фазисе своей эволюции, соглашается признать стержнем всего революционного движения в России борьбу крестьян за землю: т. е. чисто классовый момент (см. введение ко 2-му изданию его «Истории русской революции»). А классовому напору снизу соответствовал, само собою разумеется, и классовый же отпор сверху: если суть революции была в стремлении крестьян захватить помещичью землю, то суть реакции очевидно выражалась в стремлении защитить помещичью собственность. И орган этой реакции, самодержавие, было, стало быть, классовым дворянским правительством.

Но если с временами новейшими дело обстоит благополучно, не так просто стоит вопрос о возникновении русского самодержавия. Этот вопрос, о возникновении русского абсолютизма, и оказался тем крючком, на который буржуазные историки поймали двух чрезвычайно крупных марксистских рыб. Поймали потому так легко, что марксисты тут, в этом вопросе, были перед ними совершенно беззащитны: ибо существующие буржуазные книжки для материалистического объяснения факта, разумеется, ничего не дают. И не дают даже не потому, что сознательно хотят втереть очки, замазать истину, а просто потому, что сами смотрят совсем в другую сторону; не питая ни малейшего сомнения насчет догмата внеклассового государства, буржуазные историки и не ищут, конечно, экономической базы самодержавия. Им нужно объяснение политическое; его они находят, вполне удовлетворительное, с их точки зрения, в интересах военной обороны от внешнего врага. Почему Русь сплотилась около Москвы? Нужно было защищаться от татар. Ясно и просто.

К чести исторического вкуса Троцкого, его это банальное объяснение не удовлетворило. «Борьба с крымскими и ногайскими татарами вызывала большое напряжение сил. Но, разумеется, не большее, чем вековая борьба Франции с Англией. Не татары вынудили Русь ввести огнестрельное оружие и создать постоянные стрелецкие полки; не татары заставили впоследствии создать рейтарскую конницу и солдатскую пехоту» (стр. 16). Казалось, тут-то бы и сказать: не военные, т. е. не политические интересы ле-

жали в основе, а экономические; московское самодержавие отвечало чьим-то классовым интересам. Но так как ни одного факта, ведущего в этом направлении, у Троцкого в 1909 г. не было (у Плеханова в 1913 г. уже были—но на том так крепко сидели тогда кадетские шоры, что он их не пожелал видеть), то он был перед Милюковым—его несомненным источником в данном вопросе—совершенно беспомощен. Он попробовал только среди фактов, какие он мог найти в кадетской историографии, найти более приличные с точки зрения марксиста. И попытался несколько уточнить «военную» гипотезу: не примитивные потребности борьбы с татарскими грабежами, а борьба с западными странами выковала военную диктатуру московского царя. «Тут было давление Литвы, Польши и Швеции».

Но где тонко, там и рвется. Объяснение «от татар» было конечно очень плоское и банальное—зато окончательное. Ибо татары приходили Русь грабить—и только; тут был действительно вопрос самосохранения: буржуазным историкам оставалось только раздуть до беспредельности этот, сам по себе несомненный, только вовсе не очень значительный факт. А вот из-за чего же с «Литвой, Польшей и Швецией» началась драка? Это же ведь не просто степные разбойники? У них-то были какие-то экономические побуждения нападать на Русь (допустим на минуту, что нападали действительно они: сейчас мы увидим, что было наоборот)? Какие же? Стремление заполучить в свои руки ценное русское сырье—каменный уголь, нефть, железную руду? Но позвольте, ведь это было за двести лет до изобретения машин, и о пользе каменного угля и нефти тогда никто и не думал; равномерно никто не подозревал, что в пределах России имеется хорошая железная руда—она была открыта на Урале гораздо позже. Чего же им было нужно?

Заставим по возможности говорить современников. Вот один из врагов московской России XVI в.—Польша. Польский король Сигизмунд объявляет английской королеве Елизавете, почему Польша должна была заблокировать Нарву (дело происходит в разгаре Ливонской войны между московским царством и польско-литовским в 1568 г.): «...Как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашему величеству, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свободы под небесами, московит, ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так

как оттуда доставляются ему не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники: благодаря этому он укрепляется для победы над всеми прочими государями. Этому нельзя положить предела, пока будут совершаться эти плавания в Нарву»¹.

Из-за чего же шла война между Польшей и Россией? Из-за морского порта, из-за Нарвы. Вообще говоря, и з - з а торговых путей. Король Сигизмунд пытался уверить Елизавету, что если открыть этот торговый путь москвитянам, оттого будет непоправимый вред «всему христианству» (тогда, какую бы пакость дипломаты ни замыслили, они всегда ссылались на интересы «всего христианства»: совершенно так, как теперь говорят об «интересах человечества и цивилизации»). Царь Иван смотрел конечно на дело с противоположной точки зрения (и Елизавета была на его стороне). Почему же он затеял драку за торговые пути?

Дадим слово другому современнику. Лет за пятьдесят до Ливонской войны был в России послом от германского императора барон Гербершгейн. Он очень заинтересовался этой страной, тогда столь же новой для западных европейцев, как в XIX в. Китай или Япония, и оставил весьма добросовестное описание всего, что видел. Так как дело происходило около 1530 г., казалось бы, Герберштейн должен был найти у москвитян такое «натуральное» хозяйство, что хоть срангутангам впору: ведь Милюков уверял своих читателей, что еще в конце XVIII в. русский помещичий дом представлял собою вполне самодовлеющее хозяйственное целое. Но за триста почти лет до этого немецкий барон имел случай испытать на собственной шкуре всю несостоятельность кадетской историографии. «Ростовщичество,—жалуется он,—чрезвычайно распространено: и хотя они (москвиты) и называют его большим грехом, тем не менее никто от этого греха не воздерживается. Размеров оно достигает невыносимых: нередко один с пяти, т. е. 20%. Не столь жестоки, кажется, церкви: они, как говорят, берут и десять со ста».

Не только налицо развитый денежный оборот, но уже успели выказаться явные преимущества крупного капитала: «церкви»—т. е. собственно монастыри,—оперирующие более крупными суммами, берут вдвое меньше мелких ростовщиков. Совершенно как у нас в конце XIX в.: по-

¹«Первые сорок лет сношений между Россией и Англией, 1553—1593». Грамоты, собранные и изданные Ю. Толстым, стр. 32—33.

мещик в банке получал деньги под залог имения из 6—7%, а крестьянин кредитовался у мелкого сельского кулака из 40%.

Но позвольте, скажет читатель: ростовщичество ведь это еще не бог весть что в смысле развития товарного хозяйства. Ведь вот они все же рост грехом считали, значит нормой-то было именно натуральное хозяйство. Приведем еще выдержку из того же источника, немного выше:

«Просил я одного боярина (*consiliarium Principis*) помочь мне в покупке мехов, чтобы меня не обманули: он сейчас же обещал мне свое содействие, а потом стал тянуть дело. Хотел мне навязать свои собственные меха; а в то же время к нему стали сбегаться торговцы, обещая премию (!), ежели сбудет мне их товары по хорошей цене»¹.

Итак, дело шло вовсе не о мелком деревенском ростовщичестве, на котором впрочем и не смог бы вырасти крупный капитал монастырей; был рынок, были крупные торговые обороты, и в них принимали участие виднейшие люди страны, члены Боярской думы.

Широта этих торговых оборотов,— т. е. широта в пространственном смысле: по суммам тогдашний рынок был конечно в сотни раз уже даже теперешнего, послевоенного— нас, сбитых с толку нашей железнодорожной сетью и созданной ею новой экономической географией, способна привести прямо в остоленение. Кто бы подумал, что Дмитров (Московской губ.) и Вязьма могли быть центрами международного обмена? А между тем послушайте Герберштейна. «Дмитров город с кремлем, от Москвы немного к северо-западу отстоит на 12 миль (Г. везде считает немецкие мили по 7 верст). Через него протекает река Яхрома, впадающая в Сестру, а Сестра в Дубну, впадающую в Волгу. Благодаря такому удобному расположению рек, там много торговцев, которые привозят товары с Каспийского моря по Волге и распространяют их, без большого труда, в разные стороны, вплоть до Москвы». «Под городом Вязьмой река того же имени не далеко оттуда, в двух, кажется, верстах, впадает в Днепр: отсюда груженные товарами суда опускаются в Днепр и потом снова поднимаются по Днепру до Вязьмы». Таким путем шли в Литву товары из Москвы и с ярмарки в Холопьем городке (на устье Мологи). Герберштейн сам ехал этой дорогой из Орши через Смоленск, причем багаж посольства шел на судах до Вязьмы².

¹ «*Rerum Moscoviticarum auctores varii*», стр. 44 и 43.

² Там же, стр. 57 и 52—53.

При таком расположении торговых путей немудрено, что деревянная посуда, которую выделывали калужские ку-стари, шла за границу, в ту же Литву. Что же касается со-циального удельного веса московских людей XVI в., заинте-ресованных в коммерции, то вот какой анекдот, лет 40 спу-стя, случился с англичанами, тогда уже открывшими путь в Россию через Белое море. «Перед приездом Бауса (по-сла Елизаветы) в Москву голландская компания хлопотала об уничтожении торговых льгот, данных англичанам мо-сковским правительством, и приобрела себе в Москве дру-зей—Никиту Романова (NB. Родоначальника романовской династии.—М. П.), Богдана Бельского и Андрея Щелкалова, ибо, кроме ежедневных подарков этим советникам царским, голландцы заняли у них столько денег по 25 процентов, что платили одному из них ежегодно по 5.000 рублей; ан-глийские же купцы не имели в это время при дворе ни одного доброжелателя»¹.

Итак, акционерами голландской компании, торговавшей в России при Иване Грозном, были царский шурин, очеред-ной царский фаворит и министр иностранных дел. Компа-ния—хоть бы любому теперешнему «культурному» госу-дарству! Но англичане скоро нашлись, и немного лет спустя акционерами их компании были Борис Годунов—фактиче-ский царь,—и Федор Иванович—царь номинальный; после этого конкуренции голландцев они могли, пока что, не опасаться.

Когда мы, среди всего этого, узнаем от авторитетней-шего тогдашнего церковного проповедника, что его совре-менники пренебрегали земледелием и думали только о тор-говле, когда мы слышим, что другое, еще более знаменитое духовное лицо, протопоп Сильвестр, царский духовник, своего рода Распутин—только менее декадентского пошиба, чем наш современник,—правильно организовал коммерче-ское образование, и многие его воспитанники «торговали в различных странах всякими товарами», нас это уже совер-

¹ Ключевский, Сказания иностранцев о Московском государ-стве, изд. 1918 г., стр. 276. Русский рубль этого времени равняется 25 теперешним золотым рублям. Интересующимся русской экономикой мо-сковской эпохи чрезвычайно полезно прочесть соответствующую главку («Торговля») сводки Ключевского. Как раз отзывы иностранцев, с этой экономикой соприкосавшихся в первую очередь, особенно способны лик-видировать предрассудок о «примитивной экономической основе», на кото-рой якобы возникло московское самодержавие. На самом деле «основа» была ничуть не более «примитивна», нежели та, на которой во Франции выросло самодержавие последних прямых Капетингов (XIII—XIV вв.).

шенно не удивляет. Нам остается только привести пару примеров, показывающих, как близка была к коммерческому миру сама государственная власть—и как тонко разбирались носители этой власти в делах этого мира.

В 1572 г. Грозный принимал в Александровской слободе посла Елизаветы Дженкинсона. Жалуясь на предшественника последнего Рандольфа, царь говорил: «Все его речи были о купеческих делах, а о наших делах он ничего не говорил. Мы знаем, что нужно выслушивать речи о купеческих делах, так как они опора нашей государственной казны; но сперва нужно установить дела государей, а потом уже купцов».

Грозному в этот момент крайне важен был политический союз Англии, а Елизавета упорно держалась на линии «торговых сношений». Ему нужно было де юре, а она ему предлагала де факто. Но огромное значение этого «де факто» Грозный великолепно понимал, как видно уже и из только что цитированных его слов и еще больше из того, что он же говорил четыре года спустя следующему английскому агенту, Даниилу Сильвестру. «Мы хорошо помним, сколь полезны для Англии товары наших стран; в особенности же дозволение нами, чтобы англичане строили дома для делания канатов (что воспрещено всем другим народам), не только прибыльно для купцов, но и весьма выгодно для всего английского государства. Если мы не встретим в будущем в нашей сестре более готовности, чем ныне, то все это, а также и все остальные льготы будут у них сняты, и мы эту торговлю передадим венецианцам и германцам, от которых они (англичане) получают большую часть тех товаров, которые нам доставляют»¹.

Если царские приближенные были акционерами, то сам царь годился в директора акционерной компании. И когда этот хитрый московский кулак, достойный потомок Ивана Калиты, схватился за первый попавшийся предлог, чтобы напасть на развалившийся ливонский орден—и захватить себе порт, а то и порты на Балтийском море, то это нас уже может удивить всего менее. Царь торговой страны—а такой было московское государство XVI в.—не мог поступать иначе.

А для того, чтобы биться за торговые пути² нужно было и стрелецкое войско, и позже солдатские и рейтарские пол-

¹ Цитир. уже сборник Ю. Толстого. Россия и Англия, стр. 135—187. Разрядка моя.—М. П.

ки, в этом Троцкий вполне прав. Неправ он в том, что выводит все это из медленного экономического развития и отсталости Московского государства. Дело не в отсталости, а в том, что это была новая страна, захваченная развитием торгового капитализма, и что ей приходилось отбивать себе место на солнышке у более старых, прочно укоренившихся конкурентов. Для этого русскому торговому капиталу пришлось сковать страну железной дисциплиной и выработать настоящую диктатуру. Воплощением этой диктатуры торгового капитала и было московское самодержавие.

СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ПЕРВАЯ БУКВА МАРКСИЗМА¹

(Нечто в роде ответа Троцкому)

В ответ на небольшую журнальную статью о «1905» годе («Красная новь», 1922 г., книга третья, май—июнь) Троцкий поместил в «Правде» два огромных фельетона, в общей сложности раза в полтора больше статьи («Об особенностях исторического развития России», номера от 1 и 2 июля).

Уже одни размеры ответа свидетельствуют, что тут не вполне благополучно.

О самом главном обвинении читатель конечно уже догадался, ибо оно само собою подразумевается каноном полемики. И Троцкий «классицизму отдал честь»: я—не марксист. Правда, немарксистская компания выбирается для меня не какая-нибудь: в первом фельетоне я оказываюсь между Бюхером и Струве, во втором мне дается в спутники Эд. Мейер. Правда и то, что в другом месте я обзываюсь «вульгаризатором» марксизма, а в-третьих объявляется, что в моих «общих местах» еще нет марксизма—это только «первая его буква». Струве—это как будто не первал, а последняя буква марксистской азбуки, нечто в роде ижицы, для алфавита совершенно бесполезной. К слову сказать, со струвианством в русской историографии никто не боролся более, нежели автор этих строк: все соответствующие главы «Русской истории о древнейших временах» и «Очерки истории русской культуры» представляют собою обстоятельное опровержение струвианской постановки вопроса о падении крепостного права в России—постановки, к которой, увы! довольно-таки близко то, что говорится на стр. 25-й «1905».

Но я вовсе не собираюсь прятаться ни за свои прошлые заслуги, ни за противоречия статьи Троцкого. Я предлагаю

¹ Сборник «Марксизм и особенности исторического развития России», 1925 г., стр. 30—37. Впервые статья опубликована в «Правде» от 5 июля 1922 г. № 147.

последнему развернуть I том «Капитала» на главе XXIV («Так называемое первоначальное накопление») и благово- лить прочесть следующие места («общие» они или не об- щие, это уже дело вкуса):¹

«Средние века завещали две различные формы капитала, которые достигают зрелости в совершенно различных об- щественно-экономических формациях, и до наступления эры капиталистического спо- оба производства считаются капи- талом вообще: ростовщический капитал и купеческий капи- тал» (стр. 774).

«Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграб- лению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих,—такова была утренняя заря капи- талистической эры производства. Эти идиллические про- цессы составляют главные моменты первоначального на- копления. За ними следует торговая война европейских на- ций, ареной для которой служит земной шар. Война эта начинается отпадением Нидерландов от Испании, принимает гигантские размеры в английской ангиякобинской войне и теперь еще продолжается в таких грабительских походах, как война с Китаем из-за опиума и т. д.

Различные моменты первоначального накопления распе- деляются теперь между различными странами, а именно, между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией,—и притом более или менее в известной историче- ской последовательности. В Англии к концу XVII в. они си- стематически объединяются в колониальной системе, систе- ме государственных займов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы в значительной мере покоятся на грубейшем насилии, как например колониаль- ная система. Но все они пользуются государ- ственной властью, т. е. концентрированным и организационным общественным насили- ем, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Са- мо насилие есть экономическая потенция» (стр. 775).

«В настоящее время промышленная гегемония (преобла-

¹ Цитирую, за неимением оригинала под руками, по переводу Сте- панава, кажется, все же достаточно авторитетному.

дание) влечет за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда та выдающаяся роль, которую в то время играла колониальная система. Это был тот «неведомый бог», который воссел на алтаре наряду со старыми богами Европы и в один прекрасный день одним толчком выкинул их из святилища. Колониальная система провозгласила обогащение последней и единственной целью человечества. Здесь зародилась система государственных займов и кредита» (стр. 778)¹.

Так вот те явления, которых Маркс касается на этих страницах «Капитала», они имели место только в «Испании, Португалии, Голландии, Франции и Англии», или же они имели место также и в России? «Колониальная система» была приложима только в странах с жарким климатом и цветнокожим населением, или ее можно мыслить и в обстановке сибирской тайги, либо севернорусского болота? Необходимо ли для этого, чтобы по степям бегали страусы, по лесам бродили носороги, или же достаточно лисицы, соболя и горносталя?

Исчерпывающий ответ на это дает сам Троцкий в своем примере из его сибирских воспоминаний о Якове Андреевиче Черных. Этот сибирский купец, который «скупал у тунгузов пушнину, у попов дальних волостей—ругу и привозил с Ирбитской и Нижегородской ситец, а главное—поставлял водку», дает нам такую блестящую иллюстрацию русского «первоначального накопления», русской «колониальной системы» ранней стадии, какую только можно пожелать.

Сибирь, отставая от центральной России на столетия, превосходно консервировала, как будто нарочно для историка, московскую, а то и домосковскую Русь. Когда-то еще Н. А. Рожков при помощи сибирского «чертежа» истолковал таинственный «межный дуб» Русской Правды. Черных, как нарочно, является теперь, чтобы убедить наиболее скептически настроенных, что купеческий капитал Московской Руси XVI—XVII вв. отнюдь не фантазия. «Яков Андреевич грамоте не знал, но был миллионщик (по тогдашнему весу «нулей», а не по нынешнему)». Чем он хуже Строгановых, его далеких социальных предшественников? Прав Троцкий, когда он говорит, что «этот живой кусок сибирской действительности гораздо глубже вводят нас в понимание

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV. Разрядка во второй цитате моя—М. П.

исторических особенностей развития России, чем то, что говорит по этому вопросу т. Покровский». Само собою разумеется, один исторический факт гораздо убедительнее десяти рассуждений историков. Это они, исторические факты, и помогают нам вырваться из плена Милюковых и К^о, как они же помогли в свое время Марксу вырваться из плена буржуазной политической экономии.

Но историки все же не бесполезны, поскольку они могут связать одни факты с другими и тем их осмыслить. Вот Троцкому его Черных не напомнил Строгановых, а мне напомнил. Троцкий видел около своего «короля крестей» «исправников и приставов» и не вспомнил слов Маркса о том, как методы первоначального накопления «пользуются государственной властью, т. е. концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический», и не заметил, что для существования десятков и сотен Черных с их способами добывания необходимо «административное, военное и финансовое могущество абсолютизма», каковое «могущество» и находит здесь полное и исчерпывающее объяснение своего классового смысла. Дальше и ходить некуда. Троцкий увидал одно: Черных неграмотный, «тунгузишки» грязные—значит все это признаки «отсталости». Отсталости сравнительно с чем? С современным Черных европейским бытом или с предшествовавшим появлению Черных бытом «тунгузишек»? Для Сибири-то концентрация капитала в миллионных размерах была шагом вперед или назад?

И напрасно Троцкий думает, что он со мною спорит, когда он победоносно заканчивает свой первый фельетон: «А поднялся Черных до своего торгового значения на основе сибирского (среднененского) варварства потому, что давил Запад—«Расся», «Москва»—и тянул Сибирь на буксире». Он плохо читал мою статью—там достаточно убедительных примеров того, как Запад XVI в., в образе голландского и английского капитала, «тащил на буксире» тогдашнюю Россию. Только ведь нужно было, чтобы было что тащить — буксир-то тянет баржу, а не пустое место. Соприкосновение с Западной Европой сильнейшим образом стимулировало, поощряло развитие нашего торгового капитализма: но если бы туземное накопление не предшествовало этому соприкосновению, Россия была бы чисто колониальной страной, наподобие даже не Индии (там свое накопление тоже было), а центральной Африки. Что разви-

тие России, по типу, есть развитие колониальной страны, это как раз одна из моих ересей, и сейчас я приведу этому документальное доказательство,—но против чрезмерного перегибания палки в эту сторону я должен протестовать. Форменной колонией Россия все-таки не была. А между тем если бы поверить тому, что Троцкий рассказывает о «чрезвычайной примитивности и отсталости русского хозяйства», то стало бы совершенно исторической загадкой, почему же Россия в форменную колонию не превратилась? Почему этих экономически голых людей европейцы не просто взяли голыми руками, а должны были подчинять себе при помощи сложного аппарата государственного кредита (аппарата, являющегося частью «колониальной системы», см. Маркса), идя тем на риск той неприятности, которая их постигла в октябре 1917 г. и с последствиями которой они не развязались до сих пор? Тут Черных, создавая туземный аппарат «организованного общественного насилия», сыграл «национальную» роль—и недаром, в образе Минина он до сих пор стоит перед Кремлем, самодовольно указуя перстом на свое создание.

Но вопрос о «больше» и «меньше»—это все-таки уже вопрос оттенка. Признав, что давление Запада на Россию было в первую голову давлением экономическим, Троцкий сделал уже большой шаг в направлении к материалистическому объяснению русской истории, далеко уйдя вперед и от Плеханова (у которого в «Истории русской общественной мысли» этим экономическим давлением для древнейшего периода и не пахнет) и даже от того, что он сам писал в «1905». Там на стр. 20-й определенно сказано: «В докапиталистическую эпоху влияние европейского хозяйства на русское было по необходимости ограниченным. Натуральный, следовательно, самодовлеющий характер русского народного хозяйства (!) ограждал его от влияния более высоких форм производства». А «докапиталистическая эпоха» там, для Троцкого, шла до Николая I,—стало быть, ни при Грозном, ни даже при Петре ни о каком экономическом влиянии Запада на Россию не могло быть речи. Дабы избежать лишнего спора, сейчас же оговорюсь: я этих слов Троцкого не процитировал в первой своей статье именно потому, что считаю их обмолвкой. Но автор столь жестоких для меня фельетонов теперь так даже и не обмолвится—вся его концепция совершенно иная.

В наиболее сжатом виде мы находим эту концепцию во втором фельетоне.

«Русский капитализм не развивался от ремесла через мануфактуру к фабрике, потому что европейский капитал сперва в форме торгового, а затем в форме финансового и промышленного навалился на нас в тот период, когда русское ремесло еще не отделилось в массе своей от земледелия. Отсюда—появление у нас новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной первобытности: бельгийский или американский завод, а вокруг—поселки, соломенные и деревянные деревни, ежегодно выгорающие и пр. Самые примитивные начала—и последние европейские концы. Отсюда—огромная роль западноевропейского капитала в русском хозяйстве. Отсюда—политическая слабость русской буржуазии. Отсюда—легкость, с какой мы справились с русской буржуазией».

Вот строки, под которыми я подписываюсь обеими руками. И подписываюсь по той простой причине, что сам я года полтора тому назад написал почти такие же строки, но правда, сделав из них вывод, с которым не знаю, согласится ли Троцкий.

«В самом деле, Россия представляет собой исключительно ценный в методологическом отношении пример быстрого роста капиталистического общества на чрезвычайно примитивной социально-экономической основе. Предрассудок о медленности исторического развития России основан на одностороннем наблюдении над докапиталистическим периодом этого развития. Это совершенно верно, что под влиянием географических главным образом условий рост прибавочного продукта и в связи с этим рост первоначального накопления шел в России с большой медленностью. Но, однажды образовавшись, русский капитализм, опираясь на все достигнутые к этому времени западным капитализмом технические и организационные успехи, шел в семимильных сапогах, с изумительной быстротой творя новые формы экономической жизни и создавая новые идеологии, пока, к началу XX в., Россия не «догнала» Европы в этом отношении окончательно».

«В политической области четкость основных линий процесса ступенчается отчасти сосуществованием, в пределах одной территории и попеременно, двух стадий капиталистического развития—торговой и промышленной... В чисто культурной области та же четкость основных линий нарушается другим сосуществованием—той первобытной основой русского капитализма, о которой говорилось вначале, и развитых форм этого последнего. Курная изба крестья-

нина стоит рядом непосредственно с великолепным образчиком европейской архитектуры в лице помещичьей усадьбы. Грубейшие приемы ремесленной работы, могущие найти себе аналогию только в центральной Африке или Новой Гвинее—рядом с фабрикой, все станки которой приводятся в движение электричеством. Это существование «примитивов» и «последних слов науки и техники» сильно способствовало укреплению предрассудка об «отсталости» и «медленности развития» России сравнительно с западными странами. Дело преподавателя,—пользуясь примерами из жизни колониальных стран, показать учащимся, что это, наоборот, один из признаков катастрофически быстрого развития капиталистической России, не знавшей тех постепенных переходов, которые характерны для старых культурных стран Запада, Англии или Франции например»¹.

Последняя фраза может изумить читателя своим обращением,—спешу разъяснить, что цитаты взяты из объяснительной записки к «Примерным программам по истории для школ II ступени». В неожиданных местах приходится высказывать иногда свои теоретические взгляды... Содержанием же своим эта фраза подводит нас к центральному вопросу всей дискуссии: как была возможна в России пролетарская революция.

Но вопрос этот настолько большой и важный, что дебатировать его на кончике газетного фельетона никак не приходится. Тут мы имеем действительно «общее место» марксизма в применении к русской истории, но наша историческая литература так отравлена антимарксистской кадетчиной, что долбить этим общим местом придется еще долго, как в свое время Чернышевскому приходилось долбить свое бе-а-ба. Это конечно «первые буквы» марксизма, что же однако вы поделаете, если широкая публика даже и их пока не усвоила?

¹ «Примерные программы по истории для школ II ступени», 1920 г. стр. 39—41.

КОНЧАЮ...¹

В наказание за то, что я не дал исчерпывающего ответа на его фельетоны, Троцкий решил мне не отвечать вовсе.

В самом деле, в его последней заметке («Пароход не пароход, а баржа», «Правда» от 7 июля) по существу моего фельетона (в номере от 5-го) нет ни звука, если не считать пары презрительных строк в конце о «цитатах из Маркса, неизвестно зачем приведенных» (! всякому человеку ясно, что в этих цитатах суть моего ответа Троцкому. Или он хочет этим сказать, что он эти цитаты и без моего напоминания великолепно знает? В этом я нимало не сомневался, но не имел права предполагать, что все читатели «Правды» знают Маркса наизусть).

Чтобы показать, что я человек учтивый и приличия понимаю, я готов последовать примеру Троцкого—и по существу его нового фельетона тоже ничего не говорить. Тем более, что и говорить нечего. Когда Троцкий с чрезвычайной обстоятельностью доказывает, что Россия шла не в голове, а в хвосте экономического развития Европы, то я не знаю, с кем он спорит, только не со мной. Когда он уверяет, что его «внеклассовая» схема привела его не только к пониманию, но и к предвидению Октябрьской революции, то это тоже его личное дело. Само по себе ничего нет невероятного, что, исходя из ошибочных предпосылок, люди нечаянно получают объективно ценные результаты: основываясь на ошибочных расчетах Тосканелли, Колумб отправился открывать дорогу в Индию—и открыл Америку. Но, кажется, Колумб не сердился потом на людей, которые доказывали, что Тосканелли был плохой математик. По крайней мере мне нигде не доводилось читать об этом.

¹ Сборник «Марксизм и особенности исторического развития России» 1925 г., стр. 38—39. Впервые статья опубликована в «Правде», № 154 от 13 июля 1922 г.

Как бы то ни было, кончает Троцкий категорическим утверждением, что существования «баржи» (т. е. купеческого капитала Московской России?) он «не только не отрицал, но всемерно выдвигал. Я отрицал только тождество баржи и парохода».

Т. е. Троцкий отрицал, что московское «первоначальное накопление» шло впереди западноевропейского! Но это опять совершенно напрасная растрата энергии. Ни одному человеку никогда не приходило в голову сомневаться, что в Москве не было ни Медичи, ни Фуггеров, и что все петровские «прибыльщики» в подметки не годились одному Кольберу. Важно то, что в Москве аналогичные явления, хотя в более примитивной форме, тоже были,—и что именно ими, а не «натуральным, следовательно, самодовлеющим характером русского народного хозяйства» нужно объяснять такие факты, как «возникновение русского государства» (точнее—«московского самодержавия», ибо Рюрик с братьями нас конечно не интересуют).

Но и в вопросе о «примитивности» Троцкий готов как будто несколько уточнить свою схему и подчеркивает теперь, в своей старой характеристике Московского государства, уже «недостаточную примитивность» сего последнего.

Если все это означает, что мы на пути «к познанию исторической истины»—в добрый час. Я вполне готов «на этом кончить», что касается нашей газетной полемики по крайней мере. Но не зарекаюсь когда-нибудь, не в виде газетного фельетона, а в более «тяжелой» форме, объяснить интересующимся, как возникла та «внеклассовая» схема, которая сыграла в исторической экскурсии Троцкого роль расчетов Тосканелли. Это собственно прямая обязанность русского историка-марксиста. В очень элементарной форме я эту обязанность уже выполнил, и даже дважды (в одном из очерков, помещавшихся в старой «Борьбе» Троцкого, 1914 г. и в дополнительной главе II части «Сжатого очерка»). Но сюжет такой, что им не грешно заняться пристальнее.

ТРОЦКИЗМ И «ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»¹

Года три тому назад студенчество наших коммунистических университетов было в большом волнении. Оно привыкло читать в марксистских руководствах по русской истории, что социально-политическое развитие России шло таким же путем, как и развитие стран Западной Европы; что русское самодержавие было таким же исполнительным комитетом крупных земельных собственников и крупного купеческого капитала, как и западноевропейский абсолютизм XVI—XVIII вв.; что судьбы этого самодержавия определялись в конечном счете развитием русского капитализма—и, стало быть, зависели от «общественного развития России».

И вот вышла книжка Троцкого «1905», где студенты увидели написанным черным по белому, что в России абсолютизм существовал «наперекор общественному развитию», что он превратился у нас в «самодовлеющую организацию, стоящую над обществом»; что он возник вовсе не на основе раннего капитализма эпохи «первоначального накопления», а на «примитивной экономической основе» (которая дальше поясняется как «натуральное» хозяйство «самодовлеющего» характера), и для создания его русское государство «должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений». Словом, все было совсем наоборот тому, что рассказывали русские историки-марксисты. А на естественно возникавший у коммунистических студентов вопрос, на чем же выросло самодержавие, если оно не зависело от общественного развития и обгоняло экономические отношения, на первой же странице можно было

¹ Сборник «Марксизм и особенности исторического развития России» 1925 г., стр. 40—54. Впервые статья опубликована в журнале «Коммунистический интернационал», 1925 г. № 3 (40), стр. 21—35.

прочсть ответ: «При слабом, сравнительно, развитии международной торговли решающую роль играли между государственных военные отношения. Социальное влияние Европы в первую очередь сказывалось через посредство военной техники». Не капитализм толкал вперед развитие русского государства, а, наоборот, русский абсолютизм «ревностно насаждал капитализм» для своих военно-политических целей. «Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя (!) промышленность и технику».

Словом, первая и основная особенность исторического развития России состояла в том, что всюду в мире экономика командовала над политикой, а у нас наоборот.

Согласитесь, что коммунистическим студентам было чему удивиться.

Естественно, что они не без гнева (авторитет Троцкого в 1922 г. был еще велик) обратились к своим профессорам истории. «Что же вы нам рассказываете? Почитайте, что пишет Троцкий: дело совсем не так было!».

Приходилось объяснять и объясняться. Первое, что могло притти в голову, это, что Троцкий, стоя во главе военного дела Советской России в течение ряда лет, невольно переоценил свою «специальность», и военная техника у него оказалась (по крайней мере для России) главной пружиной истории. Но если у кого и были такие мысли, они были рассеяны очень скоро ответом Троцкого на первую же критическую статью по поводу «1905». Оказалось, что «вступительная глава об особенностях исторического развития России появилась впервые на русском языке в моей (Троцкого) книге «Наша революция», вышедшей в 1907 г. в Петербурге (см. стр. 244). Подготовительные работы для этой главы делались мною в течение 1905 г. и затем в течение 1906 г. (в тюрьме). Вызвана она была непосредственно стремлением исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства».

Отсюда читатель, таким образом, узнавал, что теория русского исторического процесса у Троцкого отнюдь не случайна, но была им выработана, как одно из орудий в его борьбе с ленинизмом («лозунг демократического правительства пролетариата и крестьянства»). Теории этой придавалось столь важное значение, что без нее «нельзя и сейчас

понять Октябрьскую революцию, тем более нельзя было предвидеть ее в ее внутренней социальной механике почти два десятилетия тому назад¹.

Итак историческая теория Троцкого есть—это его собственное заявление—одна из основных частей троцкизма, Товарищи догадываются теперь, что заставляет вспоминать академический как будто спор, ведшийся на страницах «Красной нови» и «Правды» почти три года тому назад.

В ответ своему критику Троцкий подробнее развил и обосновал свою теорию—удобнее поэтому излагать ее теперь по этой его статье, под заглавием «Об особенностях исторического развития России», перепечатаваемой в виде особого приложения при всех изданиях «1905», начиная со 2-го.

Если очистить этот ответ от запальчивых выпадов по адресу противника и различных полемических отступлений, суть дела сведется, приблизительно, к следующему:

В основе общественного развития Западной Европы, в эпоху перехода от феодализма к капитализму, стоял город.

«Цеховое ремесло составляло фундамент средневековой городской культуры, которая излучалась и на деревню. Средневековая наука, схоластика, религиозная реформация выросли из ремесленно-цеховой почвы. У нас этого не было. Конечно зачатки, симптомы, признаки можно найти и у нас, но ведь на Западе это было не признаками, а могущественной хозяйственно-культурной формацией с ремесленно-цеховым фундаментом. На этом стоял средневековой европейский город, на этом он рос и вступал в борьбу с церковью и феодалами и протянул против феодалов руку монархии. Этот же город создал технические предпосылки для постоянных армий в виде огнестрельного оружия».

Было ли у нас что-нибудь подобное? «Западноевропейский город был ремесленно-цеховым и торговогильдейским. Наши же города были в первую голову административно-военными, следовательно потребляющими, а не производящими центрами. Ремесленно-цеховой быт Запада сложился на относительно высоком уровне хозяйственного развития, когда все основные процессы обрабатывающей промышленности отделились от земледелия, превратились в самостоя-

¹ Статья «Пароход не пароход, а баржа» в «Правде» 1922 г. от 7 июля; ссылок из «1905» мы не оговариваем.

тельные ремесла, создали свои организации, свое средоточие—город, свой, на первых порах ограниченный (областной, районный), но устойчивый рынок. В основе средневекового европейского города лежала таким образом относительно высокая дифференциация хозяйства, породившая правильные взаимоотношения между центром-городом и его сельскохозяйственной периферией. Наша же хозяйственная отсталость находила свое выражение прежде всего в том, что ремесло, не отделяясь от земледелия, сохраняло форму кустарничества. Тут мы ближе к Индии, чем к Европе, как и средневековые наши города ближе к азиатским, чем к европейским, как и самодержавие наше, стоя между европейским абсолютизмом и азиатской деспотией, многими чертами приближалось к последней».

Не будем останавливаться на параллели Европы и Индии. Я Индии специально не изучал, а изучавшие ее люди рисуют ее несколько иначе, чем представляется она Троцкому. «Индия—страна ремесленного производства», пишет один из них. «Ремесленные изделия Индии некогда пользовались широкой славой и в больших количествах вывозились в Европу, особенно ценились индийские ткани и ювелирные и металлические изделия. Еще в конце XVIII в. Индия по сравнению с Европой являлась промышленной страной, вывозила изделия, а ввозила сырье (главным образом металлы). Но развитие дешевого машинного производства в Англии в короткое время совершенно и бесповоротно убило артистическое ремесло Индии»¹.

Иностранцы, посещавшие Московскую Россию в XVII в., гоже выносили иное представление о русском городе и его населении, нежели то, какое нашел у буржуазных историков Троцкий. Эти иностранцы насчитывали в Москве до 40 000 лавок, правда, очень мелких, чисто ремесленного типа, но это-то и доказывает большую развитость московского ремесла. По описанию Таннера, бывшего в Москве в 1689 г., Москва рисуется городом, сплошь заселенным ремесленниками. Их было очень много в Белгороде—центральной части города, обнесенной белой каменной стеной (отсюда и название), где каждый вывешивал на окне вещь, указывавшую на его ремесло: сапожник вывешивал сапог, портной лоскутки разных материй и т. п. Белгород был впятеро больше Кремля и Китай-города. Но это была, так сказать, ремеслен-

¹ Статья «Индия», К р ж и в и ц к о г о, в словаре Граната, т. XXII, стр. 13, приложения «Социально-экономический обзор Индии». Том вышел во время войны, так что это одно из наиболее свежих справочных пособий.

ная аристократия: мелкие ремесленники жили в «Скородоме»—предместье Москвы,—огражденном деревянной оградой. Тут же были базары, на которых можно было купить что угодно,—до готового платья и готовых домов включительно. Но особенно славились московские ювелирные изделия и кожаные вещи; по этому поводу мы находим у различных путешественников XVII в. самые разнообразные комплименты, и например знаменитый Олеарий, бывший в Москве в 1634—1636 гг., снисходительно соглашается, что московские ювелиры работают не хуже немецких,—что он объясняет «обезьяньими» способностями москвитян. Объяснение, которое не устраняет факта. Кстати сказать, ювелиры («серебряники») были организованы в Москве цеховым образом и работали под надзором своих «старост». Другим московским цехом были иконописцы; у них существовала даже «образцовая работа» (*chef d'oeuvre*).

И московский город как исключительно потребительский центр тоже выдуман русскими буржуазными историками—это им было нужно для подкрепления их концепции, как увидим дальше. На самом деле Новгород и Псков уже в XIV—XV вв., Москва, Вологда, Нижний Новгород в XVI и XVII вв. были крупными торговыми центрами. Кишевшая в этих центрах буржуазия имела и политическое значение и сыграла роль как раз в деле борьбы с феодалами. Начиная свой террор против боярства, Иван Грозный обратился с воззванием к московским «гостям» (крупные оптовые торговцы), купцам (лавочники) и «всему православному христианству города Москвы», т. е. к тем самым московским ремесленникам, о которых сейчас говорилось. В начале следующего XVII столетия эти купцы и ремесленники—«сапожники и пирожники», как презрительно отзывается один иностранец,—возвели на престол Василия Шуйского. Мелкими торговцами и ремесленниками были и те стрельцы, с восстанием которых боролся Петр I.

Словом, в этом резком противопоставлении русского и западноевропейского города у Троицкого чрезвычайное преувеличение и «упрощенство». Конечно Москва XVI—XVII вв. не была похожа на Флоренцию или Антверпен (хотя и была «немного больше Лондона», по словам английского путешественника XVI в. Флетчера),—но тип старорусского города был тот же, что и средневекового города Западной Европы. Этот тип у нас не достиг такого пышного расцвета, как на Западе. Почему? Потому что торговый капитал, сложившийся в России позднее, чем на Западе, но развившийся

быстрее, задушил наше городское ремесло еще в пеленках, превратив его в систему домашнего производства, начиная уже с XVII в.¹

Но откуда мог у нас взяться торговый капитализм, когда у нас не было города? Перед этим вопросом не мог не остановиться и Троицкий. И объяснение, которое он дает, столь замечательно, что на нем стоит остановиться на минуту. Троицкий не только развитие русского абсолютизма, но и появление русского капитализма выводит из тех же «примитивности» и «отсталости». Большой, по крайней мере, в пространственном отношении, размах русской торговли в XVI столетии... «объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства... При безграничности наших пространств и редкости населения (кажись, тоже достаточно объективный признак отсталости?) обмен продуктами предполагал посредническую роль торгового капитала самого широкого размаха».

По этой теории центрами мирового торгового капитализма должны были бы стать Исландия, где на 40 000 англ. квадр. миль пространства имеется менее 100 тысяч душ населения (2,4 человека на квадратную милю),—а еще лучше Гренландия, где на 47 тыс. квадр. миль населения всего 14 000 душ. Вполне естественно, что теория роста капитализма «на пустом месте» не удовлетворяет самого Троицкого, и он спешит перейти к влиянию западного капитала, который «толкал вперед торговый оборот у нас». А так как случаев такого «толкания» для древнейшего периода Троицкий привести не может (случаи были,—но характерно, что они шли в убыток и в отсутствие прогрессии: в XVI в. заграничный капитал был у нас более влиятелен, чем в XVII в.), то в конце концов остается «вернуться в исходное положение», воззвав к всемогущему, выросшему тоже на пустом месте, абсолютизму. Это ему было суждено стать «историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России». И это уже он, а не возникший из ничего торговый капитал, должен был «бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью». Словом, «даже на примере бессистемной и варварской

¹ Это можно видеть на примере знаменитой «русской кожи», репутация которой считает уже более 200 лет существования. В 1650-х годах ее вывозилось за границу на 5 миллионов теперешних золотых рублей, причем кожа для обработки привозилась из Польши и с Украины. Это было уже чисто капиталистическое предпринимательство.

деятельности русского самодержавия» можно убедиться, «какую огромную роль может играть государственная власть в чисто хозяйственной области, когда она в общем работает в направлении исторического развития». «...Самодержавие с помощью европейской техники и европейского капитала превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок».

Не будем останавливаться на «упрощениях» и в этой характеристике. Предпринимательство государства в дореволюционную эпоху сводилось к нескольким казенным заводам, которые не давали барыша, т. е. не были капиталистическими предприятиями. Никакой железнодорожной государственной монополии до революции не было—почти треть железных дорог (20 тыс. верст из 64 тысяч всей сети) была в частных руках; от винной монополии царизм отказался сам за три года до своего падения—отказался в угоду туземной буржуазии, которую нужно было вознаградить за временное закрытие границ и удорожание средств производства расширением внутреннего рынка, что конечно о могуществе абсолютизма по отношению к частному капиталу не свидетельствует.

Не будем останавливаться на всем этом—возьмем схему, как она есть. Не найдя в русской истории города индустриального, ремесленного и цехового, который представляется Троцкому необходимой ступенькой к «естественному развитию капитализма»,—он должен был обратиться к «сверхестественному» способу развития этого последнего, через абсолютизм.

Тут характерны 2 момента:

1) роль города во всей системе; все идет из этого центра; если города нет или он слаб, получается пустота, которую во что бы то ни стало необходимо заполнить;

2) для заполнения найденной пустоты служит государство, причем учение о всемогущем государстве, творце капитализма, принимается с чрезвычайной легкостью.

Оба момента характерны потому, что они вскрывают перед нами социальную основу всей системы. Не социальную основу русского исторического процесса, но социальную основу исторической теории троцкизма.

Действительно ли западноевропейский капитализм шел из города? Пусть читатель не беспокоится—я не собираюсь производить длинных исторических изысканий. Я хочу напомнить только, как смотрели на это Маркс и марксисты.

«Пролог переворота, создавшего основу для капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV и первые десятилетия XVI столетия. Масса поставленных вне общества пролетариев была выброшена на рабочий рынок, благодаря уничтожению феодальных дружин, которые, по справедливому замечанию сэра Джемса Стюарта, «везде бесполезно переполняли дома и дворы». Правда, королевская власть, будучи сама продуктом буржуазного развития, в своем стремлении к абсолютизму насильственно ускоряла разложение этих дружин, однако она отнюдь не была его единственной причиной. Сами крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создавали несомненно более многочисленный пролетариат, узурпировав (присвоив вопреки праву) общинные земли и согнав крестьян с занимаемых ими участков, на которые крестьяне имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы»¹.

Где тут город, ремесленники, цехи? Их нет. Есть король—«создание буржуазии»—и феодалы. Но здесь еще роль последних чисто отрицательная—они только расчищают почву под капитализм.

Послушаем еще одного автора, который в этом своем произведении был еще марксистом. Он говорит о положительной роли крупного землевладения в деле развития капитализма. «Величайшей дееспособностью» «в начале капиталистического развития» обладает по этому автору крупное землевладение. «Последнее непосредственно заинтересовано в промышленном развитии. Оно должно продавать свои продукты,—и капитализм создает для него большой внутренний рынок и открывает возможность развития таких сельскохозяйственных отраслей промышленности, как винокурение, пивоварение, фабрикация крахмала и сахара и т. д. Такая заинтересованность крупного землевладения имеет крупное значение для развития капитализма: обеспечивает последнему на ранней стадии его развития поддержку крупного землевладения, а вместе с тем и государственной власти. Политика меркантилизма и выдвигалась всегда помещьем, продуктом капиталистического хозяйства»².

¹ К. Маркс, «Капитал», т. I, перев. Степанова, стр. 708—709. Разрядка моя—М. П.

² Гильфердинг, Финансовый капитал, стр. 404 русского текста. Разрядка моя—М. П.

Остается прибавить, что в истории меркантилизма, т. е. политики торгового капитала, русское развитие необычайно точно следовало этой схеме. От крупных землевладельцев XVI в., бывших пайщиками английской компании, с Борисом Годуновым—правителем государства, фактическим царем при Федоре Ивановиче, через Строгановых, богатейших вотчинников, владевших соляными варницами и торговавших пушниной в XVII в., и «птенцов Петра», в роде Меншикова, владельца десятков тысяч крепостных крестьян, нескольких фабрик и рыбных ловель на Белом море в начале XVIII в., до длинной вереницы князей-фабрикантов и заводчиков второй половины того же века идет этот союз крупного имения и крупного капитала, столь характерный для «первых ступеней капиталистического развития». Если бы Гильфердинг изучал русскую историю, он не мог бы дать более четкой картины. Но по всей вероятности он не знал ни одного из приведенных сейчас фактов. Т и п р а з в и т и я был и тут один и тот же—помещик-предприниматель всего менее принадлежит к «особенностям исторического развития России».

Но одну из особенностей исторической теории Троцкого здесь нельзя не заметить: он систематически игнорирует все, что выходит за пределы города. Без города для Троцкого нет капитализма. Вот почему весьма поучительно обратиться еще раз к Марксу и посмотреть, как он понимал соотношение города и деревни в процессе «первоначального накопления».

«Хотя первые зачатки капиталистического производства имели место уже в XIV и XV столетиях в отдельных городах по Средиземному морю, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию. Она открывается там, где уже давно уничтожено крепостное право и уже значительно увял наиболее яркий цветок средневековья—свободные города.

В истории первоначального накопления громадное значение имели все перевороты, которые так или иначе послужили рычагом для возвышения формирующегося класса капиталистов; но особенно важную роль играли те моменты, когда значительные массы людей внезапно и насильственно отрывались от средств существования и выкидывались на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация сельскохозяйственного производителя, обезземеление крестьянина составляет основу всего процесса. Его-то мы и

должны рассмотреть прежде всего. Его история в различных странах имеет различную окраску, пробегает различные фазы в различном порядке и в различные исторические эпохи»¹.

Итак, «основу всего процесса» нужно искать в деревне, а не в городе. Процесс начался именно тогда, когда столь увлекающий Троицкого средневековый город «уже значительно увял». Мы уже видели, что главную роль в процессе играл не город с его обитателями, а феодальный сеньор. Но в разных странах этот последний действует по-разному—Маркс это знал и оговорил. Действительно, выбранный им пример—обезземеление крестьян в Англии—характерен для Западной Европы, но не для Восточной. Здесь дорога шла не через обезземеление крестьян, а через их закабаление². Тут мы имеем действительно «особенность исторического развития», — правда, не одной России, а всей Восточной Европы, включая например и Пруссию. Эта особенность была конечно далеко не безразлична для политическо-го развития соответствующих стран. Необыкновенная интенсивность и долговечность русского самодержавия, так же, как и то, что в Пруссии реальная, а не декоративная, как в Англии, монархия дожила до 1918 г., на год с лишним пережив даже русское самодержавие, объясняются именно интересами этого закабаления. Тут можно бы было говорить о некотором—на правах «разновидности»—своеобразии исторического процесса, но так как этой именно разновидности Троицкий и не заметил, то его теории это ни в малой мере не спасает.

Свою «городскую» теорию Троицкий взял не у Маркса. Вполне ли она однако оригинальна? Кто хорошо помнит «Очерк истории третьего сословия» Ог. Тьерри, классическую книгу французской исторической литературы, тот давно угадал источник. У Тьерри, действительно, все строится на борьбе города с феодалами. Тьерри считается одним из предшественников исторического материализма—одним из самых непоследовательных предшественников, нужно сказать³. Кто бы подумал однако, что французский мелкобур-

¹ К. Маркс, «Капитал», русск. перев. Степанова, т. I, стр. 710—711. Разрядка моя—М. П.

² Об этом крепостном праве «второго издания», которое следует отличать от феодальной зависимости, см. письма Энгельса к Марксу от 15 и 16/XII 1882 г.

³ См. об этом у Плеханова (Бельтова). «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», гл. II.

жуазный историк первой половины XIX в. поможет кому-нибудь понять и даже предвидеть пролетарскую революцию XX столетия? Чего на свете не бывает! А, может быть, он не помог, а помешал понять?

Переходим ко второй «особенности» теории Троцкого—его вере в экономическое могущество государства вообще и российского абсолютизма в частности. Теория эта очень не нова—ее первый набросок относится еще к середине XIX в. В противоположность «городской» теории, носящей отчетливо мелкобуржуазный характер, эта вышла из среды того предпринимательского дворянства, о котором мы говорили выше. К середине XIX в. барщинное хозяйство сделалось решительно невыгодным. Помещик-предприниматель должен был перевести свое имение на чисто капиталистические рельсы. Для этого ему нужен был капитал, и нужен был совсем или отчасти обезземеленный крестьянин, из которого можно было бы сделать батрака. Капитал можно было выжать из крестьян, которые потом, лишенные доброй доли своей земли, оказались бы и готовой рабочей силой, только уже не крепостной, а «свободной».

Эти две идеи—частичного обезземеления крестьян и при этом извлечения из них капитала для сельскохозяйственного предпринимательства—легли в основу столь знаменитой «крестьянской реформы» 1861 г. Государство выступило в качестве посредника—оно авансировало необходимый капитал помещикам, взявшись выколотить его затем из крестьян в качестве выкупа за землю—землю, собственно, крестьянскую, лежавшую под крестьянскими наделами, притом оцененную далеко выше ее стоимости. Уже это должно было очень возвысить роль государства в глазах передовых помещиков, которые добивались реформы. Но это было не все. Вполне можно было предвидеть, что крестьяне не согласятся платить помещикам втридорога за свою собственную крестьянскую землю. Александр II, «царь-освободитель», вполне определенно и предвидел крестьянский бунт, как последствие «освобождения» по помещичьей программе—и принимал соответствующие меры.

Твердая власть была необходима помещикам, как никогда. Самые либеральные из них, еще вчера будировавшие против самодержавия Николая I, всячески славословили его сына. Герцен писал Александру II и его жене дружеские письма. Но Герцен все же был революционер и не мог выражать интересов помещичьего класса, хотя и стоял от него не далеко. Он заботился и о крестьянине, наивно думая, что

Александр II может последнему помочь, а главное, с его пера, по старой привычке, срывались иногда революционные фразы.

Это страшно возмущало «деловых» помещиков, которые больше всего на свете боялись в эту минуту революции. Один из них, владелец имения в Тамбовской губ. и профессор государственного права в московском университете, Борис Чичерин, и выступил против Герцена с резкой статьей, жестоко бичуя его революционную фразу—не за то, что это фраза, а за то, что она революционная.

Одна выдержка из этой статьи даст нам понятие о политической физиономии Б. Чичерина: с этого приходится начинать, ибо у историка, как у всякого человеческого существа, «бытие определяет сознание». «Вспомните еще раз, в какую эпоху мы живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких его недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба, но борьба другого рода, без сильных эффектов, без гневных порывов, борьба обдуманная, осторожная, озаренная мыслью, неуклонно идущая по избранному пути. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать раздражение умов, чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силою страсти, кипением гнева?»

Была нужна «искусная рука» самодержавия, чтобы примирить «враждебные интересы» помещиков и крестьян (Чичерин был настолько умный человек, что не мог не понимать противоположности интересов этих двух классов), а Герцен забавляется революционной фразеологией. Тогда как надо «успокаивать раздражение умов», т. е. помогать помещику и его правительству надуть мужика.

И вот вся русская история начинает представляться Чичерину с точки зрения «искусной руки». Это она, «искусная рука», строила все русское общество. Государство закрепило это общество, когда это было нужно для обороны от врага—оно теперь раскрепощает его, потому что теперь оборона ведется другими средствами.

Вот как при свете этой теории представлялось например закабаление крестьян, о котором мы говорили выше. «Если

Мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы то ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские и крестьяне—отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству».

«Опыты по истории русского права» (вышли в 1858 г.), где были изложены эти взгляды Б. Чичерина, стали настольной книгой ряда русских буржуазных историков, в том числе такого влиятельного, как Ключевский. Теория закреощения и раскреощения стала официальной исторической теорией русских университетов. Все студенты этих университетов приучались смотреть на русское прошлое сквозь призму этой теории—приучались верить, что «искусная рука» самодержавного государства была главным фактором исторического развития России, что в ней все создано самодержавием. Эта точка зрения выдержана в наиболее популярной исторической книжке дореволюционной России—в «Очерках истории русской культуры» П. Милюкова,—книжке, которая оказала сильное влияние на Троцкого.

Но, спросит читатель, почему же эта теория всемогущества государства, возникшая при определенных условиях в эпоху «освобождения» крестьян, оказалась такой живучей и оказала такое влияние на писателей, не имевших ничего общего, казалось бы, с помещичьим классом, как Ключевский? Милюков, когда писал свои «Очерки», в 1890-х годах, был типично мелкобуржуазным демократом (потом он уклонился несколько вправо от этой позиции). Ключевский умер членом кадетской партии. Кроме того теория государства, независимо от общества и командующего последним, была гораздо шире академической науки. Мы ее встречаем в 1894 году у Виктора Чернова, будущего лидера партии с.-р.:

«Россия,—писал он тогда,—по слабому развитию в ней различных сословий и большой силе правительственной власти, есть единственная в своем роде страна, где даже наличный неограниченно-монархический строй мог бы разрешить социальный вопрос перехода от мелкого производства к крупному общественному, игнорируя сословные и классовые поползновения различных привилегированных групп». А еще ранее, в 1870-х годах, мы ее находим у Ткачева, тоже верившего, что «у нас отношение общества к государству прямо противоположно западноевропейскому. У нас не борьба классов обуславливает данный государственный строй, а наоборот, этот строй вызывает к жизни те или другие классы, с их борьбой и антагонизмом»¹. Откуда такая популярность помещицкой по происхождению теории?

Исторических причин было несколько—они подробно мною охарактеризованы в цитированных сейчас статьях. Социальные же корни этой популярности так хорошо схвачены были Лениным еще 30 лет тому назад, что остается только повторить его слова.

«Они,—говорит Ленин о «друзьях народа», т. е. о правых, нереволюционных, народниках 1890-х годов,—орудие реформ видят в органе, выросшем на почве этого современного общества и охраняющем интересы господствующих в нем классов—в государстве. Они прямо считают его всемогущим и стоящим над всякими классами, ожидая от него не только «поддержки» трудящегося, но и создания настоящих, правильных порядков (как мы слышали от г. Кривенко). Понятно впрочем, что от них, как чистейших идеологов мещанства, и ждать нельзя ничего иного. Это ведь одна из основных и характерных черт мещанства, которая, между прочим, и делает его классом реакционным,—что мелкий производитель, разобщенный и изолированный самими условиями производства, привязанный к определенному месту и к определенному эксплуататору, не в состоянии понять классового характера той эксплуатации и того угнетения, от которых он страдает иногда не меньше пролетария, не в состоянии понять, что и государство в буржуазном обществе не может не быть классовым государством. Почему же это, однако, почтеннейшие гг. «друзья народа», до сих пор,—а со времени самой этой освободительной реформы с особенной энергией,—правительство наше «поддерживало, охра-

¹ Излагаю словами Плеханова, соч., т. I, стр. 317. Для всех деталей см. мои статьи в «Вестнике Социалистической академии № 1, 2 и 4 за 1923 г. (см. стр. 167 настоящего сборника—*Ред.*).

няло и создавало» только буржуазию и капитализм? Почему этакая нехорошая деятельность этого абсолютного, якобы над классами стоящего, правительства совпала именно с историческим периодом, характеризующимся во внутренней жизни развитием товарного хозяйства, торговли и промышленности? Почему вы думаете, что эти последние изменения во внутренней жизни являются последующими, а политика правительства—предыдущим, несмотря на то, что первые изменения происходили так глубоко, что правительство даже не замечало их и ставило им бездну препятствий, несмотря на то, что то же «абсолютное» правительство при других условиях внутренней жизни «поддерживало», «охраняло» и «создавало» другой класс»¹

Мелкая буржуазия часто рядится в обноски крупной. Но не годится одевать в эти обноски пролетариат...

Подведем итоги. Историческая теория Троцкого не есть теория Маркса (как, к слову сказать, и теория перманентной революции того же автора). Маркс иначе представлял себе возникновение капитализма—он не забывал деревни, к которой упорно поворачивался спиной, во всех своих теориях, Троцкий.

Сказать, что теория Троцкого не есть теория Маркса, значит наполовину уже определить социальную природу учения об «особенностях исторического развития России». Двух пролетарских концепций быть не может. Если марксова концепция—пролетарская, то значит концепция Троцкого имеет какую-то другую классовую базу. Учение о всемогуществе государства помогает дополнить определение и сделать его исчерпывающим. Историческая теория Троцкого совершенно подтверждает тот приговор, который вынесла партия о троцкизме вообще.

¹ Ленин, «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», изд. 1923 г., стр. 131—132.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ВНЕКЛАССОВАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ¹

I

Раздосадованный неудачным ответом Морица Вирта на книгу Пауля Барта, критиковавшего исторический материализм, семидесятилетний Энгельс обмолвился одной фразой, по существу совершенно верной, но вызвавшей великое шатание умов: «если материальные условия существования являются *primus agens* (основной причиной), это не исключает того, что идеальные области могут опять-таки оказывать на материальные условия существования обратное, но второстепенное влияние».

По существу, повторяем, это совершенно правильно. Энгельс был не только гениальный теоретик, но и великий историк—и его историческое чутье возмущалось тем дубоватым педантизмом, в который впадали тогдашние (1890 г.) неопиты материалистического метода в Германии. Да, конечно «идеальные области» могут оказать колоссальное воздействие на экономику. Возьмите телефон: это научное изобретение, т. е. нечто от «идеальной области». Но кому же придет в голову отрицать огромное экономическое значение телефона, в сотни раз ускорившего всякие деловые сношения, переговоры и т. д.

То же можно повторить по поводу любого изобретения. И то, что верно относительно «идеальной области», назы-

¹ Сборник «Марксизм и особенности исторического развития России», 1925 г., стр. 55—91. Впервые статья опубликована в «Вестнике Соц. академии», 1923 г. № 1 (стр. 40—54), № 2 (стр. 3—17) и № 4 (стр. 13—27)

Эта статья была частично использована М. Н. Покровским в лекциях, читанных им в 1923 г. во II Ком. университете («Борьба классов в русской исторической литературе»—см. стр. 7 настоящего сборника). Несмотря на неизбежные при этом повторения редакция сочла все же необходимым дать текст статьи полностью—*Ред.*

ваемой наукой, правильно и по отношению к другой идеальной области, именуемой политикой. Ватерлооское сражение, манифест 19 февраля, падение кабинета Ллойд-Джорджа,—все это чисто политические события, но было бы смешным педантизмом отрицать экономические последствия, которые они имели или могут иметь. Поражение Франции Англией в 1815 г. означало окончательное крушение той монополии для французских мануфактур на рынках европейского континента, которую пытался осуществить Наполеон своею континентальной блокадой. Экономический факт первостепенной важности,—крестьянская реформа 1861 г. стремилась к увековечению в русской деревне мелкого самостоятельного производителя, полубатрака, полуарендатора, и об экономических последствиях этих стремлений приходится говорить каждому русскому историку-марксисту. Падение Ллойд-Джорджа кладет конец той политике экономического соглашения, при помощи которой английская буржуазия третий год балансирует над пропастью социальной революции. Теперь этой буржуазии кажется, что пора заменить тонкую проволоку, на которой танцевал уэльский волшебник, чем-то более прочным, что могло бы выдержать тяжесть слонов империализма. Но подставит ли английский рабочий покорно свою выю под эту тяжесть? Не оборвется ли и проволока, так что и танцевать будет не на чем? Как бы то ни было, для дальнейшего течения английского промышленного кризиса перемена министерства—факт далеко не безразличный.

Все это так. Но попробуем перевернуть вопрос. А была ли бы какая-нибудь польза от телефона (мы берем старый, проволочный тип) кочевой орде или шайке норманских викингов? Пригодился ли бы он на что-нибудь древнерусскому печищу, где все члены хозяйства живут в одной избе? А главное: можно ли себе представить массовое распространение телефонов в стране, где нет высокоразвитой промышленности? Как только вы поставите все эти вопросы, вам тотчас же станет ясна, прежде всего другого, вся экономическая обусловленность влияния «идеальной области». Величайший математик, заброшенный в страну эскимосов, был бы там самым бесполезным и беспомощным существом—пожалуй более беспомощным, чем эскимос на улице Нью-Йорка. Влияние представляемой им «идеальной области» было бы равно нулю. А вот в современной крупной промышленности без математики, как известно, ни шагу—и не только в чистой технике, но и в экономической теории.

Это во-первых. А во-вторых, и само влияние «идеальных областей» может быть лишь «второстепенным», как опять совершенно правильно отмечает Энгельс. Ватерлоо все-таки не помешало развитию французской промышленности, и к середине XIX в. Франция все же была единственной на континенте Европы соперницей Англии—в некоторых областях соперницей счастливой¹. Как ни старалась крестьянская реформа предупредить проникновение буржуазных отношений в русскую деревню и образование у нас пролетариата, все же крестьянин был в конце концов втянут в рамки капиталистического хозяйства, пролетариат в России образовался и выполнил свою историческую миссию. Не только возникновение явлений «идеальной области» обусловлено экономически (Ватерлоо было бы бессмыслицей без англо-французского экономического соперничества), но их последствия хватают лишь так далеко, как позволяют экономические условия.

Все это неоднократно излагал Энгельс в своих других писаниях. Повторяю, он восставал лишь против историко-материалистического педантизма, который старался отыскать непосредственно экономическое основание для каждой мелочной исторической перемены, доводя свой собственный метод до абсурда и помогая противникам делать его смешным. К сожалению дурное настроение от неудачной критики Морица Вирта у Энгельса не проходило и, приблизительно через месяц (письмо от 21 сентября 1890 г.), он разразился настоящей палинодией, где можно прочесть и упрек «молодым» за то, что они «иногда придавали больше значения экономической стороне, чем следует», и даже фразы, которые при беглом чтении могут быть поняты так, что в деле возвышения Пруссии главную роль играли неэкономические причины.

Можно опасаться, что письмо Энгельса оказало большую услугу противникам марксизма, нежели книга Пауля Барта. Энгельс был сильно разгневан на Морица Вирта, а гнев—плохой советчик. Но было бы минимумом справедливости прилагать к самому Энгельсу и его высказываниям тот метод, которого он требует от исследователя в применении к сложному комплексу исторических явлений. Нельзя выдергивать отдельное письмо или даже отдельные фразы из письма и утверждать: вот как думал Энгельс. Нужно брать все письмо,—а в нем есть не только то, что нами сейчас отмечено,—и всю совокупность писаний Энгельса на эту тему,—а она совершенно исключает всякую возможность

¹ Шелковые и более высокие сорта шерстяных материй.

того толкования «неосторожных» фраз письма, которое склонен был бы дать, повторяем, лишь не очень осторожный читатель. Прошел еще месяц, неудача Морица Вирта успела сгладиться в памяти Энгельса, и он (в письме от 27 октября 1890 г.) дает такую великолепную материалистическую характеристику «эпохи открытий», что читать ее—истинное наслаждение после письма от 21 сентября¹.

На нашу, русскую, беду все это было еще совсем свежо в памяти людей, когда разразился бой экономистов с искровцами. В борьбе с экономистской нелепостью, пытавшейся сотворить нечто вроде английского тред-юнионизма в области самодержавной монархии и делавшей политическую борьбу привилегией буржуазии, оставляя рабочему лишь борьбу из-за пятачка, было агитационно необходимо подчеркнуть самостоятельное значение политической стороны. Было агитационно необходимо, а марксистски совершенно правильно указать на то, что самодержавие есть общий враг и, как помеха экономическому развитию страны, прежде всех—враг пролетариату, бревно на дороге к его лучшему будущему, что соросить это бревно—очередная задача тогдашнего (1900—1903 гг.) текущего момента.

Все это было совершенно правильно, и отсюда никоим образом не следовало, что самодержавие есть какая-то внеклассовая сила, возникшая сама по себе не из условий экономического развития, а каким-то другим непостижимым путем. Не следовало даже в том случае, если бы мы приняли, что самодержавие в начале XX в. было совершенно устаревшей исторической бессмыслицей, вроде того, как дворянские манчестерцы изображали перед 1861 г. крепостное право. На самом деле таким не было, на всем пространстве России и для всех типов помещичьего хозяйства, даже крепостное право; а самодержавие, недурно приспособлявшееся к потребностям капиталистического развития, не было таким ни в какой мере. Будь оно таким, для его низвержения в самом деле было бы достаточно, на крайний

¹ «Открытие Америки было вызвано голодом в золоте, который еще раньше погнал португальцев в Африку, потому что европейская промышленность, так могуче расширившаяся в XIV и XV вв., и соответствовавшая ей торговля требовали орудий обмена, которых Германия—великая страна серебра в 1450—1550 гг.—дать не могла.—Завоевание Индии португальцами, голландцами, англичанами с 1500 по 1600 г. имело целью ввоз из Индии. О вывозе туда ни один человек не думал. И все же как колоссально обратное действие на промышленность этих открытий и завоеваний, вызванных чистое торговыми интересами. Только потребности вывоза в эти страны создали и развили крупную промышленность (в Европе)».

случай, дворцового переворота, вроде задумывавшегося кадетами зимою 1916—1917 гг., и не потребовалось бы двух десятилетий ожесточенной массовой борьбы. Но если бы даже мы стали на эту неисторическую точку зрения самодержавия, как практически ненужного, бессмысленного остатка прошлого,—все-таки для марксиста оставался вопрос: а в те дни, когда оно было нужно и не было бессмыслицей, зачем оно было нужно, каким экономическим потребностям отвечало, каков был его классовый смысл?

Ответ—самодержавие было всегда самостоятельной силой—был бы явно, грубо немарксистским. И от такого рецидива домарксистской идеологии мы были, казалось бы, всецело застрахованы тем, что русский марксизм, в лице Плеханова, задолго до этого начисто ликвидировал подобную идеологию, именно в применении к пониманию русского исторического процесса. Напомним, как иронически излагал Плеханов подобную точку зрения в «Наших разногласиях», говоря специально о Ткачеве.

«Противопоставление России Западу и здесь с успехом разрешает все трудности. На Западе существуют классы, резко разграниченные экономически, сильные и сплоченные политически. Само государство является там результатом классовой борьбы и ее орудием в руках победителей. Поэтому овладеть государственной властью там можно, лишь противопоставивши классу класс, лишь победивши победителей. У нас—не то, у нас отношение общества к государству прямо противоположно западноевропейскому. У нас не борьба классов обуславливает данный государственный строй, а, наоборот, этот строй вызывает к жизни те или другие классы с их борьбой и антагонизмом. Если бы государство решилось изменить свою политику, то лишённые его поддержки высшие классы были бы осуждены на гибель, а народные начала первобытного коллективизма получили бы возможность «дальнейшего здорового развития». Но правительство Романовых не хочет и не может отказаться от своих дворянско-буржуазных традиций, между тем как мы и хотим и можем сделать это, мы одушевлены идеалами экономического равенства и «народоправления». Поэтому долой Романовых и да здравствует наш комитет,—неизменная схема российско-якобинской аргументации, встречается ли она в оригинале, т. е. в «письме к Фридриху Энгельсу», или в «списке», т. е. в статье «Чего нам ждать от революции»¹.

¹ Г. В. Плеханов, Соч т. I, стр. 317.,

Так писал Плеханов в 1884 г., писал, исходя из того классического понимания исторического материализма, которое составляет основу действительного марксистского толкования истории. Но в промежутке между 1884 и 1900 гг. легли широко известные в марксистских кругах высказывания Энгельса, легла борьба с экономистами—и в начале XX столетия ткачевская формулировка вдруг оказалась приемлемой для русских «молодых» (в те дни!) марксистов. И Плеханов с ними уже не спорил так, как некогда с Ткачевым. Учение об «относительной» самостоятельности политического момента стало своего рода догмой. Получилась курьезная спайка между марксизмом и кадетской идеологией в лице Милюкова. У Плеханова хватило мужества из этого идейного сродства вывести практические выводы: он стал проповедывать союз с кадетами.

Сейчас уже нет опасности, покушаясь на «догму», прослыть сторонником «экономизма». Напротив, есть судьба Плеханова, как образчик того, к чему приводит «догма» людей, склонных мыслить последовательно. Ибо Плеханов сделался оборонцем не в 1914 г., это—легенда. Первый том «История русской общественной мысли», вышедший, правда, буквально накануне начала империалистической войны, но резюмировавший все, что передумал автор по поводу исторического развития России за все предшествовавшие годы,—есть философия истории оборончества. Где там классовая борьба? Ее вы не найдете и следа: найдете государство с его потребностью внешней защиты. Есть слабые попытки связать чисто внешним, формальным образом эту потребность государственной обороны непосредственно с развитием народного хозяйства (как раз та ошибка, от которой предостерегал Энгельс!), но тут уже «материализм» и кончается. Дальше никакой разницы с Милюковым нет.

Но мы слишком много делаем чести редактору «Последних новостей», связывая антимакистское понимание русской истории исключительно с его именем. Мы видели, что Плеханов разоблачал ту же теорию в 1884 г., когда Милюков только что окончил университетский курс, как теорию Ткачева, писавшего в 70-х годах—когда Милюков был гимназистом. В то же время мы встречаем ее в 1894 г. под пером автора, который тогда был одинаково далек и от Плеханова и от Милюкова. «Россия,—писал в этом году Виктор Чернов (тогда еще не эсер, а народоправец),—по слабому развитию в ней различных сословий и большой силе правительствен-

ной власти, есть единственная в своем роде страна, где даже наличный неограниченно-монархический строй мог бы разрешить социальный вопрос перехода от мелкого производства к крупному общественному, игнорируя сословные и классовые поползновения различных привилегированных групп»¹.

Жалко, что это приведение к нелепости внеклассовой теории не попало на глаза Плеханову: оно вероятно подействовало бы на него так же, как статья Морица Вирта на Энгельса, и было бы, может статься, поводом к спасительной реакции. Но «груд» Чернова дождался опубликования лишь в 1922 г.... Не будем однако гадать, что было бы: из приведенного ясно, что внеклассовая теория происхождения русского самодержавия и шире и старше того мировоззрения, которое по праву можно охарактеризовать как «кадетское». И если самодержавие не могло свалиться с неба, то не могла упасть оттуда же и названная теория. Показать, в какой объективной обстановке она возникала, какие исторические условия вызвали ее к жизни, каков был ее классовый смысл—обязанность историка-марксиста и в то же время лучший способ ее критики.

Первый, кто свел русскую историю к истории государства, а историю государства—к истории самодержавия (точнее, единодержавия), был Карамзин. Но его идеология, очень точно отразившая политические потребности барщинного имения начала XIX в., потеряла смысл вместе с барщинным хозяйством. Новейшие «государственники» ведут свою родословную поэтому не от Карамзина, но все же от времен, достаточно давних...

Развернем одну книжку, вышедшую в Москве в 1858 г. (даже 19 февраля было еще впереди!); на стр. 227-й автор рассказывает здесь о возникновении в России крепостного права на крестьян. «Если,—говорит он,—мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности: это было государственное

¹ «К истории партии Народного права», Красный архив, т. I, стр. 284.

Тягло, наложенное на всякого, кто бы то ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские и крестьяне—отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству. Служилые люди не были укреплены к местам, ибо служба их была повсеместная. Тяглые же люди, как мы уже видели, считались крепостными и не могли уходить с своих мест. Невозможно было не распространить этого положения и на вотчинных крестьян. Во времена всеобщего укрепления это было бы несправедливым исключением»... «Итак, этот переворот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего быта. Но каким же образом мог он совершиться без сильных потрясений? Только в пословице: «вот тебе, бабушка и Юрьев день»—сохранилось о нем воспоминание в народе. Мы найдем этому объяснение, если взглянем на способы укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом перехода: «а боярам и слугам вольным воля». Но когда уничтожилась удельная система, московские государи стали требовать, чтобы они перестали отъезжать. И вот без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг делались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре, ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как например феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрозненны. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами; их сделали холопами, а они все-таки продолжали отъезжать. Точно так же и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII в. наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписать главным образом этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло наконец верх, потому что на стороне его было право. Оно не делало исключений ни для кого: оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и служили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство

достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 г. оно получило разные права и преимущества как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы и приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается наконец и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны заменяться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая была положена в XVI в., и начинается для России новая пора».

Выписки немного длинны, но как быть: здесь первая формулировка нашей теории, какая имеется в литературе. Тут и сила государства (налагавшего свое тягло «на всякого, кто бы он ни был»), и слабость сословий («были... слишком разрозненны»), и даже первые проблески оборончества («служба необходима для величия России»). Но суть этой зачаточной формы теории не в оборончестве: оно пристало позже и затуманило классовый смысл всей картины. Отцу теории государство было нужно не с оборонческими целями, на другой день Севастополя на эту удочку рыба не ловилась.

Кто был этот отец? Борис Николаевич Чичерин. Имя, которое всякому русскому марксисту должно быть знакомо не хуже, чем имя Жана-Батиста Сэя или Шульце-Делича. Главный литературный противник русского социализма во второй половине XIX столетия—своего рода анти-Чернышевский и анти-Лавров. Правда, его полемика с социалистами читалась мало, зато его исторические и юридические теории пользовались величайшим кредитом и почетом в известных кругах еще в 90-х годах прошлого столетия: я помню, с каким почти благоговением передавал мне около 1892 г. П. И. Новгородцев другую его книжку («Несколько современных вопросов», 1862 г.; предыдущие цитаты взяты из «Опытов по истории русского права»). Для буржуазных

публицистов Чичерин был тогда тем же, чем был для социал-демократов Плеханов.

Эта другая книжка может служить ключом к первой. Она начинается знаменитой полемикой Чичерина с Герценом — полемикой, которая, кстати, относится к тому же самому 1858 г., когда вышли в России «Опыты». Чем вызвано было нападение Чичерина на Герцена? Внешним поводом были споры Чичерина с Герценом в Лондоне, куда Чичерин ездил специально, чтобы образумить издателя «Колокола». Тот в эту минуту был в упоении от своего «влияния» в высших сферах русского общества, писал открытые письма к Александру II и к императрице Марии Александровне, словом, казалось, так мало был похож на революционера, как только можно. Но Чичерину этого было мало. И легко себе представить, с каким, буквально, остолбенением Герцен (Герцен 1858 г., Герцен «Галилеянина», отнюдь не Герцен 1849 г. и «Писем из Франции и Италии») должен был читать такие строки. «Впрочем я забываю, что вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять, как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть, вместо уважения к праву и закону, водворится привычка хвататься за топор,—вы об этом мало тревожитесь... На каждом из нас, на самых незаметных деятелях, лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете,—вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы в праве спросить это у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззваниям к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор, как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу—вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти... Нет, всякий, кому дорога гражданская жизнь, кто желает спокойствия и счастья своему отечеству, будет всеми силами бороться с такими внушениями, и пока у нас есть дыхание в теле, пока есть голос в груди, мы будем проклинать и эти орудия и эти воззвания».

Герцен большевик! Герцен—чуть не Стенька Разин и Пугачев! Герцен (только что написавший императрице письмо,

«теплота» которого умиляла петербургских литераторов едва ли не до Кавелина включительно) «взывает к дикой силе», хочет решать все вопросы топором и палкой! И конечно Герцену уготовано то, что ждет всех большевиков во все времена и у всех народов: «Представьте себе, что в недрах нашего отечества завелось бы несколько «Колоколов», которые бы все в разные голоса стали звонить по вашему примеру, которые бы наперерыв стали бы раздувать пламя, разжигать страсти, взывать к палке и топору для осуществления своих желаний. Что будет правительство делать с таким обществом? К чему может повести разгар общественных страстей, как не к самому жестокому деспотизму? Каждая почти революция представляет этому пример. И точно, если больной вместо того, чтобы спокойно и терпеливо выносить лечение, предается бешеным порывам, растравляет себе раны и хватается за нож, чтобы отрезать страдающий член, с ним нечего больше делать, как связать его по рукам и по ногам».

И заметьте, никому, начиная с самого Герцена, ни на минуту не приходило в голову сомневаться в искренности Чичерина. Лично это был безукоризненно честный человек, вовсе не карьерист и не наемное перо. Что же так его, непочтительно выражаясь, взбудоражило в невиннейшем, на наш взгляд, умеренно либеральном «Колоколе» 1858 г.?

Он это сам объясняет. «Вспомните еще раз, в какую эпоху мы живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких его недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба, но борьба другого рода, без сильных эффектов, без гневных порывов, борьба обдуманная, осторожная, озаренная мыслью, неуклонно идущая по избранному пути. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать раздражение умов, чтобы вернее достигнуть цели. Или, вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силою страсти, кипением гнева?»

Итак, для крестьянской реформы нужна была «искусная» (Чичерину следовало бы прибавить и «крепкая») рука, которая «согласила» бы «враждебные интересы». Достаточно самого общего знакомства с историей 19 февраля, чтобы рас-

шифровать эти дипломатические фразы. О чем шло дело? Об освобождении крестьян? Меньше всего—об этом почти не было споров. Чистые крепостники в высших сферах прималкивали, в низших просто не умели объясняться членораздельно. Для деловой части дворянства, ведшей реформу, вопрос был в том, чтобы заставить крестьян выкупить свою свободу—под видом выкупа земли, притом так, чтобы в руках помещиков остался порядочный капитал, а крестьяне не были обеспечены землей настолько, чтобы не нуждаться в заработках, которые могла дать барская экономия. Словом помещику нужен был «труд и капитал». Получение того и другого было весьма деликатной операцией, требовавшей огромного нажима сверху. Даже Александр II понимал, чем может кончиться, когда крестьяне увидят перед собою свободу «не по их разумению», а «царь-освободитель», не будучи столь ограниченным человеком, как его сын и внук, все же не был и гением. Людям калибра Чичерина дело было еще более ясно: насилие над многомиллионной крестьянской массой могло стоить головы. И в эту минуту Герцен, сидя в «прекрасном далеке», куда тамбовские мужики (Чичерин был тамбовским помещиком) не придут ни в каком случае, находил возможным печатать корреспонденции, где говорилось о топоре и тому подобных ужасах... Одно дело видеть топор, когда им колют дрова, другое дело сознавать, что этот топор может каждую минуту опуститься на вашу шею. Было от чего притти в нервное настроение.

Для того, чтобы реформа «благополучно», с точки зрения помещиков, дошла до конца, нужна была диктатура: всякое нарушение монополии власти в этом деле грозило бесчисленными опасностями. Не понимавший этого Герцен, смотревший на «освобождение крестьян» сентиментально-романтически, был опасен уже своими попытками нарушить монополию. «Вам,—с негодованием писал ему Чичерин,—во что бы то ни стало нужна цель, а каким путем она достигнется—безумным и кровавым или мирным и гражданским,—это для вас вопрос второстепенный». Но в Тамбове это был далеко не такой «второстепенный» вопрос, как в Лондоне. Пером Чичерина водило вовсе не «доктринерство», в котором упрекал его Герцен, а здоровый классовый инстинкт помещика, желавшего реформы— но именно «реформы», т. е. ограбления крестьян, а отнюдь не «падения крепостного права» революционным путем.

Теперь перенесите все эти чаяния и опасения в историческую плоскость. Человек, в данную минуту все строивший

на силе правительственной власти (по его отвлеченной терминологии, на «силе государства»), став историком, должен был для успокоения себя и своего класса искать доказательств этой силы, и слабости «сословий», особенно крестьянства. И, смазав Смутное время, позабыв о разинщине и пугачовщине—о них, кстати, и цензура не позволяла вспоминать—он без труда их находит: крестьян вот закрепили «без сильных потрясений»—стало быть, удастся и «освободить» так же. «Сословия у нас слабы, а власть сильна». К тому же «на стороне государства было (и есть) право». Кто же может ему противиться?

Философия истории тамбовского полукрепостника—вот как в краткой формуле можно определить нашу теорию в зачаточном виде. Но эта формула не исчерпывает всего вопроса: имея только ее, мы не поймем, почему эта теория получила такое огромное распространение и влияние. То и другое ей дали, во-первых, связи с общеевропейскими идейными течениями и, во-вторых, те дальнейшие выводы, которые из нее могла сделать и сделала буржуазия.

II

Если бы теория Чичерина отвечала только интересам известной части русских помещиков перед 1861 г., она потеряла бы интерес одновременно с осуществлением «крестьянской реформы». Между тем, мы встречаем ее и долго спустя. Живущее поколение и знает ее не из Чичерина, а из Ключевского. «В других странах мы знаем государственные порядки, основанные на сочетании сословных прав с сословными обязанностями или на сосредоточении прав в одних сословиях и обязанностей в других. Политический порядок в Московском государстве основан был на разверстке между всеми классами только обязанностей, не соединенных с правами». «Такой своеобразный склад государственного порядка объясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа»...

Эти слова Ключевского¹ сказаны в 1886 г.—почти 30 лет спустя после появления «Очерков» Чичерина. Что-то обеспечило основной идее последних долговечность, далеко большую обычного жизненного срока публицистических мотивов.

¹ Ключевский И., «История сословий», изд. 1918 г., стр. 120—121.

Об одной стороне дела достаточно сказать несколько слов. Всем известно, какое колоссальное значение философия Гегеля приписывала государству. Образование государства было своего рода «экзаменом зрелости» для народа — от исхода этого экзамена зависело, получит ли он звание «исторического». Подчеркнуть особую роль государства в создании России, доказать в ней существование «государственных начал» еще до Петра и при Петре — значило дать ей на этом экзамене высшую отметку. Не беда, что гегелевские идеи в применении к русской истории разрабатывались преимущественно западниками: «западник» ведь вовсе не обозначало «интернационалиста», боже упаси. Западник тоже стремился к «славе и величию России», — только он видел эту славу и величие не в том, в чем видели их славянофилы.

Но гегельянство не было помещичьей философией истории — оно было философией истории буржуазного общества. Именно поэтому оно так высоко ставило государство, силу надклассовую, как ему представлялось, потому что оно, современное государство, было оружием в борьбе буржуазии с феодальными сословиями. Чтобы победить, оно должно было подняться над ними и стать классовым буржуазным, т. е. для буржуазии все-классовым, ибо буржуазия твердо помнила, что в новом обществе она — все. И эту роль государство играло одинаково как во Франции, где оно было созданием революции, так и в Германии, где реформы эпохи наполеоновских войн были тем же тараном, ломающим феодальные перегородки в угоду нарождающемуся капиталу.

Средневековый таран действовал конечно хуже, чем революционная артиллерия, но все же наломал достаточно, чтобы проложить дорогу классовому капиталистическому обществу¹.

И у нас в России крестьянская реформа, хотя и проведенная дворянами и так, как им было нужно, объективно служила интересам промышленного капитала, которому она дала «свободного» рабочего. И нашим гегельянцам казалось.

¹ См. Ф р. М е р и н г, История Германии с конца средних веков, русск. перев. И. Степанова, стр. 93—94. Ср. далее его же характеристику Гегеля на стр. 116: «Идеал правового государства, построенный Гегелем в его «Философии права», было отражением прусского государства 1821 г.». В областях Германии, непосредственно подвергшихся влиянию французского законодательства, как Вестфалия, дело пошло еще гораздо дальше. См. там же, стр. 95.

что государство Александра II—венец творенья. «Толки о представительстве вызваны у нас вовсе не стремлением ограничить самодержавие,—писал Чичерин еще в 1881 г.— В России большинство не ищет ни большей личной свободы, ни гарантии против власти, той общественной свободы, которой у нас пользуется гражданское лицо, совершенно достаточно». А четырем годами раньше самый умный и чуткий из тогдашних буржуазных публицистов России, Кавелин, выражал глубокую уверенность, что в России «всякие ограничения верховной власти, кроме идущих от нее самой, были бы невозможны, и потому, как иллюзия и самообольщение, положительно вредны». «Железная рука» была необходима не только непосредственно для проведения реформы, а и долго спустя—до тех пор., пока буржуазия не почувствовала, что она может стоять на собственных ногах. В России это ощущение явилось у буржуазии только к началу XX столетия.

На тему о бюрократическом абсолютизме, как аппарате развивающегося капитализма, не только торгового капитализма, но и промышленного, на ранних ступенях развития, можно было бы написать очень много. Мы нередко совершенно без разбора усваиваем себе либеральные оценки, идущие вовсе не от настоящей буржуазии, а из среды именно разоряемого победоносно шествующим капитализмом («чумазый идет!») дворянства. На самом деле антагонизм дворянина и чиновника был очень часто замаскированной формой антагонизма землевладения и капитала. Цепь русских министров финансов, от Канкрин до Витте, лучше представляла интересы этого капитала, нежели это могло бы делать какое-нибудь худосочное «совещательное представительство».

Наше финансовое законодательство было такой же реализацией пожеланий промышленных съездов, как законодательство Екатерины II—реализацией пожеланий дворянства в 1760-х годах. И не мудрено, что представители промышленности 1880-х годов находили «сомнительной» пользу от «выборных учреждений» политического характера: от добра добра не ищут¹.

Но анализ «классовой природы» русского бюрократизма отвлек бы нас слишком далеко от нашей темы—от вопроса о причинах живучести теории внеклассового самодержавия. Эти причины следует искать именно в том, что теория была

¹ См. мою «Русскую историю», т. IV, по второму изд., стр. 374—375.

выгодна буржуазии, но выгоды лежали ближайшим образом не в области внутренней, а в области внешней политики. Если реформа 1861 г. дала в теории мотив «закрепощения» и «раскрепощения», то мотив «оборончества» дал ей русско-английский конфликт, развертывавшийся на пространстве полувека, от 1830-х до 1880-х годов.

Экономический смысл этого конфликта¹ заключался в попытках русской мануфактуры прорваться на юг от Черного моря, Кавказского хребта и Каспийского моря в страны передней Азии, где, как еще в 1836 г., находил государственный совет Николая I, «при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброту, так и в цене»... А так как «законными хозяевами» мануфактурного рынка этих стран были уже в те времена англичане, то стремление русского самодержавия «пролагать оружием новые пути для торговли нашей на Востоке» тотчас же встречало отпор со стороны «заграничной расчетливости», в свою очередь стремившейся «заградить пути нам в Азию с той стороны, где иностранцы открыли новый сбыт своих произведений—сбыт, который, как известно, значительно озабочивает ныне Англию и Францию».

Эти последние слова кажутся написанными накануне Крымской войны,—а они взяты из «мнения» государственного совета от 4 февраля 1832 г. Так глубоко в прошлое уходят корни конфликта. Но «Коварный Альбион» нашел целесообразным вынуть из ножен свой собственный меч только однажды, двадцать два года после того, как государственные люди николаевской России констатировали его коварство. И до и после этого события «пролагать вооруженной рукой новые пути» приходилось насчет ближайших мусульманских соседей России, Турции и Персии. То, что для историка является русско-английским конфликтом, для современной публики было русско-персидскими, а главным образом русско-турецкими войнами.

Идеологически это были войны «за закон». «Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству,—писала Екатерина в своем манифесте по поводу первой турецкой войны (1768 г.),—законам магометанским преданная,

¹ Более подробное его изложение мне приходилось давать несколько раз. См. «Русскую историю», т. IV, стр. 29—43 и сборник «Внешняя политика», М. 1919, стр. 154—157.

стремится совокупно ввергать в бездну злоключений в рас-
суждении души и тела христиан, живущих не только в под-
данстве и порабощении их, но и в соседстве уже...». На прак-
тике государственный совет Екатерины находил, что «при
заключении мира, надобно выговорить свободу мореплава-
ния на Черном море, стараться об учреждении порта и кре-
пости». Практические цели двигались все дальше и дальше;
уже в 1829 г. Николай I видел себя в мечтах «владыкой
Константинополя», уже и Николая не было на свете и Кон-
стантинополь собирался брать его сын, Александр II,—а ста-
рая идеология все годилась: война попрежнему велась «за
закон» и попрежнему мотивировалась стремлением освобо-
дить «древностью и благочестием знаменитые народы» от
«ига Порты Оттоманской». Только к характеристике наро-
дов стали теперь прибавлять, что они не только «единовер-
ные», но и единокровные—«братья-славяне». Греки, с «ос-
вобождения» которых началось дело, окончательно вышли
из моды.

Мотив екатерининского манифеста вошел в состав «же-
лезного инвентаря» русской историографии. Для такого
крупного историка, как Соловьев, война «за закон» является
само собой разумеющимся и вполне бесспорным основанием
русской восточной политики с конца XVIII в.

«С начала XVIII в. в отношениях России к Западной
Европе господствуют три вопроса: Шведский, Турецкий или
Восточный и Польский; иногда они соединяются вместе по
два, иногда все три»...

«Другой господствующий вопрос касался берегов дру-
гого моря—Черного, ибо Россия, как известно, родилась на
дороге между двумя морями—Балтийским и Черным. Пер-
вый князь ее является с Балтийского моря и утверждает
в Новгороде, а второй уже утверждает в Киеве и победо-
носно плавает на Черном море».

«Еще до начала русской истории Днепром шла дорога
в Грецию, и потому при первых князьях русских завязалась
тесная связь у Руси с Византией, скрепленная приня-
тием христианства, греческой веры; а по нижнему Дунаю
и дальше на юг—сидели все родные славянские племена,
тем более близкие к русским, что исповедывали ту же гре-
ческую веру. Когда турки взяли Константинополь, порабо-
тили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь
от татар, собиралась около Москвы. Московское государ-
ство оставалось единственным независимым государством
греческой веры; понятно следовательно, что к нему постоян-

но обращены были взоры народов Балканского полуострова...»¹.

Читатель заметил модернизацию мотива при помощи «родных славянских племен». Но Соловьев был слишком крупный ученый, чтобы ограничиться такой газетной корректурой,—и он вводит новый мотив, которому и посчастливилось так у следующего поколения.

«Нестерпимое хищничество орд — Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской—заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самой хищной из орд татарских—с Крымскою, которая находилась под верховной властью султана Турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью, чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков...».

То, что в «Истории падения Польши» было лишь слегка намечено, стало лейтмотивом для всей «философии истории» русского народа после того, как новая турецкая война (1876—1878 гг.) заново отремонтировала идеологию екатерининских манифестов. Подводя итог тридцатилетней работе в своей лебединой песне, статье о «Началах русской земли» (написанной между 1877 и 1879 гг.—последний был годом смерти Соловьева), на борьбе леса и степи он строит весь русский исторический процесс—если не исторический процесс вообще.

«Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или Украина, со стороны Азии. Это украинское положение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю».

«В самой глубокой древности мы видим столкновения между народами, стоящими на разных ступенях развития, и происходившие именно от этого различия. Таковы были издавна противоположность и враждебность двух форм быта—кочевой и оседлой. Западная Европа и южные ее полуострова, бывшие главною сценою древней истории, по свойствам своей природы не представляли никаких удобств для кочевого быта, и потому мы не находим в преданиях этих

¹ «Собрание сочинений» С. М. Соловьева, изд. «Общественной пользы», стр. 3 (из «Истории падения Польши»).

стран известий о нем и о столкновениях между кочевым и оседлым народонаселением. Азия и Африка в своих степях и пустынях давали—и до сих пор дают—возможность народам вести кочевой образ жизни; до сих пор Средняя Азия, области, на-днях вошедшие в состав Русского государства, представляют любопытную картину отношений между кочевым и оседлым народонаселением, наглядно восстанавливающую отношения, которые некогда существовали и в других местах, именно в Восточной Европе, на той обширной, прилежащей к Азии равнине, на которой образовалась русская государственная область...».

«В первых известиях о Восточной России, записанных у Геродота, мы уже встречаемся с отношениями между кочевым и оседлым ее народонаселением. Геродот отличает скифов кочевых и скифов земледельцев и говорит, что первые господствовали над вторыми. Мы не станем решать нерешимого вопроса, принадлежали ли эти два вида геродотовых скифов к одному племени или к разным: для нас важно отношение — кочевые господствуют над оседлыми; для нас важно то, что в известиях летописца о начале русской истории мы находим то же отношение: кочевники или полукошачники хозары, живя на востоке, у Дона и Волги, господствуют над оседлыми племенами славянскими, живущими на западе по Днепру и его притокам»¹

Опустошение оседлого мира, кочевыми степняками настолько гипнотизирует Соловьева, а за ним и других историков, что лучше всего бороться с этой фантазией посредством просто трезвого, реального изображения этих кочующих степняков, которые даже «постоянного жилища оседлого человека» не могут увидеть, чтобы его не сжечь,— столь велика их ненависть к оседлости².

При отравлении историческими мифами самым лучшим противоядием является археология. Дадим поэтому место нескольким строкам из неопубликованного пока отчета ученого, только что (уже в дни Советской России) выкопавшего из-под песков столицу самых грозных «степных хищников», завоевавших Русь в XIII в.—татар. Описание относится к одной из столиц—так называемому «Старому Сарая» (ныне село Селитренное). Другую татарскую столицу—«Новый Сарай» (ныне город Царев) тот же археолог раскопал ранее—о ней мы скажем дальше несколько слов.

¹ Там же, стр. 764, 765.

² Там же, стр. 786.

«Селитренские развалины превосходят по богатству и,— пожалуй, сохранности все, ранее мною изученное. Есть безусловная возможность на пл. в 39 кв. верст указать отдельные районы: центр, торговую часть, предместья, район заводской, шатровый город и громадный некрополь. Район заводской повидимому сохранил богатые следы металлургических, керамических, кирпичных и химических (поташных) заводов—это площадь более 100 дес.; центральный район ныне занят селом—на улицах села видны квадраты фундаментов,—одно древнее зернохранилище, построенное кибиткообразно, еще ныне служит погребом,—сохранился золотоордынский колодец; село окружают дюны, из которых ветры выдувают не только отдельные костяки, но целые стены тюрб некрополя. Благодаря порайонно собранному нами нумизматическому материалу, возможно установить время возникновения, расцвета отдельных районов... мною откопаны всего 6 строений: 1) мастерская (6 комнат), в которой выпиливались изразцовые мозаики,—здесь обнаружены остатки стенописи клеевыми красками, найдены 3 рукака, готовых изразцовых плиток; 2) теккие¹ с прекрасно сохранившимся мозаичным полом; холм, на котором построено теккие, перерезан на значительную глубину сваями с капитальными переборками—это ранее неизвестный способ укрепления песков, применявшийся инженерами Орды; 3) тюрба², стены которой были облицованы дивными голубыми изразцами с тончайшим золотым рисунком; 4 и 5) два жилых дома с канами; 6) горн для обжигания изразцов...».

Думается, этого довольно, чтобы показать, сколь ненавидели оседлость «степные хищники». С этой точки зрения особенно любопытен способ укрепления песков, изобретенный «кочевыми наездниками», поверхностному взгляду представлявшимися столь же подвижными, как сам песок пустыни. И этим примером далеко не исчерпывается техническое превосходство «жителей юрты» над не только «оседлым человеком» Восточной Европы XIII в., но и над современным населением тех мест. Ибо у поволжского крестьянства и поныне нет центрального отопления,—а у татар оно было (китайского образца—это упоминающиеся выше «каны», рудиментарный прототип позднейшего духового отопления). Мы до сих пор только разговариваем об искусствен-

¹ Часовня.

² Надгробный памятник.

ном орошении в тех краях,—а в «Новом Сарая» тот же проф. Баллод нашел остатки целой сложной системы каналов, орошавших бахчи¹

Второй аспект нашей теории—аспект «оборонческий»—оказывается точно таким же отражением не исторической действительности, а текущих политических интересов, как

¹ Эта статья была уже написана, когда проф. Баллод имел любезность доставить мне второй, более подробный отчет о раскопках в районе города Царева. Там наиболее замечательны гидравлические сооружения—их целая сеть. Вот отрывки, касающиеся ее: «Район V, к северу от центра района II, расположен вокруг системы бассейнов, которые питаются водой из громадного водоема на сырту, с которым соединены двумя каналами. Бассейны вырыты на склоне сырта, покатого к югу, их всего—14. Расположены они в четыре ряда или яруса, каждый более южный ниже предыдущего. Бассейнов в первом ряду, считая от сырта 2, во втором—3, в третьем—5, в четвертом—4. Размеры бассейнов: 1-го ряда—75×48 и 72×48 арш., оба глубиною в 6 арш.; 2-го ряда—150×105 арш., 111×30 арш., 450×150 арш.—все глубиною в 6¹/₂ арш.; 3-го ряда—90×36 арш., 90×51 арш., 321×81 арш., 243×171 арш., 150×60 арш.—все глубиною в 6 арш.; 4-го ряда—219×75 арш., 161×99 арш., 165×120 арш., 300×99 арш.—все глубиною до 4¹/₂ арш. Бассейны, разделенные дамбами, сообщались шлюзами. Вообще же, благодаря напору, который получался в итоге падения воды с яруса на ярус,—бассейны являлись не только сборным источником для водоснабжения города, притом позволяющим отпуск любого количества воды, но также движущею силою для тех заводов, которые были устроены около дамб. Крестьянами было здесь найдена половина чугунного приводного колеса, весом около 9 пудов и 2 аршина диаметром».

«Наиболее интересным памятником былой жизни на территории Царева в 6 верстах от города) является плотина, при помощи которой была устроена запруда на Кальгуте, на месте, где река оставляет сырт. Здесь русло реки образует громадный водоем, берега которого сближаются у самой грани степного сырта. Длина плотины по гребню—390 арш., ширина—45 арш., высота—22¹/₂ арш.; на ее западном конце когда-то был шлюз, о котором еще помнят жители Царева, но который был заменен новым в 1911 г., когда предполагалось реставрировать и надсыпать плотину. Ныне плотина на том и другом своем конце разрушена, ибо после упомянутых работ вешние воды смыли новые шлюзы и потоки воды частью подрыли и древние сооружения. Запруда должна была удерживать действительно громадное количество воды, которая через Раковый Ерик и Кальгуту доставлялась в город. Из Кальгуты вода через особые каналы поступала в обводный канал II района и в сеть каналов района VIII. Оставив район II, воды далее попадали в районы III, IV и I; особые системы шлюзов позволяли урегулировать водоснабжение, задерживали воду в районе II или отпускали воду районам III и IV, вместе с теми и первому. В случае недостатка воды из Кальгуты, для дополнительного водоснабжения могла служить система бассейнов района V. Излишек воды возможно было при помощи особых запасных каналов, орошавших район VII (бахч), направить непосредственно в Ахтубу. Совершенство всех гидротехнических сооружений нас буквально поражало; если все это построено при Узбеке или его преемнике Джанибеке, Золотая Орда в эту пору действительно могла гордиться своею столицею и ее инженерами».

и первый аспект—аспект «закрепощения». Никакой борьбы «леса» и «степи» в русской истории не было, потому что «степняки», «Помпеи» которых мы теперь раскапываем, представляли собою не кочевое хозяйство, а торговый капитал Центральной Азии, в области концентрации обмена ровесницы старой Римской империи и ее восточного отпрыска—Византии. Появившись на восточноевропейской равнине в лице хозар еще в IX в., он прочной ногой стал здесь в XIII, оставив в наследство Москве две «Ордынки», Большую и Малую, где еще в 1917 г. гнездились бухарское и хивинское купечество. Теперь это маленький штришок на физиономии торговой Москвы, но штришок, красноречиво говорящий о далеком прошлом, когда, в ответ московским Ордынкам, в «Сараях» выросла русская торговая колония, настолько многочисленная, что ей понадобился особый митрополит. Но об ордынском купеческом капитале и его влиянии на экономическое развитие Московской Руси лучше говорить в иной связи—и более подробно: он этого стоит. Ограничимся нашей темой. Итак, освобождение крестьян вызвало к жизни теорию «закрепощения» и «раскрепощения». Войны с турками во второй половине XIX в. дали повод к возникновению теории «борьбы со степенью». Теперь представьте себе человека, который был одновременно учеником авторов обеих теорий, учеником и Чичерина и Соловьева,—человека, у которого был сильный синтетический ум и яркий художественный талант, но который не любил критики. Ясно, что у него должно было явиться искушение скомбинировать обе теории—и что он умел бы показать свою комбинацию публике в ряде таких ярких образов, которые могли застрять в мозгах ряда поколений, превратиться в своего рода трафарет, прилагавшийся затем и политическими друзьями, и политическими врагами талантливого историка уже без всякой критики.

Этим историком был В. О. Ключевский. Принято говорить о «школе» Ключевского. Если какой-нибудь ученый органически не мог иметь школы, то это именно автор «Боярской Думы», единственный метод которого заключался в том, что в старое время называли «дивинацией». Благодаря своей художественной фантазии, Ключевский по нескольким строкам старой грамоты мог воскресить целую картину, по одному образчику восстановить целую систему отношений. Но научить, как это делается, он мог столь же мало, сколь мало Шаляпин может выучить петь так, как он сам поет. Для этого нужно иметь голос Шаляпина, а для

того нужно было иметь художественное воображение Ключевского. Вот почему этот человек, зажегший интересом к русской истории тысячи молодых голов, сойдя в могилу, не оставил ни одного ученика в настоящем смысле этого слова, т. е. продолжателя его научной работы. Учеников в школьном смысле, т. е. людей, клянувшихся словами учителя, у Ключевского, конечно, многое множество; но еще больше людей клялись и клянутся словами Достоевского—их едва ли можно назвать его продолжателями. Таких учеников, каким был сам Ключевский для Чичерина и Соловьева, у него самого ни одного не нашлось.

И по вполне понятной причине. Те двое были представителями крупных историко-политических концепций, отражавших большие течения современности и шедших в основе от еще более крупной и широкой базы, от философии Гегеля¹. О Ключевском распространяется легенда, будто он был «создателем истинно-научной концепции русской истории», «первый в своем курсе дал схему всей русской истории от древнейших времен и до середины XIX в. на социологической, научно-реалистической основе». Последнее неверно по тому уже одному, что Ключевский-ученый кончается первой половиной XVIII в.: то, что он писал о дальнейшем, относится частью к области литературы, частью к области педагогики, но объективным историческим анализом там и не пахнет. И это чрезвычайно характерно для всего его научного облика: там, где его оставили его руководители—Соловьев дальше Екатерины не пошел в связном изложении, дав лишь довольно слабый фрагмент об Александре I, Чичерин как исследователь остановился еще ранее—Ключевский был совершенно беспомощен. Он мог зарисовывать блестящие характеристики, мог наговорить тысячу острот, мог изложить тоном учебника более или менее общеизвестные факты,—дать схемы он не мог. Для этого нужно было иметь действительно свою концепцию русского исторического процесса, а у Ключевского именно этого и не было. Его понимание этого процесса—это был Чичерин, помноженный на Соловьева, или Соловьев, привитый к Чичерину,—как угодно. Словом, это была теория закрепощения, приспособленная к теории борьбы со степенью.

Рельефнее всего эта гибридизация нашла себе выражение в «Истории сословий»—вообще едва ли не лучшим, по выдержанности, курсе Ключевского (он читал его в 1886 г.).

¹ Соловьев не был присяжным гегельянцем, как Чичерин, но стадию увлечения Гегелем прошел и он. См. его «Записки», стр. 60.

«Своеобразный склад (русского) государственного порядка объясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа, во имя которой политически раздробленные прежде части его соединились под одною властью. Великороссия объединилась под властью московского государя не вследствие завоевания, а под давлением внешних опасностей, грозивших существованию великорусского народа. Московские государи расширяли свою территорию и вооруженной борьбой; но то была борьба с местными правителями, а не с местными обществами. Поразив правителей княжеств или аристократию вольных городов, московские государи не встречали отпора со стороны местных обществ, которые большей частью добровольно и раньше своих правителей тянули к Москве. Итак, политическое объединение Великороссии вызвано было необходимостью борьбы за национальное существование. Эта необходимость мешала установиться самому понятию о сословном праве. В первом периоде нашей истории (киевской—М. П.), когда государственный порядок развился из завоевания, такое понятие установилось легко. Победители старались присвоить себе возможно больше прав, возложив на побежденных возможно больше обязанностей. В Московском государстве, все силы которого направлены были на внешнюю борьбу, усилия законодательства должны были сосредоточиться на том, какое участие принимать в этой борьбе разным классам общества, а не на том, какими правами будет пользоваться каждый класс. Предметом законодательной разработки и стала разверстка тяжестей национальной борьбы, которые налагала эта борьба, а не сословных прав, которые не вели к цели»¹.

Но «национальная оборона» предполагает нацию. Ключевский это понимал—комбинация схем Чичерина и Соловьева дополняется у него его собственными соображениями о национальной роли Московского царства. В заключение своей характеристики «основного факта» русской истории XV в., он заводит речь «об идее национального (курс Ключевского) государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается прежде всего в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия объединилась под

¹ Ключевский, «История сословий», изд. 1918 г., стр. 120—122.

московской властью»¹. Эту «идею народного государства» «рождала объединявшаяся Великороссия»; но Ключевский не ставит пределов «народному государству»; пределы эти «в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа»².

Оговорка очень благоразумная: ибо тексты, которые пытается приводить тут же Ключевский в подтверждение своей «национальной» гипотезы, к Великороссии-то уже ровно никакого отношения не имеют. Эти тексты, взятые из дипломатической переписки Ивана III, развивают ту обычную для своего времени мысль, что московский великий князь есть вотчик всей Русской земли: но образчики этой «вотчины», здесь упоминаемые—Киев, Смоленск и поводы для самой переписки—переход на московскую сторону черниговских князей—ясно показывают, что московская дипломатия отправлялась не от великорусского национализма. Что в Смоленске «Белая Русь», а в Киеве—«Малая», это в Москве очень хорошо знали и помнили: но в эти дни там еще лучше знали и помнили, что московский великий князь прямой потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, когда-то державшего всю Русскую землю. Что национальность тут была ровно не при чем убедительнее всего свидетельствуется именно этой генеалогией, на которую так напирает в те годы как раз распространявшееся «Сказание о князьях Владимирских». В Мономахе больше всего ценили греческую кровь его деда, императора восточной Римской империи, ибо этой кровью надеялись стать вотчиками всемирного православного царства. Ничего более, чем это последнее, противоположного национальному государству нельзя себе и представить. А в дальнейшем разворачивании византийское происхождение Владимира Мономаха приводило к знаменитой теории, делавшей предком Ивана III не более не менее, как императора Августа³. Основываясь на этой теории, Иван Грозный уверенно заявлял, что он не русский, а немец: и, подражая своему царю, все знатные бояре его времени выводили свой род от какого-нибудь именитого иностранца, якобы во время оно приехавшего служить знаменитейшей в мире династии. А Ключевский из этих людей хочет сделать великорусских патриотов.

¹ Ключевский, «Курс», лекция XXV, изд. 1918 г., т. II, стр. 141.

² Там же, стр. 142.

³ См. об этом мою «Русскую историю», изд. 4-е, т. I, стр. 175.

И тут опять корни исторической гипотезы гораздо легче найти в современной историку среде, нежели в том прошлом, для объяснения которого гипотеза выдвинута. В 1860-х годах даже Наполеон III распинался в своем уважении к «принципу национальности»—и налицо было два таких факта, как национальное объединение Италии и Германии. Русские вариации на тему об единокровных братьях славянах были лишь запоздалым перепевом того же мотива. «Идея национальности» носилась в воздухе в те годы, когда Ключевский рос как ученый. Труднее было отгородиться от нее, нежели ее усвоить.

Но если логическая подпорка схемы Чичерина-Соловьева сама так плохо держится, лучше ли отвечает фактам сама схема? Этим вопросом стоит заняться подробнее.

III

Как видел читатель, нам с ним пришлось немало потратить времени, чтобы доказать истину, которая для каждого марксиста должна была быть аксиомой: чтобы доказать, что любая историческая теория есть такой же осколок идеологии определенного класса, как и любая теория экономическая или юридическая. Аншлаг «наука» красуется одинаково на всех этих теориях: и нет решительно никакого разумного основания отказывать в праве на «научность» теории Бем-Баверка, раз мы признаем такое право за теориями Чичерина или Ключевского. Нет никакого основания, если не считаться с тем фактом, что политическую экономику знает всякий марксист на зубок, а с русской историей, особенно древнейшего периода, многие из нас до сих пор знакомы весьма плохо.

Совершенно естественно, что предвзятая теория надевала своего рода шоры на историка. Буржуазная критика приучила нас к воплям, что «люди в шорах»—это марксисты. Весьма любопытно поэтому слегка заняться здоровьем самого врача и посмотреть, как надетые на его глаза классовые шоры мешали ему видеть факты, которые он отлично знал, которые он сам цитировал в своих произведениях.

Начнем с самого общего факта—борьбы со степью. Примем на минуту, что эта борьба действительно была пружинной, толкавшей вперед развитие Московского государства, и посмотрим, что получается.

Максимум напора степи на русское славянство приходится, без всякого спора, на XI—XIV столетия. Датами тут могут служить 1068 г.—когда Киевская Русь впервые была

разгромлена половцами, и наступление на степь, очень заметное при Владимире и Ярославе, сменилось надолго обороной от степи—с одной стороны, с другой—1382 г., взятие Москвы Тохтамышем, последний случай, когда новая столица северо-восточной Руси побывала в татарских руках: в 1571 г. татарам удалось выжечь московский посад, но против кремлевской артиллерии степная конница оказалась бессильна. На этот промежуток, казалось бы, и должно падать по крайней мере начало московской централизации, по крайней мере начало пресловутого «закрепощения».

Обратимся к Соловьеву. Констатируя, что «северо-восточная европейская Украина, принявшая с половины IX в. название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатами», вот как характеризует он внутреннее состояние этой «Украины» за отмеченный нами период—самый критический период «борьбы со степью».

«В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенчества. Так бывает и в обществах человеческих; одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские, вследствие слабости несложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV в. представляет непрерывные усобицы: «Тогда земля сеялась и росла усобицами; в княжих крамолах век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев; но часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: это мое, а это мое же; и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Встал Киев тугою, а Чернигов напастями; тоска разлилась по русской земле». Русь превратилась в стан воинский; бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно?»¹.

По мнению Соловьева, оно спаслось «нравственными»

¹ Соловьев, «Собрание сочинений», изд. «Общественной пользы», стр. 794. Из статьи «Древняя Россия».

силами, «ибо материальные были бесспорно на стороне Азии». Не будем об этом спорить—для нас важно то, что сам автор теории, объяснивший возникновение московской государственности потребностями национальной обороны от «степных хищников», должен был признать, что на период, когда эта оборона была особенно нужна, когда стране грозила «конечная гибель» от этих хищников, падает максимум децентрализации, максимум разложения, а не сложения сил. Действие борьбы со степью походит таким образом на действие некоторых заражений—малярией например, когда болезнь начинает проявляться лишь долго спустя после момента заражения.

Когда-то боролись со степью, это привило микроб «закрепощения»—и, лет этак через полтора, микроб начал действовать...

Лет через полтора, ибо «закрепощение», т. е. обязательная военная служба помещиков, падает на середину XVI столетия (между 1550 и 1556 гг.)¹. Но защитники теории скажут нам: позвольте однако, ведь на XVI в. приходится все-таки целых два крупных набега татар (крымских) на Москву, 1521 и 1571 гг. Последний составил эпоху: от 1571 г., от «татарского разоренья», вели летосчисление, как впоследствии от 1812 г. Разве этого было недостаточно?

Как раз сравнение с 1812 г. и показывает, что весьма конечно недостаточно: до сих пор никто еще не выставил теории, объясняющей милитаризм Николая I уроками 1812 г. Но примем, что татарские набеги XVI столетия действительно могли сыграть роль в «закрепощении»; из затруднения мы все-таки не выйдем.

Первый большой набег татар имел место в 1521 г. Имело ли после него место закрепощение? От 1539 г. до нас дошла писцовая книга Тверского уезда, перечисляющая тогдашних тверских землевладельцев. Их всего 572; из них великому князю служило только 230 человек; 126 были на службе у крупных землевладельцев (больше всего у тверского архиерея и у князя Микулинского), а 150 человек не служили никому. Общеобязательной военной службы всех землевладельцев великому князю еще не было.

После 1556 г. эта служба была несомненным фактом; но «степная бацилла» и тут дождалась 35 лет, чтобы начать действовать. И так как набег 1571 г. все же хронологически ближе (всего пятнадцать лет против тридцати пяти),

¹ К л ю ч е в с к и й, «Курс», изд. 1918 г., т. II, стр. 273—274.

то остается предположить, не обладала ли бацилла обратным действием, вызывая болезнь до заражения? Степные хищники так коварны...

Конечно, если вспомнить, что на этот период, 1550—1560-е годы, падает расцвет московского империализма XVI в.: в эти годы был захвачен южный конец великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море, началась Ливонская война — если это вспомнить, пожалуй не нужно будет никаких предположений более или менее сверхъестественного характера. Но нужна ли тогда будет и гипотеза «борьбы со степью»?

Так дело обстоит с «закрепощением» благородного русского дворянства. Лучше ли обстоит оно с настоящим, уже безо всяких кавычек, закрепощением сидевших на земле этого дворянства крестьян?

Для того, чтобы связать его с оборонческой теорией, нужно конечно, чтобы закрепощение было актом той государственной власти, которая руководила этой самой обороной. Естественно, что создавшие нашу теорию историки немало потратили труда и времени на то, чтобы отыскать этот акт. Чем кончились их поиски, лучше всего рассказать словами В. О. Ключевского.

«Первым актом, в котором видят указания на прикрепление крестьян к земле как на общую меру, считают указ 24 ноября 1597 г. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказания об общем прикреплении крестьян в конце XVI в. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убежал от землевладельца не раньше пяти лет до 1 сентября (тогдашнего нового года) 1597 г. и землевладелец учинит иск о нём, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возвратить назад, к прежнему землевладельцу, «где кто жил», с семьей и имуществом: «с женой и детьми и со всеми животы».

«Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 г. не вчинил о нем иска, такого крестьянина не возвращать и исков и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ очевидно говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев «не в срок и без отказа», т. е. не в Юрьев день и без законной явки со стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и

возврата беглых временная давность, так сказать обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время. Такая мера, как выяснил смысл указа Сперанский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового в право, а только регулировал судопроизводство о беглых крестьянах. И раньше, даже в XV в., удельные княжеские правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 г. должно было последовать общее законоположение, лишавшее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним Беляев, основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 г.; только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем и Беляев думал, что если не в 1592 г., то не раньше 1592 г. должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 г. сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах. Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того, ни другого указа, ни 1590, ни 1592 г., потому что ни тот ни другой указ не были изданы».

«Итак,—заканчивает Ключевский,—законодательство до конца изучаемого периода (т. е. до конца «Смуты»—*М. П.*) не устанавливало крепостного права. Крестьян казенных и дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действие круговой поруки. Крестьян владельческих оно ни прикрепляло к земле, ни лишало права выхода, т. е. не прикрепляло прямо и безусловно к самим владельцам»¹. Мы не выписываем промежуточных страниц, где Ключевский очень тонко и обстоятельно развивает свою известную теорию об обязательствах крестьянина к помещику, как возникших на почве исключительно гражданских правоотношений безо всякого вмешательства государства. Что теория эта бьет в лицо раз-

¹ Там же, стр. 385—386.

виваемую тем же Ключевским в других лекциях теорию закрепощения, едва ли нужно на этот счет распространяться; историк, т. е. бессознательный марксист, взял здесь у Ключевского верх над буржуазным публицистом. И, как всегда бывает с новой и свежей мыслью, ею стараются объяснить слишком много. Нет сомнения, что прямое вмешательство государства даже и в XVI в. было значительнее, чем изображает Ключевский. Классовое землевладельческое правительство (с 1565 г. отражавшее интересы не только крупнофеодальной верхушки, а всей помещицкой массы) не могло же в борьбе крестьянина и помещика соблюдать нейтралитет. Для XVII в. этого прямого вмешательства не отрицает и сам Ключевский. Но характерно тут то, что, чем дальше от «борьбы со степью», тем это вмешательство смелее и бесцеремоннее. Первые указы, не мифические, а вполне реальные—о крестьянской крепости, появляются на фоне помещицкой реакции после «Смуты», начиная с чрезвычайно характерного указа Шуйского (7 марта 1607 г.), закрепившего результаты разгрома болотниковского восстания: поражение крестьянской рати под Котлами и обратное взятие царскими войсками Коломенского имели место за три месяца до указа; в момент его издания правительство боярско-купеческой реакции всюду уже перешло в наступление, между прочим и на фронте крестьянской политики. «Борьба со степью» была бы, в приложении к этому моменту, чистой иронией—поскольку пришедшие с границ степи казаки представляли собою наиболее боеспособную часть болотниковского ополчения.

А когда степь совсем скрылась за горизонтом русской внешней политики, прочно заменившись финскими болотами, указ Петра 1723 г., совершенно незаметно, мимоходом смешал крестьян в одну кучу с холопами. И, как нарочно, максимума своего географического распространения крепостное право достигло именно в год завоевания русскими Крыма—как бы для того, чтобы окончательно обелить «борьбу со степью» от обвинения в содействии гибели крестьянской свободы. В 1783 г., когда Екатерина распространила крепостное право на Украину, вести борьбу было не с кем—в последнем гнезде «степных хищников» господствовали русские штыки. Но связь между их появлением в Крыму и распространением крестьянской крепости на всю площадь русского чернозема конечно была; Черное море теперь открылось для русской пшеницы, и черноземному помещику, как никогда, нужны были рабочие руки.

Таким образом теорию «закрепощения» с удобством можно разрушать руками ее создателей. Но эти последние дают больше: при их помощи легко устранить и ту, quasi-марксистскую, подпорку, которую пытались подпереть их утлое здание, когда оно явно стало шататься.

Этой подпоркой была «примитивная экономическая основа, на которой будто бы возникло русское самодержавие XVI в. Раз внутреннее экономическое развитие не оправдало, не объясняло той роскошной надстройки, которая воздвигалась над Московской Русью того времени, оставалось опять прибегнуть к внешней политике, как к ключу, отпиравшему все замки. Если бы нам удалось поколебать эту уверенность в «примитивности» московской экономики времен Грозного, исчезла бы надобность ставить самый вопрос. Возникновение московского самодержавия было бы лишено ореола таинственности и чудесности и стало бы столь же тривиальным фактом, как возникновение любого европейского абсолютизма—всюду, в качестве составной части примитивного капиталистического аппарата, истощавшего производительные силы страны, но нигде не вынужденного «обгонять развитие» туземных «экономических отношений».

Фактически пишущему настоящие строки приходилось заниматься этим вопросом много раз в своих исторических работах. В последний раз я привел кое-какие факты в своих заметках по поводу «1905» Троцкого¹. Но факты, приведенные мною, могут быть заподозрены—со стороны их «объективности». Положим, что вероятность такого заподозривания не очень велика—ибо, какие способности у меня ни предполагай, едва ли кому придет в голову утверждать, что я в состоянии выдумать три столетия русской истории, да еще с цитатами, ссылками на документы и т. д. Но все же приятно констатировать, что предрассудок о «примитивной экономической основе» разрушен еще 50 лет тому назад одним из создателей той теории, которую хотят этой «основой» спасти от окончательного провала.

В 1866 г. В. О. Ключевский, тогда еще не знаменитый историк, а скромный—хотя и подававший уже большие надежды—студент Московского университета, выпустил книжку под заглавием «Сказания иностранцев о Московском государстве». Пишущего эту статью тогда еще и на свете не было, так что в деяниях Ключевского он невинен более, не-

¹ См. статьи настоящего сборника: стр. 133 и след. *Ред.*

жели новорожденный младенец. Книжку эту, чисто описательную, не стремящуюся ни к каким обобщениям и тем не менее весьма полезную, переиздал еще предшественник Госиздата, «Литературно-издательский отдел Наркомпроса». На это издание 1918 г. я и буду дальше делать ссылки.

Я возьму у Ключевского показания не моложе шестнадцатого века и постараюсь говорить его подлинными словами.

Характерной особенностью «примитивного» экономического быта является прежде всего чисто деревенский вид страны: где есть крупные городские центры, там не может быть речи о «примитивности». Как с этой стороны обстояло дело в Московском государстве начала XVI в.?

«Иовий говорит, что по выгодному положению своему в самой населенной стране, в середине государства, по своему многолюдству и удобству водяных сообщений Москва есть лучший город в государстве, преимущественно перед другими заслуживает быть его столицей и по мнению многих никогда не потеряет своего первенства. Так думали в XVI в. московские люди и думали справедливо»¹.

Ключевский очень правильно отмечает, что «так думали в XVI в. московские люди». Павел Иовий² писал со слов московского дьяка Герасимова, который был послом Василия III к папе Клименту VII, в 1525 г. В науке объяснение возвышения Москвы ее значением как дорожного узла было высказано впервые Соловьевым и повторено Ключевским. Мы видим, что оба историка XIX в. только повторили в данном случае то, что отлично сознавалось и высказывалось русскими современниками. Для «примитивных» экономически людей это была, нужно сказать, большая дальноркость.

Размеры этого крупнейшего торгового центра Московской Руси вполне соответствовали обычным размерам крупных городов позднего средневековья. Дадим опять слово Ключевскому: «Поссевин приблизительно определяет пространство, которое занимала Москва до сожжения ее татарами (в 1571 г.) в 8.000 или 9.000 шагов. По Флетчеру, она имела тогда до 30 миль в окружности. Этим объясняется, почему Меховский (писавший в 1517 г.—М. П.) говорит, что

¹ К л ю ч е в с к и й, «Сказания», стр. 214.

² Пользуюсь случаем исправить грубую обмолвку «Русской истории с древнейших времен»: Иовий назван там у меня (том 1, стр. 195) «итальянским путешественником». Он никогда не был в России.

Москва вдвое больше Флоренции и Праги, а англичанам, приехавшим в Россию в 1553 г., она показалась с Лондон. Флетчер считает Москву со слободой Наливками (теперешнее Замоскворечье—М. П.) даже больше Лондона»¹.

Замоскворечье носило тогда такое название потому, что в нем существовала тогда свободная продажа спиртных напитков: то была привилегия иностранцам, которые селились преимущественно в этой части города. Это характерно в том отношении, что показывает, куда выходили главные торговые пути тогдашней Московии. Они смотрели на юг и юго-восток: когда, во второй половине века, англичане пробили дорогу на Архангельск, иностранный квартал передвинулся на северо-восток (Немецкая Слобода, теперешнее Лефортово). Что касается размеров Москвы, то ближе всего к реальности вероятно показание Поссевина. Он считал конечно римскими шагами, двойными. Это дает окружность Москвы в те времена от 10 до 12 верст—приблизительная длина теперешней линии бульваров, которые и выросли, как известно, на месте старинных укреплений (отсюда до сих пор сохранившиеся урочища—Мясницкие ворота, Пречистенские ворота и т. п.). Флетчер явно преувеличивает, если даже считать, что он брал не «город» в тогдашнем смысле этого слова, т. е. укрепленную часть, а все поселение, с пригородными слободами и селами. Наиболее реальным представляется показание того же Поссевина и относительно числа жителей: 30.000 человек. Так как это было вскоре после «татарского разорения», то цифра населения Москвы в предшествующее, более нормальное, время должна была подходить к пятидесяти тысячам. Если вспомнить, что в Германии XV в. не было ни одного города, который имел бы более 40 000 жителей, что Лондон того же столетия считал их только 50 000, мы получим приблизительное представление об уровне развития городского центра в Московской Руси около времени Грозного. Это был тот уровень, на котором стояла Западная Европа лет за 100—200 ранее, т. е. как раз в ту эпоху, когда в Западной Европе начали складываться абсолютные монархии, того же примерно типа, как и царство Ивана Грозного.

Москва была самым крупным, но не единственным крупным городским центром тогдашней России: тот же Поссевин считал в Новгороде (сильно тогда уже упавшем) 20 000 жителей, и столько же или немного больше—во Пскове. И тот

¹ К л ю ч е в с к и й, «Сказания», стр. 215.

и другой были бы крупными городами по германскому масштабу предшествующего столетия.

Как существовали эти городские центры? Конечно предположить их на экономическом фоне «натурального» хозяйства нет никакой возможности. Совершенно естественно, что практичные иностранцы даже конца XV столетия без особого удивления находили в Москве обстановку средневекового товарного хозяйства. Но дадим опять слово Ключевскому.

«Москва имела значение преимущественно как центр внутреннего торгового движения. В продолжение всей зимы привозили сюда из окрестных мест дрова, сено, хлеб и другие предметы; в конце ноября окрестные жители убивали своих коров и свиней и во множестве свозили их замороженными в столицу. Рыбу также привозили замороженной и твердой, как камень, что очень дивило иностранцев. Цены этих товаров, свозившихся в Москву, казались иностранцам необыкновенно дешевыми. Барбаро говорит, что говядину продавали не на вес, а по глазомеру; за один марк (marchetto) можно было купить 4 фунта мяса. 70 кур стоили червонец: по словам Иовия, курицу или утку можно было купить за самую мелкую серебряную монету. Во время пребывания Контарини в Москве 10 венецианских стар (30 четвериков) пшеницы стоили червонец; так же дешево продавался и прочий хлеб; три фунта мяса стоили один сольд, 100 кур или 40 уток—один червонец, а самый лучший гусь не более 3 сольдов. Контарини видел на московских рынках много зайцев, но другой дичи почти совсем не было видно. Герберштейн говорит, что мера хлеба продавалась в Москве по 4 и по 6 денег. Можно верить такому обилию припасов на московских рынках и их дешевизне, зная, что Москва была главным средоточием внутреннего торгового движения страны»¹.

Чтобы осмыслить эти показания, нужно дать несколько хронологических справок. Читатель заметил, что при Барбаро в Москве не умели еще вешать мясо. Но знаете ли вы, когда Барбаро был в Москве? В 1436 г., в первой половине пятнадцатого века. Уже тогда в Москве был мясной рынок, достаточно конечно примитивный. Ко времени Контарини, т. е. к 1473 г., ко второй половине того же столетия, продажа съестных припасов сделалась обиходным явлением в Москве, причем особенно характерно, что московский ры-

¹ Там же, стр. 252—253.

нок снабжался и дичью. Даже и лесные промыслы, как охота, были уже втянуты в кругооборот товарного хозяйства.

Эти показания иностранцев дают великолепный комментарий к многочисленным «уставным грамотам». Повод для появления их был всегда один и тот же: необходимость перевести натуральные повинности населения в денежные. Каждая грамота, подробно перечислив, что должно было платить население в натуре, стереотипно добавляла: «а не люб наместнику корм», то за барана—столько-то, за хлеб столько-то, за курицу столько-то и т. д. Барбаро, Контарини и Герберштейн объясняют нам, почему тогдашнему губернатору, «наместнику», могло не понравиться натуральное вознаграждение: с деньгами в кармане тогдашний человек чувствовал себя гораздо свободнее, нежели в условиях натурального хозяйства, которое ветшало день ото дня.

Совершенно естественно, что через сто лет после Контарини, во второй половине XVI в., внутренние торговые сношения Московии рисуются нам как совершенно развившиеся. «Агенты Английской компании писали, что из областей по верхней Волге каждое лето ходило к Астрахани до 500 больших и малых судов за солью и рыбой. Некоторые из этих судов были в пятьсот тонн. По значению в торговле первое место после Волги занимала Северная Двина, поддерживавшая торговые связи отдаленного северного края с внутренними областями государства. В системе Северной Двины также были пункты, важные по внутренней торговле России. Такова была Вологда, о которой один агент английской компании писал, что нет города в России, который не торговал бы с нею. Преобладающими предметами на вологодском рынке были лен, пенька и сало. На значение Вологды как средоточия торгового движения по Северной Двине указывает и другое английское известие, что вологодским купцам принадлежала большая часть насадов и дощаников, плававших по Северной Двине, на которых перевозилась соль от морского берега в Вологду»¹.

К этим показаниям остается только напомнить, что крупнейший корабль английского флота этого времени имел всего 1 500 тонн водоизмещения, чтобы у нас не осталось поводов думать, будто московская речная торговля была так уж «примитивнее» европейской торговли вообще в эту эпоху. Это внутренняя торговля. Но для образования Москов-

¹ Там же, стр. 255.

ского государства еще больше значения имела, разумеется, торговля внешняя.

«Стараясь завязать политические сношения с западноевропейскими государствами,—говорит Ключевский,—московское правительство вместе с тем старалось завести с ними и деятельные торговые сношения. В половине XVI в. открылась торговля с англичанами; шведским купцам, которые во время Герберштейна могли торговать только в Новгороде, дано было право ездить не только в Москву, Казань и Астрахань, но через Россию в Индию и Китай с условием, чтобы и русским купцам позволено было из Швеции отправляться в Любек, Антверпен и Испанию. Иоанн IV долго и упорно добивался гавани на Балтийском море и потратил огромные средства для достижения этой цели. Но если в Москве сознавали важность торговых связей с Западом и для упрочения их добивались приморской гавани, то также ясно понимали выгоды от этого для Москвы и ее соседи, стараясь всеми мерами помешать ей в достижении ее цели»¹.

Таким образом то объяснение внешней политики Ивана Грозного, которое давали марксистские историки, давным давно можно было найти в старой-престарой книжке, написанной еще в 1860-х годах скромным студентом Московского университета. Характерно однако, что мыслям этого студента пришлось дожидаться появления на Руси марксизма, для того, чтобы оплодотворить «ниву Российской истории».

Но будем читать Ключевского дальше. «В одно время с расширением западной торговли Московского государства усиливалась его торговля на Востоке; главным пунктом этой торговли была Астрахань». Здесь мы пропускаем слишком длинный проект одного итальянца—при помощи московских речных путей через Астрахань создать конкуренцию для только что открытого португальцами морского пути в Индию. Любопытно только, что московское правительство заинтересовалось этим проектом в такой степени, что именно он послужил поводом к отправлению в Рим того посольства дьяка Герасимова, о котором говорилось выше и которое снабдило сведениями о Московии Павла Иовия... «Во второй половине XV в. из Москвы ежегодно ходили по Волге в Астрахань суда за солью. По словам Контарини, хан астраханский ежегодно отправлял к великому князю московскому посла за подарками; с этим послом обыкновенно

¹ Там же, стр. 267—268.

отправлялся целый караван татарских купцов с джеддскими тканями, шелком и другими товарами, которые они меняли на меха, седла, мечи и другие им нужные вещи. Вообще Астрахань и в XV в. была для Москвы важным посредствующим рынком в торговле ее с Востоком. Из Дербента ездили в Астрахань купцы с сорочинским пшеном, шелковыми тканями и другими товарами Востока и меняли их там русским купцам на меха и другие предметы, требовавшиеся в Дербенте. В княжение Василия относительно восточной торговли принята была московским правительством мера, имевшая важное значение как для московских, так и для восточных купцов: желая подорвать торговлю враждебной Казани, великий князь велел быть ярмарке в Нижнем и под страхом тяжелого наказания запретил московским купцам ездить на казанскую ярмарку, которая собиралась на Купеческом острове, недалеко от города. Казанцы конечно много потеряли от этой меры, но не менее их потеряла в первое время и Москва, потому что во всех товарах, доставлявшихся Каспийским морем и Волгой из Персии и Армении, оказался на московских рынках большой недостаток, и они очень вздорожали; особенно поднялась в цене волжская рыба»

Взятие Казани в 1552 г.—какой это благодарный мотив в эпопее «борьбы со степью»! А вот оказывается, что этому поэтическому событию предшествовала как нельзя быть более прозаическая таможенная война между «оседлыми земледельцами» и «степными хищниками». Внешняя торговля стала пружиной внешней московской политики задолго до похода Грозного в Ливонию. Московский торговый капитализм приходится опустить на несколько десятилетий глубже,—к чему впрочем рассказы Контарини и Герберштейна, цитированные и здесь и в статье «Красной нови», давно подготовили читателя.

Легенда о «примитивной экономической основе», на которой воздвигалась московская государственность задолго до Романовых, должна быть сдана в архив вместе с легендами о «борьбе со степью» и «закрепощении и раскрепощении»—все три легенды составляют одно неразрывное целое. Московская Русь XVI в. была не примитивнее, по своим экономическим условиям, нежели любая европейская страна позднего средневековья. Но она вступила на стезю капитализма (в те времена только торгового) последней из евро-

¹ Там же, стр. 270—271.

пейских стран. Ей приходилось догонять других, отбивать место на солнце у более счастливых соперников. Это естественно вызывало исключительно сильное напряжение всех экономических возможностей, исключительно яростную, если можно так выразиться, эксплуатацию сил и средств населения. Но это делалось не во имя мифической «национальной самообороны», которой тогдашний капитализм не успел выдумать еще и в теории, а во имя интересов этого самого капитализма. Политический момент и в России, как во всех других странах, никогда не был самодовлеющим: московский абсолютизм не «обгонял» развитие экономических отношений, а был точным их отражением.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ¹

I

О пользе не быть профессором, с некоторыми историческими замечаниями о природе русского самодержавия

Основное качество профессора, как и римского папы,— непогрешимость. Если рука профессора опишетя и вместо «Иван» начертит «диван»—крышка: на долгие месяцы пойдет полемика, доказывающая, что это именно «диван», а не «Иван», вещь, а не лицо. Милюков в своей диссертации о государственном хозяйстве петровской России (превосходной для своего времени книге между прочим) «увлекся» и использовал цифры одной петровской переписи, опорооченные тогда же, в начале XVIII в. Красочные очень были цифры и вели как раз туда, куда нужно было Милюкову. «Ученые друзья» не преминули «осветить этот инцидент в печати». Вы думаете, Милюков признался в своем увлечении? Ничуть не бывало. Стали появляться статья за статьей, и в «Вестнике Европы» и в «Русской мысли», доказывавшие, что с цифрами все обстоит совершенно благополучно, и что если им не верил Петр (умный был человек, даром что Романов), то русские студенты конца XIX в. обязаны им верить безоговорочно. Напечатаны в профессорской книжке— а профессор непогрешим.

Красному профессору, Слепкову², в его рецензии на мои «Очерки по истории революционного движения» («Большевик» № 14, 1924) понесчастливилось открыть Америку, которая на проверку оказалась не марксистской, а троцкист-

¹ Сборник «Марксизм и особенности исторического развития России», 1925 г., стр. 92—131. Впервые статья опубликована в журн. «Под знаменем марксизма» 1925 г., № 4 (стр. 123—141) и № 5—6 (стр. 89—109).

² Впоследствии был разоблачен как буржуазный перерожденец и исключен из партии—*Ред.*

ской. Ему сие было разъяснено («Под знаменем марксизма» № 12, 1924, статья пишущего эти строки). Так как самый вопрос (о социальной природе самодержавия) чрезвычайно элементарен, и политическая география этих мест хорошо всем известна, то по существу дела спорить тут действительно трудно. Представление, будто в России самодержавие было в начале XX в. первым предпринимателем и возглавляло промышленный капитализм, это представление нужно было Троцкому, чтобы обосновать его теорию перманентной революции, и совершенно ни за чем не нужно нам. Наоборот, если бы факт был верен (ниже мы увидим, что и фактически картина не соответствует действительности), он был бы палкой в колесе большевистской концепции русского исторического процесса. Та роль, какую эта концепция отводит в процессе революционной борьбы деревне и крестьянину, совершенно не оправдывалась бы ничем, если бы самодержавие опиралось на промышленный капитал и его возглавляло. Тогда самодержавие мог бы повалить только городской рабочий, и его одного было бы совершенно достаточно.

Все это столь просто и ясно, что, повторяю, спорить не о чем. Что положение Слепкова, когда ему разъяснили, что именно он написал, было трудное—я не думаю отрицать. Лучше было бы, если бы рецензию посмотрел какой-нибудь компетентный товарищ до появления ее в печати. Но что же поделаешь—слово не воробей, вылетит—не поймаешь. По совести говоря, я не могу придумать никакого способа самозащиты для Слепкова, кроме одного: попытаться заново перearгументировать, с фактами в руках, теорию Троцкого—выяснить, что в ней верно, что нет; ибо несомненно, что-то представляется в ней Слепкову верным—«наряду со многим неверным теоретически и политически Троцкий высказывал и многое верное», говорит он в своей последней статье¹.

Когда Слепков это сделает,—посмотрим и поговорим. Пока же перед нами типичное профессорское барахтанье на тему: «диван, а не Иван». «Не угодно ли», говоря словами Слепкова (и это Троцкий раньше вас сказал, Слепков!), полюбоваться на такой пассаж. Спор у нас с ним идет, как помнит читатель, о том, произошло ли к началу XX в. «социальное перерождение помещичьего государства», или это помещичье государство попрежнему было политической

¹ Слепков, Не согласны!—«Большевик» № 5—6 (21—22), 1925 г.

организацией старых, допромышленных форм капитализма. И вот Слепков с торжеством приводит такую цитату из одной моей статьи.

«Трудно найти лучший образчик исторической диалектики. Помещичье имение вызывает к жизни железную дорогу, чтобы добраться до наиболее выгодного широкого европейского рынка; железная дорога родит металлургию, металлургия создает наиболее революционный отряд пролетариата, хоронящий прадеда всей системы—помещичье имение»¹.

Что же из этого следует? Что я признаю диалектичность исторического процесса? Да когда же я ее отрицал? И какое отношение цитата имеет к нашему спору? Ведь речь идет о социальном перерождении помещичьего государства. Что же, разве это помещичье государство, во главе пролетариата, похоронило помещичье имение? Разве это Николай, во главе рабочих-металлистов, совершил Октябрьскую революцию? И где тут тень моего «согласия с Троцким», о котором (согласии) говорится на следующей странице статьи Слепкова? Разве это Троцкий выдумал, что пролетариат был гегемоном русской революции? Это было одним из основных положений большевистской концепции еще в те годы, когда Троцкий ничего общего с большевиками не имел.

Но это еще цветочки—ягодки впереди. Дальше идет цитата уже из т. Ленина, по поводу Временного правительства марта 1917 г.

«Это правительство не случайное собрание лиц. Это представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса капиталистических помещиков и буржуазии, который давно правит нашей страной экономически и который как за время революции 1905—1907 гг., так наконец, и притом с особенной быстротой, за время войны 1914—1917 гг. чрезвычайно быстро организовался политически, забирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, съезды разных видов, и думу и военно-промышленный комитет и т. д. Этот новый класс почти совсем был уже у власти к 1917 г.»².

¹ «Правда» от 12/III 1924 г., статья М. Покровского, 12 марта 1917 г.

² Ленин, Соч., т. XIV, часть I, «Первый этап первой революции», стр. 9—10.

Тут уже совсем ничего не поймешь (не в словах Ленина они великолепны и исторически вполне правильны а ничего не поймешь у Слепкова). Что же, эти «капиталистические помещики и буржуазия» были опорой самодержавия, что ли? Ведь перед февралем эти «капиталистические помещики и буржуазия» устраивали заговор против самодержавия, с целью заменить самодержавие парламентской монархией, т. е. типичной политической организацией промышленного капитала. Зачем же это понадобилось промышленному капиталу сбрасывать Николая, коли он и без того представлял именно этот самый промышленный капитал? Ведь эта предварительная организация «капиталистических помещиков и буржуазии» проходила как организация оппозиции против самодержавия. Что же, значит тут «своя своих не познаша», что ли?

Как видите, читатель, объяснение от профессорского бахрахания самое выгодное для Слепкова. Ибо иначе пришлось бы предположить, что обе цитаты рассчитаны на «дурачков», как любил выражаться покойник Ильич,—рассчитаны на то, чтобы напугать читателя словами, в надежде, что до смысла этих слов он не доберется. Второе предположение было бы слишком уже нелестно для Слепкова (нелестно для его ума прежде всего: ведь он же не в пустыне ораторствует, у него собеседники есть, и те могут объяснить даже и «дурачкам», в чем дело, ибо дело до крайности просто).

Лучше, приятнее для автора этих строк и менее обидно для Слепкова предположить, что тут просто спасается профессорское самолюбие. «Диван, а не Иван!». Но в конце концов все-таки Иван—и перед Слепковым в этом вопросе одна альтернатива: или признаться, что нечаянно у него написалось не то, что думалось, или стать новым апологетом исторических теорий Троцкого.

Я не буду останавливаться на ответе Слепкова т. Рубинштейну,—но не могу пройти молча мимо одной особенности этого ответа, его тона. Какое величественное презрение «профессора» к «студенту» (т. Рубинштейн еще не окончил курса Института красной профессуры)! По существу т. Рубинштейн сумеет за себя сам ответить. Обращаю его внимание на то, что в вопросе о купце и помещике кое-чему Слепков от нас с ним научился. Он уже говорит о «торговом дворянстве». Как же это так, Слепков: ведь «купец и помещик играют различную роль в процессе про-

изводства» и их «никак нельзя объединить в одну категорию» («Большевик» № 14, стр. 114—115)? Правда, и в этой, цитированной сейчас, статье Слепков признает, что «помещик был, кроме того, и торговцем». Но тогда почему же весь шум против т. Рубинштейна?

Но оставим профессорские самолюбия и профессорские привычки,—которых очевидно одним прилагательным «красный» не истребить—существительное всегда возьмет верх. Инцидент со Слепковым, должен сказать, не первый—и не самый плохой—образчик того, как эти привычки быстро и легко укореняются. Все это однако интересно лишь как образчик прочности переживаний; а из этих переживаний самое прочное—и гораздо более интересное для нас—то, которое отказывается признавать Слепков, заочневшее почти без перемен до XX столетия, а сложившееся в XVI—XVII вв. русское самодержавие.

Никакие, самые совершенные, методы консервирования не могли бы дать лучшего эффекта. В первой четверти XVI века опальный боярин Берсень-Беклемишев, жалуясь Максиму Греку на «новые порядки», т. е. на зарождавшийся абсолютизм, так их определял: «ныне государь наш, запершись сам третей у постели, всякие дела делает».

Перечитайте теперь переписку 1915—1917 гг. Александры Федоровны с Николаем: разве не буквально так же, «запершись сам третей», Николай, Александра и Распутин «все дела делали»? Четырех веков как будто и не бывало! И как Василий Иванович (отец Грозного, к которому относилась характеристика Берсеня) прогонял сказавшего ему негодное в думе боярина словами: «ступай, смерд, вон, ты мне не надобен!», так Николай II встречал фразой о «бессмысленных мечтаниях» людей, которых он только подозревал, что они хотят сказать что-то, ему не угодное

Быть может, это сохранение методов, не только методов выражаться, но и методов действия, самое характерное изо всего. Прочитайте у Штадена описание методов действия опричнины Ивана Грозного: это—погром¹. Кому бы пришло в голову, что в начале XX в. это будет все еще любимый метод действия абсолютизма в борьбе с противниками? И при этом также пытали, так же вешали. Правда, не сажали на кол и не жарили на сковороде. Но к этому только и сводилась вся «динамика социального содержа-

¹ Генрих Штаден, О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника, М. 1925, изд. Сабашниковых, особ. стр. 143 и сл.

ния» русского абсолютизма. В остальном на протяжении четырех веков он оставался верен себе.

Эту закоренелость политической формы конечно нельзя принять как нечто само собою разумеющееся. Как ни много нехорошего можно сказать об Англии лорда Керзона, но сказать, что Керзон, хотя бы и с некоторым смягчением, воспроизводил методы управления Генриха VIII¹, никак нельзя. В Англии за четыреста лет произошло, действительно, радикальное «перерождение» политической верхушки². А вот у нас, в России, нет.

Шаблонное, банальное, обывательское объяснение этого мы знаем: Россия—отсталая страна, она развивалась крайне медленно, и т. д. и т. д. Теперь, после ряда марксистских работ, исторических или ставших историческими (написанные в конце XIX столетия «Наши разногласия» или «Развитие капитализма в России» теперь такие же исторические книжки, как «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса), мы знаем, что между Россией и Западом в этом резкого расхождения нет. Экономически в новое время Россия развивалась даже быстрее Западной Европы. Крепостное право в Англии ликвидировано в незапамятные времена, во Франции последние его остатки смела революция конца XVIII в., а в России его остатки—и очень почтенные—дожили до XX столетия: и, тем не менее, Россия перед революцией была страной промышленного капитализма, начинавшего переходить в финансовый. По концентрации производства Россия начала XX в. стояла выше Германии (у нас в предприятиях более, чем с 1 000 рабочих было занято 24% всех рабочих, в Германии 8%), а по абсолютным цифрам выше даже Америки (в 1914 г. в предприятиях с 1 000 рабочих и более в России было занято 1 300 тыс. человек, в Соединенных штатах—1 255 тыс., причем на каждое русское предприятие приходилось 2 290 рабочих, а на американское—1 940; но тут конечно нужно иметь в виду американскую механизацию). Господство банкового капитала носило резко выраженные формы: в руках банков у нас было 86% всей добычи нефти, 76,9% всей добычи каменного угля, 85,8% всей металлургии.

По темпу своего роста русская металлургия за последние десятилетия перед войной занимала первое ме-

¹ Английский Иван Грозный XVI столетия.

² Мы говорим конечно о самой Англии, а не о колониях—как и сейчас мы говорили о самой России.

Сто в мире, что видно по следующей таблице выплавки чугуна в млн. т.

Годы	Соединенные штаты	Англия	Германия	Франция	Россия
1890	9,2	7,9	4,6	1,9	0,9
1913	30,9	10,2	19,2	5,2	4,7
1913 г. в % к 1890 г.	336	129	418	273	522

Русская металлургия выросла за 24 года слишком в 5 раз, тогда как даже германская выросла лишь в 4 раза, американская—в $3\frac{1}{2}$. По количеству веретен русская прядильная промышленность уже в 1890 г. занимала первое место на континенте Европы (6 миллионов; Франция—5,04; Германия—5; остальные страны материковой Европы—менее 3; на первом месте шла Англия с 44 миллионами веретен).

Легенду об «отсталости» и «медленном росте» приходится оставить. А политические методы Ивана Грозного остаются на своем месте. И можно понять искушение, в которое впали Троцкий и его последователи: а не произошло ли какого-нибудь «сращения» этих методов с этой бурно развивающейся капиталистической индустрией? Не промышленный ли это капитал в шапке Мономаха расстреливал петербургских рабочих и латышских крестьян, громил кишиневских и одесских евреев и пачками вешал русских студентов за найденный в кармане браунинг?

Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем один документ, вышедший из-под пера одного из самых сознательных слуг самодержавия конца XIX в. Читатель вероятно знает, каких поистине чудовищных размеров достиг русский протекционизм, русские таможенные пошлины в конце XIX века. Я об этом привожу данные в своих «Очерках», ставших предметом критики Слепкова¹. Объяснение, которое я там даю,—изображая эти пошлины, как вещь, исключительно характерную для развития в России империализма,—неверно. Империализм может развиваться как в странах с высокими таможенными тарифами, вроде Соединенных штатов, так и в странах умеренного протекционизма, вроде Германии или Франции, и даже в странах свободной торговли, какова Англия. Но одно остается всецело в силе: без этих чудовищных таможенных пошлин не было бы того бурного роста русской крупной промышленности, о котором говорилось выше.

Казалось бы, русские государственные люди эпохи Але-

¹ «Очерки», стр. 119—120.

ксандра III должны были придавать громадное значение таможенной тарифной политике—ведь на этом держалось все хозяйство, шутка ли! И вот перед нами секретная, не для публики, записка Бунге, бывшего министра финансов при Александре III, человека очень образованного, даже ученого,—он был долгие годы профессором политической экономики в Киеве и умер членом Академии наук. В его записке 137 печатных страниц. На них говорится обо всем, о чем угодно—и о национальной политике, и о еврейском вопросе, и о переобремененности занятиями министров, и об остатках подушной подати в Сибири: и во всем этом винегрете на долю таможенных пошлин приходится пять строчек. Вот они: «Таможенные пошлины требуют серьезного пересмотра: надо упростить систему,—разумнее установить покровительство, сохранив за ними тенденцию для предоставления перевеса отпуска над привозом, для облегчения земледелия и потребления беднейших классов». Немножко меньше, чем дано остаткам подушной подати (ей отведено 10 строк)—раз в 100 меньше, чем уделено еврейскому вопросу... А протекционизм начал расцветать именно в министерство Бунге.

Решительно, евреями министры Александра III интересовались больше, чем таможенными. Несомненно, что отношение к евреям является одной из характерных черт социального содержания данной политической системы. Ни в одном государстве промышленного капитала вы не найдете никаких правоограничений для евреев. Тогда как во всех государствах торгового капитала они были. И вот Бунге твердо стоит на том, что «предоставление евреям права повсеместной оседлости в России в настоящее время (1895 год!) было бы преждевременным». Это для него «не подлежит сомнению». А Бунге из министров Александра III считался либералом, и промышленно-капиталистическая оппозиция, в лице «левых земцев» и их прессы («Русские ведомости», «Вестник Европы»), относилась к нему мягко. О том же, что не только думали, а делали тогда по этому вопросу не либералы, сам Бунге не мог писать без содрогания¹.

Обзор «всеподданнейших» докладных записок русских

¹ См. то, что он говорит об изгнании еврейских ремесленников из Москвы Сергеем Романовым. Мимоходом он выбалтывает кое-что любопытное об отношении «образованного общества» к еврейству. «С разрешением получать высшее образование почти во всех учебных заведениях наравне с христианами евреям по закону сделались доступными все отрасли государственной службы. Если поступление на последнюю было

министров финансов 1880-х годов привел недавно одного молодого исследователя к выводу, что эти министры смотрели на таможенные пошлины только с фискальной точки зрения, видели в них только источник государственных доходов: т. е. что до Витте протекционизма, «покровительственной системы», в России никто сознательно не применял. В такой форме это утверждение конечно не верно—доказательством служат не только цитированные слова Бунге, где прямо говорится о «покровительстве», но и кое-какие письма и слова еще Александра I и Николая I. Но в такую ошибку легко впасть: так мало звучали интересы промышленного капитала в русской финансовой политике последней четверти XIX в.

И из слов Бунге видно, что суть дела для него была не в покровительстве, а в «перевесе отпуска над привозом», т. е. в активном торговом балансе. Если искать непосредственной материальной опоры последних самодержцев, то ею будет именно этот активный баланс. Активный баланс был царем и богом последних десятилетий императорской России. С ним падали и возвышались министры. Когда он ухудшался и грозил стать пассивным, цари ворочались ночью на своей постели, и если ухудшение шло «всерьез и надолго», у них вырывались гневные фразы, что теперь ничего не остается, как взяться за меч. Когда Сазонов доказывал Николаю II, в ноябре 1913 г., необходимость войны с Германией из-за Константинополя, он аргументировал от торгового баланса.

«Согласно объяснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 г., торговый баланс России в 1912 г. был на 100 миллионов менее в сравнении со средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весной последовало также повышение Государственным банком учета на $\frac{1}{2}$ % для трехмесячных векселей. Таким образом временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни стра-

для них затруднено, то лишь потому, что некоторые начальствующие лица не сочувствовали наплыву евреев в администрацию, а университетские коллегии не избирали евреев на места преподавателей»,

ны, лишний раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России?»

А когда война уже была в виду, и Николаю дозарезу нужна формальная гарантия Англии,—продолжавшей играть с последним Романовым в кошки и мышки,—он говорил (в апреле 1914 г.) Бьюкенену: если возобновятся враждебные действия между Грецией и Турцией, турецкое правительство закроет проливы. К этой мере Россия не может остаться равнодушной, так как это подорвало бы одинаково и ее торговлю, и ее престиж. «Чтобы вновь открыть проливы,—сказал Николай,—я прибегну к силе».

На карту было поставлено все—из-за интересов торговли. Троцкий может сколько угодно повторять обо мне, что я струвианец, бюхерианец и т. п.,—с упрямыми историческими фактами я ничего не могу поделаться. Война 1914 г. была для России ближайшим образом торговой войной, и это совершенно сознательно ставилось ее официальными кругами. В записке, представленной Николаю в ноябре 1914 г., на другой день после разрыва с турками, ее автор Базили (он потом сочинял в ставке отречение Николая), повторив знакомую нам аргументацию Сазонова от торгового баланса, заканчивает: «Свобода морского торгового пути из Черного моря в Средиземное и обратно является, таким образом, необходимым условием правильной экономической жизни России и дальнейшего развития ее благосостояния. Примером того, как давно сознается эта истина, могут служить следующие слова, написанные французским публицистом Фавье в 1773 г. «Война России с Турцией является прежде всего торговой войной, ибо для России черноморская торговля имеет столь же важное значение, как для Франции, Испании и Англии торговля американская».

Русский абсолютизм не только объективно был «политически организованным торговым капитализмом», он и мыслил себя как таковой. В последнем он мог ошибаться, скажет читатель: но, во всяком случае, такая закоренелость идеологии (на этот раз от времен Екатерины II до XX в.) не менее характерна, чем закоренелость «формы правления»

и способа выражаться правителей. Посмотрим однако же, были ли у этой веры в свою «торговость» какие-нибудь объективные основания. Для этого нам придется на минуточку заняться божеством последних Романовых, торговым балансом.

Для ясности даем табличку.

Русский торговый баланс, по пятилетиям с 1861 по 1906 г., с 1908 по 1931 г. в млн. руб. (- активный,—пассивный):

1861—1865 г	19,1	1899—1903 г	+ 192,8
1866—1870 »	- 0,4	1904—1908 »	+ 333,7
1871—1875 »	95,1	1909 г.	581,3
1876—1880 »	9,6	1910 »	431,4
1881—1885 »	55,7	1911 »	491,3
1886—1890 »	23,6	1912 »	+ 391,3
1891—1895 »	158,0	1913 »	- 200,4
1896—1900 »	90,8		

Первое, что эти ряды цифр показывают, это, что торговый баланс и внешняя политика последних Романовых не впервые связались в 1914 г. Мы имеем до этого два крупных спуска кривой баланса—в первый раз «ниже нуля» в пятилетие 1871—1875 гг., второй раз почти до нуля в 1896—1900 г. (в наших пятилетних средних этот второй спуск скрадывается: на деле сальдо в пользу России в 1899 г. упало до 7,2 млн. зол. руб.; в то время это многие считали предвестием падения Витте). В первый раз мы вслед за этим имеем русско-турецкую войну 1877—1878 гг.; второй раз после этого начинается подготовка к войне с Японией (1900 г.—завоевание Манчжурии, в 1901 г. Николай впервые заговаривает о возможной войне с Вильгельмом II). Каждый раз падение баланса вызывало пароксизм империалистской лихорадки у Романовых. Конечно было бы непростительным «упрощенством» сводить все к этому. Нигде закон множественности причин не сказывается с такой силой, как в вопросе о возникновении войн. В частности, участие России в войне 1914 г. объясняется гораздо более общими, мировыми причинами, нежели местными¹. Но поскольку в этих войнах был и «национальный» момент, он был связан в первую голову именно с торговлей—с промышленностью—лишь во вторую очередь.

И это прежде всего потому, что и русская промышленность зависела от активного баланса—и, может быть, не меньше, чем Романовы и их казна. Чтобы видеть это, доста-

¹ См. мою статью «Как возникла война 1914 г.» в «Пролетарской революции».

точно беглого взгляда на состав русского ввоза. Возьмем для примера импорт 1913 г., последнего предвоенного¹. В этом году общая цифра привоза достигла 1 220,5 млн. руб. Из них почти половина, 570 миллионов, приходится на промышленное сырье и полуфабрикаты, на машины и металлы не в деле, т. е. материалы для машиностроения,—наконец, на каменный уголь и кокс: почти на половину наш импорт обслуживал промышленность. Быстрый темп развития нашей промышленности нельзя себе представить без этого подвоза средств производства из-за границы. Активное сальдо 1913 г., как мы знаем, не превышало 200 млн. руб. Русской промышленности пришлось приплатить за необходимые вещи 370 млн. рублей. Представьте себе, что это повторялось бы в течение ряда лет, и вы поймете, что этой промышленности пришлось бы сжиматься, пришлось бы урезывать себя,—и скоро от ее роскошного темпа развития ничего бы не осталось, кроме приятных воспоминаний.

Между тем самый батанс от промышленности зависел в весьма ничтожных размерах. Правда, под конец рассматриваемого нами периода Россия вывозила порядочное количество хлопчатобумажных тканей (до 41 млн. руб. по азиатской границе в 1913 г.) и немного рельс (до 7,7 млн. руб. в 1909 г.), но для общего итога это была капля в море. От промышленной конъюнктуры баланс несколько не зависел и даже имел странную тенденцию становиться к ней в обратную пропорцию. Начало 80-х годов отмечено кризисом, а баланс резко повысился. В 90-х годах мы имеем бурный подъем промышленности, а сальдо к концу этого десятилетия резко падает. И самое колоссальное сальдо, неслыханное, почти в 600 млн. руб., падает на 1909 г., последний год длинного промышленного кризиса начала XX столетия. Когда русская промышленность была при последнем издыхании, русская торговля имела более румяные щеки, чем когда бы то ни было.

Эта зависимость нового от старого, промышленного капитала от торгового (что и тот и другой начали уже свое перерождение в финансовый, что и торговля и добрая доля промышленности сосредоточивалась в руках банков, дела не меняет, ибо специфические функции промышленного и торгового капиталов сохраняются и в период финансового

¹ См. «Народное хозяйство в 1913 г.», изд. Министерства финансов» Для всех подробностей отсылаю читателя туда,

капитализма¹, а у нас они имели каждый и свою специфическую базу) объясняет нам основные особенности нашей социально-политической истории этого периода. Только при свете этих фактов становится конкретной истиной фраза первого манифеста РСДРП, что буржуазия, чем далее на восток, тем подлее. Это не было каким-то сверхестественным свойством этой буржуазии. Это вытекало из того материального факта, что промышленная буржуазия у нас должна была еще идти на поводу у торговой. Только эта последняя всецело стояла на своих ногах, первая же зависела не только от иностранного капитала, что все давно и хорошо знают, но и от торгового баланса, что менее известно, причем первая зависимость усиливала вторую: если мы возьмем не торговый, а платежный баланс предвоенной России, т. е. приложим к пассиву проценты по заграничным займам (в 1913 г. почти 200 млн. руб.),—от якобы активного сальдо ничего не остается.

Было более чем достаточно оснований, таким образом, чтобы в России конца XIX в., а с поправками на все возрастающее влияние мирового финансового капитала и в начале XX,—торговый капитал играл первую скрипку, а промышленный—лишь вторую. После 1907 г. это и находило себе политическое выражение в той приниженной, но все же активной роли, которую играла Государственная дума, где имели голос и промышленные капиталисты с обслуживавшей их интеллигенцией. Социально этот компромисс выразился в столыпинском законодательстве, которое подробно рассмотрено в моих «Очерках». Нам более или менее ясно теперь, почему торговый капитал еще и в это время мог играть роль хозяина, а промышленный являлся как бы гостем, притом нельзя даже сказать, чтобы гостем почетным, а таким, которого пускают в комнаты по необходимости, но по уходе его зовут прислугу, чтобы она открыла форточки и изгнала запах неприятного посетителя. Отношение Александры Федоровны к Гучкову является тут очень хорошей иллюстрацией. Но если этого достаточно для объяснения роли Гучкова, то этим еще не объяснишь Распутина. Что позволяло торговому капитализму не только учить и командовать, но и являться в таком дезабилье, о котором ни в одной стране буржуазного мира он и подумать не посмел бы? Почему у нас была не просто бюрократическая

¹ См. Гильфердинг, Финансовый капитал, перев. Степанова, стр. 370.

монархия с фиговым листком кудой конституции, а самый настоящий азиатский деспотизм, введивший наиболее экспансивных наблюдателей в искушение и все историческое развитие России зачислить по азиатскому департаменту? Почему гегемония торгового капитала сохранила у нас до XX в. формы московского самодержавия? На это один анализ торгового баланса ответа еще не дает. Надо прежде всего посмотреть, на чем этот баланс держится.

Торговый капитал сам по себе еще не обладает чудотворной силой творить самодержавие. Опорой абсолютизма он является на определенной ступени экономического развития, в определенной конкретной обстановке. Вывоз сельскохозяйственного сырья для Соединенных штатов конца XIX в., позже для Австрии, Канады, Аргентины играл не меньшую роль, чем для царской России. Но перечисленные страны вывозили продукты капиталистического сельского хозяйства—и хлебный вывоз не мешал им быть странами промышленного капитализма. В русской литературе есть некоторая склонность преувеличивать значение сельскохозяйственного капитализма в России перед революцией. Но даже авторы, этой склонностью страдающие, должны признать, что на 21 млн. десятин пашни, обрабатываемой при помощи наемного труда, в тех же районах Европейской России было 47 млн. дес. крестьянской наделной пашни; даже, если считать всякое хозяйство, пользовавшееся наемным трудом, за капиталистическое, площадь капиталистического земледелия в России начала XX в. составляла всего 30% всей пашни¹. Но нет сомнения, что батраков нанимали и полукапиталистические и лишь на четверть капиталистические хозяйства. С другой стороны, не капиталистическое хозяйство не ограничивалось крестьянской наделной землей: другими его формами являлись отработочная аренда, испольтчина и т. п. По данным другого исследователя (проф. Кондратьева), из всего хлеба, поступавшего в начале XX в. на рынок, внутренний и внешний, 78,4% шло с крестьянских полей и лишь 21,6% давало крупное, капиталистического типа, сельское хозяйство.

Торговый баланс романовской России держался не только на сельскохозяйственной продукции, но и на определенном типе этой продукции, на мелком хозяйстве. И

¹ А. Шестаков, Капитализация сельского хозяйства России стр. 41,

это по той простой причине, что в России не только в 1830 г., когда об этом писал отец Муравьева-Виленского, а и 50 лет спустя отработочный крестьянин—прямой социальный потомок крестьянина барщинного—обходился дешевле наемного работника. Если мы возьмем стоимость всей пищи в год в рублях, с одной стороны, для батрака Орловской губ., с другой—для однолошадного крестьянина соседней Воронежской, то первая цифра будет 40,5, а вторая лишь 27,5¹. Между тем однолошадные и безлошадные крестьяне в черноземной полосе составляли большинство крестьянского населения (для Орловской губ. 56,4, см. Ленина, там же, стр. 77). Главная масса нашей хлебной продукции опиралась не на эксплуатацию сельскохозяйственного пролетария, а на эксплуатацию деревенской бедноты в тесном смысле этого слова, т. е. деревенского паупера. Что этот паупер с 1861 г. был юридически свободен (заплатив за это еще большей пауперизацией), это был конечно шаг к капиталистическому сельскому хозяйству, но только лишь первый шаг. И конъюнктура на хлебном рынке сложилась такая, что для второго шага потребовалась революция 1905 г.

Что после этой революции абсолютизм существовал у нас в качестве факта, а не права, что между 1905 и 1917 гг. у нас юридически был компромиссный, убудочный режим, только с преобладанием торгового капитала, об этом достаточно говорится в моих «Очерках», и повторяться я не буду. Этот компромисс в «Очерках» скорее преувеличен, нежели преуменьшен—и только волчьему аппетиту «теории перманентной революции» могло показаться, что и этого мало. Увы! На самом деле было меньше. На самом деле предвоенная Россия была более страной торгового капитала, нежели изображено у меня в «Очерках».

Прежде всего еще один факт из чисто экономической области. Один из цитированных выше авторов, проф. Кондратьев, приводит любопытную табличку ссуд под хлеб, выдававшихся Государственным банком в 1910—1913 гг. Из этой таблички следует, что на 57,4 млн. руб. ссуды, выданной сельским хозяйствам, т. е. главным образом помещикам—за эти годы пришлось 135,3 млн. руб. ссуды, выданной хлебным торговцам: купец более чем в два раза

¹ Ленин, Соч., т. III, стр. 126.

пожалован был щедротами царского Государственного банка сравнительно с дворянином. И это, не считая 263,5 млн. р. ссуды, выданной тем же банком под дубликаты накладных, т. е. опять-таки тем же купцам¹. Настолько торговый капитал, выкоптачивавший хлеб из мелкого производителя, пользовался большим вниманием правительства Николая II, чем крупный сельский хозяин-предприниматель.

Но для того, чтобы выполнять свою функцию выкачивания прибавочного продукта из мелкого производителя, торговому капиталу мало было непосредственно торгового аппарата. Во всех странах и во все времена он прибегал для этой цели, в широчайших размерах, к внеэкономическому принуждению. Сохранение остатков внеэкономического принуждения в деревне составляет, быть может, характернейшую черту русского абсолютизма начала XX в. Как и антисемитизм, если даже не больше, это своего рода стигмат, «печать антихристовая», штемпель, по которому безошибочно можно угадать тип данного государственного образования, даже и не зная его экономической базы.

Мы совсем забыли о земском начальнике с тех пор, он перестал быть нам нужен для агитационных целей. Для людей возраста Слепкова он вероятно даже сливается в одну общую кучу со всей царской администрацией, губернаторами, полицмейстерами, исправниками и т. п.

Это совсем несправедливое и исторически неправильное к нему отношение. Губернаторы и полицмейстеры имеются во всяком бюрократическом государстве. Им подчинены, в известном отношении, все «подданные» такого государства. Земский начальник есть сословная крестьянская власть. Ему были подчинены только крестьяне, но зато во всех отношениях. Функции земского начальника так хорошо забыты, что для многих молодых читателей полезно будет посмотреть в конкретном виде, на чье место стала в деревне советская власть.

«Широте круга обязанностей, возложенных на земских начальников, соответствует полнота вверенной им власти. Все сельские учреждения и должностные лица им подведомы и от них зависят. Земский начальник может распорядиться о созыве сельского схода, он назначает сроки для собрания волостного схода, имеет право дополнить пред-

¹ См. Шестаков, цит. соч., стр. 27.

ставляемые ему списки дел, назначенных к рассмотрению на волостном сходе, подвергает взысканию лиц, участвовавших в составлении приговоров сельского или волостного схода по предметам, их ведению не подлежащим, останавливает исполнение приговоров волостных или сельских сходов, постановленных несогласно с законами, клочьящихся, по его мнению, к явному ущербу сельского общества или нарушающих законные права отдельных членов сельского общества, утверждает в должностях волостных судей и старшин, равным образом, в случае признания незаконными выборов сходами других должностных лиц, он распоряжается о производстве при себе новых выборов; от него зависит устранение от должности сельских и волостных писарей в случае признания их неблагонадежными; ему принадлежит право подвергать должностных лиц сельских и волостных управлений за маловажные проступки по должности, без формального производства, денежному взысканию и даже аресту до 7 дней, а за более важные нарушения временно устранять их от должности и входить с представлениями в уездный съезд о совершенном увольнении их от службы. Кроме того, до высоч. указа 5 окт. 1906 г. з. н. мог, по ст. 61 Полож. о земских начальниках, подвергать без всякого формального производства и частных лиц, подведомственных крестьянскому общественному управлению, в случае неисполнения ими его законных распоряжений и требований, аресту до трех дней или денежному взысканию не свыше шести рублей. Так как законным должно было считаться всякое распоряжение или требование земских начальников, которое могло быть оправдано соображениями о хозяйственном благоустройстве и нравственном преуспевании крестьян, то ст. 61 Полож. должна была получить и действительно получила чрезвычайно широкое применение¹.

Даже для того, чтобы только обкарнать несколько власть земского начальника, понадобилась революция 1905 г. Пал же окончательно этот институт только вместе с самодержавием, в феврале 1917 г. Цитированные выше строки вышли ровно за год до этого события—меньше десяти лет тому назад.

Меньше десяти лет тому назад деревенская Россия, 85% русского населения, управлялась дворянами. Ибо, по крайней мере теоретически, по букве закона, земский на-

¹ Взято из словаря Гранат, т. 42. Статья проф. Н. Полянского.

частьник был всегда из дворян местной губернии. На практике дворян с соответствующим образовательным цензом (не ниже кадетского корпуса) уже давно не хватало, и в корпус земских начальников все сильнее и сильнее просачивалась разночинная струя. Но это не было новостью для абсолютизма; дьяки XVI—XVII вв., «птенцы» и прибыльщики Петра I, лейбкампанцы его дочери Елизаветы, гатчинские майоры и капитаны Павла I тоже не всегда могли показать свою родословную; и даже у более щепетильного и чопорного младшего сына Павла, Николая I, бывали министры из купеческих приказчиков (Канкрин) и из крещеных евреев (статс-секретарь Позен). Абсолютизм брал свое добро, где находил. Для него важна была не чистота крови, а чистота системы. Дворянин или нет, земский начальник обеспечивал внизу сохранность тех остатков крепостного строя, без которых не мог орудовать торговый капитал. Это было главное. Внизу тщательно оберегались те добрые вотчинные порядки, к которым так «привык» русский крестьянин. Со свойственным ему практическим здравым смыслом последний и не думал маскировать этих порядков, предоставляя это профессорам государственного права. Земского начальника крестьянин попросту называл «барин о м». Это и было действительно то, что осталось в деревне от барина и вотчинника после 1861 г.¹

Но вотчинная власть внизу сама собою предполагала вотчинные порядки и наверху. Лучше всего и закончить это маленькое исследование о социальной природе русской государственности перед 1917 г. характеристикой, данною ей не каким-нибудь оппозиционным публицистом, а последним ее слугою, последним министром внутренних дел Николая II, Протопоповым. Когда его допрашивали в чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, между ним и председателем комиссии Муравьевым произошел следующий диалог:

«Протопопов.—Вот как было обыкновенно. Когда государь уезжал в ставку, он говорил: «Если вам что нужно передать, то скажите государыне». Государыня же говорила: «Напишите Анне Александровне»². Вот каким образом этот путь был несколько преуказан. Верно это, верно

¹ Предшественником земского начальника был, как известно, мировой посредник, созданный именно реформой 1861 г. Но тот был слегка замаскирован в попечителя об интересах крестьян: режим Александра II еще старался соблюдать «европейские формы».

² Вырубова.

вы изволите выражаться, что если что-нибудь хочешь сказать, или ту или другую мысль выразить, то и напишешь ей. Это верно.

Председатель.—Я бы понял это формулировку, если бы бывший император сказал так А. Д. Протопопову: «Если вы хотите что-нибудь передать, то пишите моей жене». Жена могла сказать: «Пишите близкому мне человеку». Но как мог министр внутренних дел пользоваться этим путем? Ведь вы были член официального правительства? Есть председатель совета министров, возбуждается серьезный вопрос, а вы пытаетесь провести свою точку зрения каким-то таким не формальным путем.

Протопопов.—Г. Председатель, я понимаю; но я вас уверяю, этот путь не мной выработан. Это есть обычай. Этот обычай давно вется. Конечно теперь я почувствовал, в чем была главная ошибка и мой грех. Но что было неправильно в корне, так это отношение к империи, как к вотчине.

Председатель.—Отношение к империи, как к вотчине?

Протопопов.—Вотчинное начало... И я в этот хомут вполне вошел. Мне надо бы против этого спорить, а я влез туда и все время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно»¹.

Другими словами, Протопопов высказал ту же мысль, что и Берсень-Беклемишев. Только тот смотрел на это с ужасом, как на валящуюся на голову гору, а этот с ужасом, как на пропасть, разверзшуюся у его ног. Один хотел спастись от нее в прошлое, другой в будущее. Но будущего у системы не было, и никуда она «эволюционировать» не могла.

Если бы могла, не понадобилось бы не только двух русских революций, 1905 и 1917 гг., но и одной из них. Идея о «социальном перерождении» русского абсолютизма делает обе революции необъяснимой загадкой. Зачем они были нужны,—если только не считать их (для 1917 г. имеется в виду Февраль) двумя недоконченными взрывами начинающейся социалистической революции 1917 г.?

Одного призрака эволюции бывало достаточно для того, чтобы на много десятков градусов охладить температуру буржуазной революции в России. Первый раз призрак появился в 1861 г.—и русская буржуазия бросила Герцена. Второй раз он стал бродить, довольно упорно, в

¹ «Падение царского режима», т. II, стр. 298.

1890-х годах; если бы эра Витте не кончилась крахом, ее можно было бы считать за начало «социального перерождения» И весьма выразительно на конец этой «эры» падает разгул экономизма. Но оба раза «эволюция» натыкалась на непереходимый барьер—необходимость сохранить внеэкономическое принуждение в деревне, без которого не мог обходиться торговый капитализм¹.

Таким образом было совершенно достаточно внутренних причин, мешавших «социальному перерождению» помещичьего государства». Но если бы мы ограничились внутренними причинами, картина была бы не полна. Во весь рост абсолютизм встанет перед нами лишь когда мы привлечем к делу ту колоссальную внешнеполитическую работу, какую он выполнял в интересах все того же торгового капитала. Но это настолько большой сюжет, что ему придется посвятить особую статью.

II

Где уже только одни исторические замечания

Продолжаю свое маленькое исследование о том, чем держалось русское самодержавие, и что помогло этому мамонту дожить до XX в.

Перед 1905 г., отчасти и после, у нас очень распространены были разговоры о том, колониальная страна Россия или нет. Колониальный тип развития у нас или нет. При этом имелось в виду, что Россия сама есть колония для западноевропейского капитала. Не обращали внимания на другую сторону: что Россия есть одно из величайших колониальных государств мира: что она—колония или нет по отношению к западноевропейскому капиталу—является обладательницей самых больших колоний, какие только имеет какое-либо другое европейское государство, исключая Англию и Францию. По площади своих колоний среди этих государств царская Россия занимала даже первое место: в то время как площадь всех английских колоний составляла около 13 млн. кв. км, всех французских—около 11 млн.,—площадь одной Сибири превосходила 13 млн. кв. км. По населенности русские колонии уступали конечно не только английским и французским, но и голландским. Но все же и население Сибири, Средней Азии и Кавказа в 1905 г. доходило до 26 млн. жителей, т. е. рав-

¹ Для эры Витте особенно характерно крушение «комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности», на котором она оборвалась.

нялось хорошему европейскому государству, вроде Италии (второй половины XIX в.).

Что Сибирь, Средняя Азия и Кавказ суть колонии, этого у нас многие не понимали просто потому, что учебники географии под «колониями» разумели «заморские» владения, а все перечисленные страны имели с основным ядром «Российской Империи»—с тем, что называлось тогда «Европейской Россией»,—непрерывную сухопутную связь. Поэтому многие в простоте души говорили тогда, что у России —«вовсе нет колоний», или была когда-то только одна—«Российские Американские владения» по ту сторону Берингова пролива, да и ту в 1867 г. продали Соединенным штатам.

Но с этой, школьно-географической, точки зрения, нелепо было говорить и о России как колонии Западной Европы потому, что от последней Россия тоже морем не была отделена. Если же понимать под «колонией» то, что все экономически грамотные люди понимают, т. е. страну менее культурную, чем метрополия, и служащую для последней источником сырья, а в новейшее время—местом, куда вывозится капитал (в эту стадию развития Россия перед 1905 г. еще не вступила), то все эти страны окажутся самыми что ни на есть образцовыми колониями, начиная с Сибири, которая уже с XVI—XVII вв. доставляла один из самых ценных тогда видов сырья—пушнину, а позже золото, и кончая Кавказом, который в 1901 г. дал «империи» больше нефти, чем имело какое-либо государство мира, и Средней Азией, которая перед войной покрывала 50% всей потребности тогдашней России в хлопке. Это были настоящие колонии, форменные колонии,—и то, что в любую из них можно было доехать из Петербурга, не садясь на корабль, только давало одну добавочную черту: колониальные нравы, в Англии или Франции отделенные от метрополии океаном, в России не были от нее отделены никакой осязаемой чертой и свободно просачивались до самого центра.

А нравы эти были опять-таки более первобытные, чем где бы то ни было в это время. Использование колоний как источников промышленного сырья, это ведь явление нового времени для России конца XIX—начала XX в. В расцвет захвата колониальных владений в Америке и Азии, в XVI—XVII вв., колонии просто грабили, просто отнимали у населения, что было поценнее, а при малейшем сопротивлении самое население истребляли.

Колониальный грабеж был неразрывной частью перво-

начального накопления. «История голландского колониального хозяйства,—говорит Маркс,—а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII в.—развертывает бесподобную картину предательств, подкупов убийств и подлостей».

Возьмем ли мы завоевание Закавказья в 1820-х годах, или Средней Азии—в 1860-х, эта характеристика Маркса будет бесподобной фотографией того, что проделывала в названных местах «не имевшая колоний» царская Россия. Вот перед нами один из самых образованных русских генералов начала XX в., друг декабристов, Ермолов, и вот два эпизода из истории «управления» им Закавказьем,—эпизода, излагаемых не по какому-нибудь «памфлету», а со слов официального историка Кавказской войны, тоже русского генерала, Дубровина. 24 июля 1819 г. умер «после непродолжительной болезни» Измаил-хан шекинский (персы открыто говорили, что он был отравлен состоявшим при нем русским чиновником, и делали в этом смысле даже официальные заявления). В столицу умершего хана, Нуху, немедленно же были двинуты «для предупреждения волнений» русские войска. Затем, повествует генерал Дубровин, «главнокомандующий, под предлогом неимения прямых наследников, приказал ввести в ханстве шекинском русское управление... Вместе с тем было приказано: привести в известность ханские доходы, не изменяя ни количества их, ни порядка взноса; печать ханскую и мирзу, управляющего делами, взять под стражу, дабы пресечь ему возможность выдавать фальшивые ханские грамоты. Привести в известность грамоты, выданные Измаил-ханом на управление деревнями—или разного рода имущество, данное в собственность, описать собственное имущество хана, долженствующее поступить в казну, составить список всему ханскому семейству с обозначением состоявшей у каждого собственности, чтобы определить им приличное содержание от казны». Семейство умершего хана было попросту таким образом ограблено: официальные документы, на которых основано изложение Дубровина, умалчивают только об одном—какой комиссионный процент учли в свою пользу исполнители этой операции, русские чиновники, штатские и военные. Что они были здесь несколько заинтересованы, показывает всеобщая уверенность, разделявшаяся и русскими офицерами, что отравлен был Измаил-хан по прямому приказу главного военного начальника края, генерала кн. Мадатова. Этот же последний, по

общему мнению, был виновником и другой, не менее смелой, операции, совершенной в соседнем Карабахском ханстве. Здешнего хана повидимому отравы не брала, и для устранения его пришлось прибегнуть к средству менее трагическому, но зато для того времени необычайно прогрессивному,—теперь мы назвали бы его провокацией. Племянника хана подговорили донести на дядю, будто тот хочет его убить, причем, для большей убедительности, было симулировано даже и самое покушение. Немедленно было наряжено строгое следствие. Поняв, к чему клонится дело, хан бежал в Персию, предусмотрительно захватив с собою большую часть жалованных грамот императора Александра, но зато бросив все свое имущество. Тогда племянника, который уже видел себя наследником всего оставленного ханом, включая и самое ханство, преспокойно сослали в Симбирск, а «выморочное» достояние карабахской династии поступило в собственность русской казны.

К таким сложным операциям приходилось прибегать, когда дело шло о ханах и беках, т. е. помещиках. С «простым народом» обращение было, разумеется, проще. Вот например в какой обстановке жили при Ермолове чеченцы на плоскости—наиболее близкие к нам соседи: «В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всего семейства вора, то селение предается огню. Точно также обещано поступить с селением в том случае, если жители, видя, что хищники увлекают в плен русского, не отобьют его или не отыщут,—из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев. Известно было, что без пособия и укрывательства самих владельцев горцы не могли проезжать от реки Сунжи, а потому по всему пространству своих земель владельцы должны были иметь постоянные караулы. Если же затем по исследованию окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников и не защищались, то деревня истребляется, жен и детей вырезают»... «Таким образом жители, попрежнему продолжая воровство и разбой» (или даже только не сопротивляясь разбойникам, прибавим мы), «непременно истреблены будут». И это не была пустая фраза—чеченцы могли рассказать о случаях, когда за убийство одного казака истреблялись до последнего жители целого аула. «Ужасный ропот в народе на несправедливые и нерезонные поступки Пестеля (командовавшего в Чечне генерала) дошел до меня в самом

начале въезда моего в здешние провинции», писал знакомый нам кн. Мадатов, посланный расследовать дело, когда Пестель довел горцев до всеобщего восстания. «Народ говорит, что удовлетворения ни в чем не видит и даже ни одного ласкового слова от Пестеля, а слышит одни лишь только всегдашние повторения его: прикажу повесить».

А кн. Мадатов—мы только что видели—сам был человеком достаточно широких взглядов. Это однако все же касалось «виновных»—хотя бы в том, что русским генералам и офицерам «хотелось кушать». Но в официальной истории завоевания Кавказа мы на каждом шагу встречаем «меры воздействия», направленные против целых племен, уже без различия правых и виноватых. То у кабардинцев отнимут все земли, то у чеченцев отнимут весь корм для скота, запасенный ими на зиму, т. е. фактически отнимут весь скот, ибо после этого им ничего не оставалось, как отдать весь скот русским, и т. д. и т. д. Как видим, в первой половине XIX в. царская империя ничем не уступала «образцовой капиталистической стране XVII столетия». Шли годы и десятилетия. Кавказ был завоеван, но «империя» продолжала держаться на той же высоте.

Вот перед нами другой выдающийся колонизатор, знаменитый туркестанский генерал-губернатор Кауфман. Он только что взял теперешнюю столицу Узбекистана, Самарканд, взял вторично: жители, добровольно подчинившиеся при первом приближении войск генерала Кауфмана, вновь «отпали», когда русский отряд ушел дальше, а под Самаркандом появились состоявшие на службе бухарского эмира шахрисябцы. Попросту говоря, несчастные самаркандцы, по азиатскому обычаю, подчинились тому, кто был сильнее в данный момент. Они однако на этот раз прогадали: при всей незначительности сил, оставленных Кауфманом в самаркандской цитадели, взять эту последнюю бухарцам не удалось. Город был жестоко наказан за свое непостоянство: между прочим, сожжен был огромный самаркандский базар, разгромлены мечети, минаретами которых пользовались нападающие во время осады цитадели. Что «зачинщики» были без милосердия казнены—это разумелось само собою, причем судопроизводство было упрощено до последних пределов возможности: комендант цитадели называл командующему войсками «виновных», а тот, покуривая папиросу, равнодушно приговаривал по поводу каждого: «расстрелять, расстрелять, расстрелять». Это показалось чересчур простым даже разделявшему взгляды военного начальника

русскому, художнику... Но самому начальству этого показалось мало, и оно, вдобавок ко всему прочему, разрешило солдатам в течение нескольких дней грабить город, не разбирая уже ни правого, ни виноватого. Один из руководивших грабежом, какой-то интендантский чиновник, так рассказывал художнику Верещагину про свои подвиги. «Зашел я с солдатами в один дом, где старая-престарая старуха нас встретила словами «аман, аман» (будьте здоровы). Смотрим, а под циновкой, на которой она сидела, что-то шевелится. И действительно там оказался мальчуган—лет шестнадцати. Мы его вытащили и, натурально, убили вместе со старухой»¹.

И тут, как на Кавказе, дело не ограничивалось «виноватыми»,—принимались меры и «общего характера». «Трепет азиатов перед русским именем,—рассказывает один патристический русский путешественник,—был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее, вполне безопасное положение. Целые кишлаки выжигались дотла за какое-нибудь одно только тело убитого русского, найденное по соседству. И иначе поступать было невозможно с народом, для которого грабеж и убийство были обычной стихией»... В другом месте наш автор находил у этого народа такую «душевную воспитанность», какой, к его огорчению, он не замечал у «простого русского человека». Но не будем ловить его на словесных противоречиях: вот факты, которые передал ему «один очень авторитетный житель Ташкента, имевший возможность со всех сторон изучить быт туземцев». «Мы нашли тут, в Туркестане, такую строгость нравов, о которой у нас и понятия не имеют. Слово самого маленького начальника для них было законом. Послушание изумительное. Честность такая везде была, что ни один дом на ночь не запирался; в Ташкенте впрочем и до сих пор не запираются по старой памяти, хотя воровство удесятирилось против прежнего»... Но пятьдесят лет, прошедших со времени Ермолова, все же сказались. В Средней Азии уже не останавливались на простом наивном грабеже. Были применены «последние слова» новейшей финансовой тех-

¹ Беру все эти примеры из моей книжки: «Дипломатия и войны царской России», стр. 186—187, 204—205, 331—332. За подробностями отсылаю читателя туда же.

ники. С каким совершенством, ответ на это дают размеры налога, падавшего на туземцев в начале XX в., сравнительно с тем, что они платили до начала русского владычества и в первые его годы. Вот один пример: Дагбитская волость Самаркандской области и уезда. «Ранее (до 1892 г.) взимаемый налог, в сумме 320 руб., ниже размера нового налога, в сумме 5 107 р. 51 к., на 1 496,09%». Вы думаете, что это исключение? Разве лишь в смысле яркости примера: перечтите итоги по другим местностям, вы увидите 87%, 135%, 264% превышения нового поземельного налога над старым. Всюду налоги в 1½, 2½ раза выше, относительно, чем были тогда в самой России. Меньше всего подверглась фискальной эксплуатации из волостей Самаркандского уезда волость Дюрткульская—ее новые налоги выше старых всего на 43,35%. Но надо знать, что такое Дюрткульская волость. Вот что о ней говорит официальная статистика: «К началу 70-х годов в этой волости было на счету русской администрации 45 населенных мест с 979 дворами, а спустя 20 лет, в 1803 г., здесь найдено 36 населенных мест с 817 дворами, т. е. менее на 9 селений и 159 дворов». Но из наличных дворов 225 было выморочных, а 90 сиротских. «Если ко всему этому прибавить почти полное отсутствие людей в возрасте за 50 лет и наружный, крайне захудалый, вид населения, то понятным становится»,—вы думаете, влияние русского управления на судьбу этой волости? Нет: «немаловажное значение санитарных условий».

Проходит еще 30 лет. Мы еще дальше на восток от места подвигов генерала Ермолова—в Манчжурии. Как туда попали русские, это мы расскажем в другом месте, в настоящей связи нас интересует, как они там действовали. Мы опять берем почти официальный документ—записку одного из строителей Китайской восточной дороги (порт-артурской ветки), инженера Гиршмана, составленную в 1902 г., а относящуюся к событиям 1900—1901 гг. Гиршман, человек деловой, притом сам бывший на войне (в Турции в 1877—1878 гг.) соглашается, что «к войне неприменима прописная мораль, и в пылу сражения или, подавно, штурма грабежи являются делом вполне естественным». Но замечает он, «все-таки приходится думать, что такой пыл не может быть долговечным и во всяком случае не должен бы допускаться на продолжительное время; и что самый грабеж не должен доходить до какого-то безумного уничтожения добра только из страсти к уничтожению; и что, вместе с тем, должны бы приниматься меры к охранению того имущества,

которое, будучи вполне бесполезно для каждого отдельного солдата, являлось бы драгоценною добычей, в смысле облегчения военных расходов (предметы интендантского довольствия). К сожалению, однако, по крайней мере, в первом периоде войны, до взятия Хайчена включительно, все высказанные соображения были оставляемы без всякого внимания...»

«Приискивались предлоги к бесконечному ряду экспедиций, которые являлись столь желательными в смысле возможности новых реляций и новых представлений к наградам, но, к сожалению, также и новых грабежей и порчи тех отношений, которые так легко было поставить в лучшем виде, при строгом исполнении соглашения».

А вот маленькие образчики того, что представляли собою эти самые «экспедиции»:

«Другая крупная экспедиция предпринята была в сторону Монголии, под начальством генерала Церпицкого, на основании сведений, что Хин-цань (один из вождей сопротивляющегося русским населению) находится около Куло и отсюда руководит новыми враждебными действиями против нас. Для всякого, знающего ту невероятную быстроту, с которой в Китае всякие известия передаются без телеграфа, не могло не быть ясно, что Хин-цань несомненно успеет уйти из своего убежища задолго до прибытия русских войск. С другой стороны, не было также секретом крайне дружеское расположение к нам монголов, а таковое еще усилилось, благодаря хорошим отношениям, установившимся между главными монгольскими ламами Мукдена и полковником Громбчевским. Благодаря этим отношениям, экспедиция была снабжена надежными китайскими чиновниками и письмами для предупреждения всяких лишних столкновений. Конечным путем экспедиции являлся город Куло с его древним монастырем, глубоко чтимым во всей Монголии и знаменитым своими богатствами. Все эти обстоятельства должны были повидному, с одной стороны, обещать самый спокойный поход экспедиции, а с другой,— внушить руководителям ее особую осторожность, дабы не терять расположения монголов. В первом отношении все шло как нельзя лучше: повсеместно отряды, составляющие экспедицию, находили самый лучший прием, население встречало подарками, все необходимые припасы доставлялись по минимальным ценам, и конечно экспедиция вся прошла бы таким же образом, если бы генерал-лейтенанту Церпицкому не показалось неудобным совершать поход без всяких лавров. И поэтому, судя по лич-

ному мне рассказу его при нескольких свидетелях, генерал, приближаясь к Куло, притворяется больным, и потому принимается решение войти в Куло только на другой день. Когда же китайские чиновники, приняв соответствующие меры, легли спать, генерал немедленно выздоровливает, двигается ночью на Куло и, на основании какого-то выстрела, последовавшего будто бы при подходе наших войск и вполне естественного, особенно в Китае, где ночные выстрелы служат лишь выражением бдительности сторожей города, монастырь захватывается силою; масса жителей и монахов предается избиению, а затем начинается полнейшее разграбление, в результате коего на долю самого генерала, по его собственным словам, достается не меньше 200 штук одних древних идолов из золоченой бронзы».

«Параллельно с большими экспедициями шли и малые, предпринимавшиеся, вопреки соглашению, на основании всяких самых случайных сведений о появлении хунхузов или нахождении складов оружия. Подобной готовностью нашей к экспедициям, на основании непроверенных сведений, и нашим незнанием местных условий, прежде всего, воспользовались, судя по многим рассказам, сами хунхузы (китайские бандиты, для борьбы с которыми предпринимались экспедиции); имея в виду разграбить какого-нибудь зажиточного жителя, они сами доносили о таком как о хунхузе, и конечно прекрасно умели воспользоваться результатами следовавшего затем разгрома. Неудивительно конечно и то, что поданный генерал-лейтенантом Церпицким пример удачного парализования сопровождающих китайских чиновников нашел вскоре подражателя в лице ротмистра Булатовича. Здесь однако прием был упрощен, так как чиновники были попросту арестованы; затем таким же способом и с тем же успехом, как в Куло, совершилось взятие укрепленной фанзы в 12 верстах от Мукдена, которая, как и заранее можно было знать, являлась не хунхузским гнездом, а пунктом убежища для окрестного населения в случае опасности и потому изобиловала всем лучшим добром этого населения».

На протяжении трех четвертей столетия методы действия, как видим, эволюционировали так мало, что было бы смешным педантством искать здесь какого-нибудь «социального перерождения». При Николае II, как и при Александре I, непосредственной целью русской колониальной политики было то же, что являлось такой же целью для португальцев или голландцев XVII в.—прямой грабеж. И было бы в высшей степени странно, если бы эти типические приемы «первоначальной»

чального накопления» руководились властью более современного типа, чем европейский абсолютизм XVI—XVII столетий.

Но «голландская» политика выростала не на пустом месте. Голландия XVII в. была, мы помним, «самой образцовой капиталистической страной» той эпохи, эпохи торгового капитализма. Те же следствия заставляют искать тех же причин, и участие русского торгового капитала в завоевании как Кавказа, так и Средней Азии, могло быть не замечено только потому, что историю этих завоеваний писали военные люди, слишком уже далекие от всякого исторического материализма. Интересы этого капитала в Закавказье, в начале XIX в., сознательно и официально ставились на первое место: Александр I, в инструкции отправляющемуся на Кавказ Ермолову, выразился, что он ставит торговые выгоды выше территориальных приобретений. Войны с Персией привели прежде всего к открытию этой, мало еще тогда доступной для европейцев, страны русским купцам¹. Предшественник Ермолова, Тормасов, все завоевание Западного Кавказа ставил на почву торговой конкуренции с турками, от которых экономически до тех пор эта часть Кавказа зависела. Правда, попытки русских чиновников непосредственно вести торговлю кончились неудачей, но характерно, что даже военные люди видели настоящую подкладку совершавшихся ими завоеваний.

Под знаменем того же торгового капитализма началось и движение русских в Среднюю Азию. В середине XVII в. инструкция так называемой «оренбургской комиссии», наряду с защитой границ от набегов со стороны киргизов и действительным, не только номинальным, подчинением последних России, ставила, как одну из целей этой политики, развитие торговых сношений с оседлыми соседями этих киргизов. Военные операции 30-х годов девятнадцатого века были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов. Первая экспедиция в глубь Средней Азии — хивинский поход Перовского в 1839 г. — одним из официально признававшихся мотивов имела «ограждение русских торговых интересов в Центральной Азии», и, сопоставляя с этим мотивом другие — обеспечение спокойствия русских киргизов или освобождение русских пленных, томившихся в хивинской неволе, слишком нетрудно угадать, что заставило пра-

¹ См. «Дипломатия и войны царской России», стр. 184, 193 194, 380 и сл.; «Русская история с древних времен», т. IV, стр. 30 и сл.

вительство Николая Павловича истратить более полумиллиона рублей в этих, так далеких от центров его внешней политики, местах. Недаром и самую экспедицию официально называли не «карательной»,—каковой бы она была, если мотивировать ее от хивинских набегов и грабежей, а «научною». А когда «научная экспедиция» на первый раз кончилась неудачей, «чтобы защитить своих подданных против киргизов, в 1845 г. Россией было устроено в степи два новых укрепления, Тургай и Иргиз,—говорит один из историков русских походов в Средней Азии,—в короткое время здесь развилась оживленная меновая торговля».

Не добравшись до больших, центральных среднеазиатских рынков, удовлетворялись мелкими, местными. А когда, четверть столетия спустя, неудача Перовского была заглажена, русские войска заняли Ташкент и Самарканд и торжественным маршем вступили в Хиву, эти победы прежде всего другого открыли настежь двери для русской торговли. После 1873 г. она была объявлена беспошлинной на всем пространстве как Бухарского эмирства, так и Хивинского ханства. Пользуясь там всеми правами туземцев—по части покупки земли, устройства складов, магазинов и т. д.,—русские купцы были подсудны только русским властям, что бы они ни совершили на территории названных «независимых» государств.

Торговокапиталистический смысл завоевания как Кавказа, так и Средней Азии, не вызывает никаких сомнений. Как обстояло дело с Дальним Востоком?

В начале дальневосточной авантюры, закончившейся катастрофой под Мукденом и Цусимой, стоят два факта: постройка Сибирской железной дороги и основание Русско-Китайского банка. Оба факта тесно связаны с колониальной политикой царской империи, во-первых, и с проникновением в Китай русского торгового капитала, во-вторых.

Сооружение Сибирской железнодорожной магистрали в конечном итоге сводится к основному стержню русской азиатской политики в течение всего XIX в., за вычетом первых его годов и с небольшим перерывом после Крымской войны (1853—1856 гг.). Стержнем этим было русско-английское торговое соперничество. Уже Паскевич, торжествуя в 1827 г. победу над Персией, торжествовал в то же время победу над крупнейшим торговокапиталистическим предприятием тогдашнего мира, английской Ост-Индской компанией. После занятия нами Тавриза—писал он Нико-

лаю—агентам Ост-Индской компании ничего не остается, как сесть на корабли в Бендер-Бушире (на Персидском заливе) и отправиться к себе домой в Индию. Вся история завоевания Средней Азии, от похода Перовского до занятия Мерва в 1884 г., неразрывно переплетена с русско-английским конфликтом¹. На другой день после взятия Мерва и столкновения русских с афганцами в 1885 г. Россия и Англия были на вершок от войны, и тут обнаружилось, что в случае, если бы она вспыхнула, русские владения на Дальнем Востоке—только что, благодаря столкновению с Китаем из-за Кульджи в 1880 г., доказавшие свою реальную ценность для будущих захватов,—оказались бы наглухо отрезанными от метрополии: при отсутствии железных дорог в Сибири добраться до них можно было только морем, а морем, об этом уже никто не спорил, владела Англия. Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского военного округа единодушно требовали рельсовой колеи, хотя бы от Томска до Забайкалья (до Томска и по Амуру надеялись еще использовать речной путь). Образованное, вследствие этих заявлений, Александром III «особое совещание»—из четырех министров, с участием начальника Главного штаба—пришло к заключению, что «проложение железной дороги через Сибирь, требуя от казны огромных пожертвований, не обещает в ближайшем будущем, при ограниченном торговом движении края, положительных выгод и может окупиться лишь со временем. Но нельзя не признать, что в общественном и в особенности в стратегическом отношении ускорение наших сообщений с отдаленным востоком становится с каждым годом все более неотложным. Поэтому, не предвещая ныне самого способа постройки, представлялось бы вполне соответствующим безотлагательно приступить к изысканиям участков Сибирской дороги, наиболее важных в стратегическом отношении... так как без этого наш главный порт в Тихом океане явится отрезанным от удобных сообщений с остальной Сибирью и лишенным всякой базы, и, ввиду преимущественного стратегического значения проектируемых линий, желательно наиболее деятельное участие военного ведомства, в лице генерал-губернаторов, в производстве изысканий».

Но, раз гроза войны как-никак прошла, а денег в казне было мало, тогдашний (1887 г.) министр финансов Вышнеградский скупился, и дело затягивалось. В 1890 г. понадо-

¹ См. «Русская история с древнейших времен», т. IV, стр. 240 и сл.

билось «новое заявление от приамурского генерал-губернатора о затруднительности сообщения с Южно-Уссурийским краем и о невозможности обороны его за отдаленностью резервов». На докладе генерал-губернатора Александр III написал: «необходимо приступить скорее к постройке этой дороги». Под давлением свыше Вышнеградский уже соглашался теперь дать деньги, но все же норовил затратить их хотя бы сколько-нибудь коммерчески и настаивал на постройке железной дороги сначала лишь в более населенной Западной Сибири, т. е. очень далеко от угрожаемых берегов Тихого океана. На сторону военного ведомства стало министерство путей сообщения, для которого железнодорожное строительство, как таковое, представляло больший интерес, нежели коммерческая будущность построенных дорог. В конце концов решено было начать Сибирскую магистраль сразу с обоих концов, причем закладка дальневосточного конца во Владивостоке была обставлена особой торжественностью: для этого был отправлен тогдашний (1891 г.) «наследник-цесаревич», будущий Николай II.

Так как военное происхождение Сибирской дороги было вне всякого сомнения, то в рескрипте Александра III наследнику очень подчеркивалось «мирное преуспевание» Сибири и необходимость «соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». На самом деле дорога должна была служить прежде всего для колониальных захватов на Дальнем Востоке (благо Ближний, в лице Болгарии, только что ушел из сферы русского влияния), и внутренне-колониационный вопрос логически стоял в то время. Провести железную дорогу по пустыне было совершенно невозможно, для нее нужна была населенная зона, и зону эту приходилось создавать.

С этого конца политика опять подходила к экономике,— и преемник Вышнеградского, Витте, ставший, быть может, преемником отчасти именно поэтому, сумел подметить связь, которой не схватил ловкий биржевой делец, управлявший русскими финансами до него. В своей записке 13—25 ноября 1892 г. Витте писал:

«Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока круглым числом в 7 100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к Европейской России только прорезываемую ею полосу не свыше стоверстного расстояния от линии в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новые условия существования становится огромная территория в 1 420 000 кв. верст—терри-

тория, превосходящая Германию и Австро-Венгрию, вместе взятые, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании. Если сравнить эту территорию с какой-нибудь частью Европейской России, то окажется, что она по пространству превосходит все взятые вместе губернии, заключенные между Окой, Волгой, Азовским и Черным морями и Австрийскою границею, с добавлением Привислинского края, т. е. тридцать пять губерний. Притом вся эта территория лежит в средних географических широтах (преимущественно между 50 и 57° сев. широты), по климатическим условиям не слишком резко отличается от центральных и восточных губерний Европейской России и в большей своей части представляет данные, вполне благоприятствующие развитию земледельческих и других промыслов.

В действительности, влияние Сибирской железной дороги, благодаря связи ее со всеми водными сообщениями Сибири, будет распространяться гораздо далее прорезываемой ею полосы, и не подлежит сомнению, что дорога даст могущественный толчок экономическому развитию Сибири, всюду оживит и возбудит возможные по местным условиям отрасли производительной деятельности».

Помимо того журавля в небе, который летал над Владивостоком, была синица, которая, можно сказать, сама просилась в руки русского торгового капитала. Эксплуатируемый этим последним крестьянин был экономически при последнем издыхании в европейской части «империи»: голод 1891 г. был вчерашним днем, когда писал Витте. Самые тупые умы должны были задаться вопросом: что же делать дальше? Витте и указал выход.

«Крестьянское малоземелье,—указывалось в записке,—давно уже замечаемое во многих губерниях Европейской России, несомненно должно быть отнесено к отрицательным явлениям русской жизни: оно невыгодно для народного хозяйства, потому что в непривычных условиях существования малоземельный крестьянин становится экономически слабым, его труд менее производительным; оно невыгодно для государства, потому что экономически слабые элементы населения служат скорее в тягость государству, требуя от него усиленных попечений и не давая взамен ничего; оно наконец не может быть признано и нормальным, ввиду массы пустующих земель, которые остаются мертвым капиталом именно по отсутствию рабочих рук и которые посему очень выгодно заселять нуждающимися в земле для приложения к ней своего труда». Наиболее целесообразным способом

уменьшения малоземелья является наделение нуждающихся крестьян казенными землями в Сибири, особенно в западной части ее. «Стремление малоземельных крестьян к переселению на новые места замечается уже теперь, но носит стихийный характер; если же правительство поставит переселенческое движение в более правильные условия, то можно полагать, что заселение плодородных сибирских пустынь пойдет весьма успешно, а с появлением на месте достаточного количества рабочей силы плодородные сибирские земли приобретут, без сомнения, притягательность и для более образованных общественных слоев, которые принесут с собой и капитал, и знание, и цивилизующее влияние на окружающую среду. Таким образом Сибирская железная дорога обеспечит прорезываемому ею обширному краю одно из главных условий для развития сельскохозяйственной производительности, именно рынок сбыта и приток рабочей силы, открывая вместе путь государству к разрешению одной из наиболее трудных задач—к прочному устройству экономического быта малоземельного крестьянского населения внутренних губерний Европейской России».

Итак, дорога создавала, прежде всего, новый район торгового капиталистической эксплуатации. Уже стесненный в своей практике обдирания мужика Европейской России,—ибо здесь мужик был уже ободран до костей,—торговый капитал приобретал теперь нового «клиента» как в сибирском «старожиле», так и в спешившем ему на подкрепление «новоселе».

Но и этим выгоды Сибирской дороги еще не исчерпываются. В заключение, Витте счел необходимым «установить определенную точку зрения на торговое значение Сибирской железной дороги». В этом отношении дорога должна, с одной стороны, способствовать увеличению вывоза сибирских грузов в Европейскую Россию, а с другой—устранить те неудобства, которые приходится испытывать при перевозке европейских грузов в Сибирь, а равно благоприятно отразиться на условиях торгового оборота в пределах этого края. Но торговое значение дороги не ограничивается теми выгодами, которые она может дать немедленно вслед за открытием движения, «вероятные последствия этого предприятия следует рассматривать шире—в связи с тем основным фактором, что Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном и таким образом откроет новые гори-

зонты для торговли не только русской, но и всемирной». «При этом для России особенно важно то обстоятельство, что она, участвуя в сообщениях Европы со странами азиатского востока на протяжении более десяти тысяч верст, может и должна воспользоваться не только всеми выгодами посредника в торговом обмене произведений востока Азии и запада Европы, но и выгодами крупного производителя и потребителя, ближе всех стоящего к народам азиатского востока. С постройкой Сибирской железной дороги не только усилится роль России на мировом рынке, но для нее откроются новые обильные источники народного благосостояния».

Как видим, Витте не устал рекламировать «свою» дорогу, которой не умел оценить свергнутый им с финансового престола Вышнеградский (в частных разговорах Витте не скрывал, что это он «сломал шею» Вышнеградскому). Сибирская магистраль, наряду с винной монополией и золотой валютой, была одним из трех китов, на которых держалась политика Витте. Хронологически, постройка Сибирской дороги и его министерство совпадают: с ее началом он стал министром финансов, с ее окончанием он перестал им быть. Приведенная мною в таких больших отрывках записка, помимо своего конкретного содержания, характерна как иллюстрация подхода к делу одного из самых влиятельных ведомств и одного из самых влиятельных людей эпохи. Железная дорога для Витте была прежде всего другом, орудием торгового капитала и лишь в последней очереди обещала стать орудием и капитала промышленного. В то же время это была конечно и стратегическая дорога. Это все время твердо помнил тот, кто ее закладывал. Для Николая II дорога не имела смысла вне ее конечной военной цели. В конце концов экономика и стратегия воплотились—первая в лице Витте, вторая—в лице Николая и окружавшей его безобразовской шайки. И стратегия победила своего собственного министра финансов, чтобы быть затем побежденной на настоящем военном поле битвы с Японией.

А теперь, словами опять-таки самого Витте, расскажем, зачем был открыт Русско-Китайский банк.

«Вскоре после открытия комитета Сибирской железной дороги министр финансов возбудил в комитете вопрос о торговых интересах России на Дальнем Востоке и в особенности о сношениях ее с Китаем. Имея в виду, что Китай и Япония, с приближением к их пределам Сибирской

железной дороги, станут более доступными для сбыта русских продуктов и, в свою очередь, вероятно примут меры к развитию своего вывоза в Россию, министр финансов полагал уже тогда своевременным всесторонне ознакомиться с условиями нашей торговли на крайнем Востоке и изучить потребности тамошних рынков. Для достижения этой цели следовало бы, по мысли министра финансов, организовать срочное получение от наших дипломатических представителей и консулов обстоятельных сведений о ходе международного обмена и о развитии промышленности в названных государствах, так как без таких сведений едва ли возможно надеяться на серьезное расширение торговых оборотов наших на Дальнем Востоке.

К доставлению торговых сведений необходимо было бы также привлечь особых правительственных торговых агентов, а также пользоваться услугами проживающих в Китае и Японии русских купцов, успешных по личным наблюдениям основательно ознакомиться со всеобразными условиями местного экономического быта. Для изучения же наших пограничных сношений с соседними странами министр финансов признавал полезным образовать на местах особые комиссии из сведущих лиц, знакомых с этими далекими окраинами...

При производстве торговых сношений России с Китаем издавна ощущалась потребность в таком банке, который облегчал бы взаимные расчеты обеих сторон. В китайских портах до того времени оперировали немецкий, французский и несколько английских банков, и русские купцы принуждены были постоянно обращаться к услугам этих банков, оставляя в их пользу весьма значительные суммы. Главной операцией русской торговли в Китае издавна являлось чайное дело. В Хон-Коу, главном чайном рынке, на долю русских приходилось в то время до 46% всего вывоза чая, и в этой отрасли торговля России всегда занимала первенствующее и вполне самостоятельное положение. Между тем платежи за чай русские торговцы должны были производить траттами на Лондон, которые реализовались либо в Шанхае, либо в самом Хон-Коу, где на время чайного сезона открывались агентства иностранных банков в Китае, причем иностранные агентства, ввиду отсутствия конкуренции, взимали весьма высокие проценты. Размер платежей, производившихся здесь русскими фирмами в течение чайного сезона, был весьма значителен. на-

пример за сезон 1893 г.—последнего отчетного года перед учреждением Русско-Китайского банка—из России было переведено в Китай 1 540 000 фунтов стерлингов и 132 000 рублей серебром в слитках. С учреждением банка в Китае операция по переводам денег в китайские пункты постепенно могла перейти в этот банк.

Кроме того, русский банк в Китае должен был облегчить самые условия чайной торговли; при отсутствии кредита торговцы чаем должны были располагать крупным оборотным капиталом, а потому торговля эта делалась доступною только немногим очень богатым фирмам, тогда как русский банк дал бы возможность принять участие в чайной торговле и мелким фирмам, открывая им необходимый для этого кредит, и таким образом содействовал бы привлечению к оборотам с чаем новых русских сил».

Итак в первую голову банк должен был служить интересам русской чайной торговли. Огромным недостатком этой последней была ее ужасающая пассивность: русские платили за чай деньгами, благодаря чему при 6 миллионах руб. ввоза в Китай из России получалось 39 миллионов руб. вывоза из Китая в Россию, т. е. сальдо не в нашу пользу в 33 миллиона, в 50% всего русского ввоза. Чтобы избежать этого, Витте предполагал усилить ввоз русских продуктов в Китай. «Вместе с тем банк этот мог бы содействовать ввозу русского керосина на китайские рынки, где ему приходится выдерживать конкуренцию с керосином американским. Вообще не могло быть сомнения, что такой банк оказал бы существенное влияние, на расширение торговых сношений наших тихоокеанских окраин с Китаем и на ввоз в него наших пищевых продуктов, всегда находивших себе здесь хороший сбыт».

Как видим, вывозить предполагалось отнюдь не произведения русской обрабатывающей промышленности, а керосин и пищевые продукты, т. е. хлеб, мясо, рыбу и т. п. Чтобы банк не уклонялся от своей прямой задачи, служить русской торговле, были приняты специальные меры. «Министерство финансов заботилось главным образом о том, чтобы деятельность банка в России не отвлекала его внимания и капиталов от прямого их назначения служить развитию русской торговли на Востоке; поэтому банку вовсе не разрешены были в России операции по выдаче ссуд и открытию кредитов под залог процентных бумаг, драгоценных металлов, товаров, коносаментов и т. п.; но, взамен того, ввиду непосредственных сно-

шений банка с азиатскими государствами, ему разрешены были некоторые операции, другим банкам не разрешаемые, как например покупка и продажа процентных бумаг, транспортирование товаров (прием товаров в залог с выдачею варрантных свидетельств) и даже покупка и продажа товаров, но при том лишь условии, чтобы все эти операции производились исключительно в интересах нашей торговли с Дальним Востоком и имели непосредственное отношение к тем русским фирмам, которые производят обороты свои в пределах азиатских стран. Что же касается действий банка в других европейских странах, то в этом отношении банку предоставлено было совершать все операции, разрешенные местными законами.

Если деятельность Русско-Китайского банка была сравнительно ограничена в пределах европейских стран, то тем шире и свободнее организована она для Востока. Здесь, кроме операций чисто банкового характера, банку разрешены были и такие операции, которые можно назвать торговыми, страховыми и комиссионерскими. Банку предоставлено было покупать за свой счет или по поручению частных лиц товары, принимать на себя транспортировку товаров (морскую, речную и сухопутную), страховать их от огня и от других несчастных случаев, покупать и продавать за счет третьих лиц недвижимость, учитывать векселя и выдавать ссуды не только на девять месяцев, как это установлено для других банков, но и на год, и даже выпускать собственные билеты».

Но, кроме торговца, банку не возбранялось быть и купщиком. «Наконец, кроме всего этого, банку разрешено было с целью возможного усиления русского экономического влияния, получение платежей по податям, производство операций, имеющих отношение к местному государственному казначейству, чеканка местной монеты, а также получение концессий на постройку железных дорог и проведение телеграфных линий».

Едва ли можно найти документ, где связь железнодорожного строительства именно с торговым капиталом выразилась бы более четко. Я должен, таким образом, взять назад высказанное мною однажды (в «Русской истории в самом сжатом очерке», ч. 3) утверждение, будто и Русско-Китайский банк имел главной целью железнодорожное строительство и будто эту цель поставил перед Витте металлургический кризис конца 1890-х годов.

Устав банка был утвержден 10 декабря 1895 г., когда никаким кризисом еще и не пахло, и строительство железных дорог вытекало отнюдь не из потребностей русской промышленности, а из потребностей русского торгового капитала, как впрочем было и в самой России в 1860-х годах.

Связь эта сознавалась, нужно сказать, и гораздо раньше. Уже в своей записке 1892 г. Витте писал, «что Сибирская железная дорога настолько приближается (в Забайкалье) к китайской границе, что является возможность, с помощью ветви в китайские пределы, завязать непосредственный торговый обмен с внутренними весьма населенными провинциями Китая. Постройка такой ветви едва ли встретит серьезные препятствия в ближайшем будущем, а в этом случае наши торговые обороты с Китаем стали бы расширяться очень успешно, обеспечивая в то же время увеличение доходности магистральной Сибирской линии и усиливая наше значение в международной торговле с Китаем».

Таким образом в самом конце XIX в. в своей внешней политике империя «Романовых» осталась колониальной державой наиболее примитивного типа—аппаратом торгового капиталистической эксплуатации малокультурных (или казавшихся малокультурными) стран. Промышленный капитал и во внешней политике, как внутри России, шел по пятам торгового. Торговому капиталу нужны были железные дороги,—и промышленность их строила, но лишь там и постольку, где и поскольку это нужно было торговому капиталу. При этом методы действия этого торгового капитала менялись так же туго, как и методы действия русского самодержавия внутри страны. При первой заминке или просто при первом удобном случае банковые операции сменялись лихим ударом кулака: в 1896 г. начал свои операции Русско-Китайский банк, а уже в 1900 г. на китайской территории оперировали генералы Церпицкий и Ренненкампф с братией. Но цель операций обоих типов была одна и та же: создание новых колоний, новых жертв эксплуатации русского торгового капитала.

Читатель видит, как нелепо жаловаться, что у того или другого писателя торговый капитал «заполнил всю русскую историю». Это очень сродни жалобам на то, что у К. Маркса теория прибавочной стоимости «заполонила» всю политическую экономию. Что же делать, если эта теория так много объясняет в буржуазной экономике. Что же делать, если только торговым капитализмом можно объяснить такой чу-

довидный факт, как переживание в России на заре XX столетия абсолютизма типа XVI—XVII вв. Другого марксистского объяснения пока не дано, а попытки его дать привели к бессознательному плагиату у Чичерина и Соловьева, которые были весьма почтенными людьми, конечно, но только совсем не марксистами...

Вопрос о долговечности самодержавия сводится таким образом к вопросу о причинах, обеспечивавших в России долголетие торговокапиталистической, т. е. наиболее экстенсивной, форме капиталистической эксплуатации. То есть перед нами все тот же вопрос о причинах «отсталости» русского народного хозяйства наряду с чудовищнобыстрым ростом русской капиталистической промышленности. Картина, колонизаторской деятельности «Романовых» потому и ценна, что она разрешает эту загадку. И экстенсивность русской капиталистической эксплуатации и экстенсивность русского крестьянского хозяйства сводятся к одному корню, объясняются одним фактом: наличием на востоке огромной площади нетронутой целины, куда мог уйти от «тесноты» русский крестьянин, и куда мог пойти следом за ним русский торговый капитал. Сибирская железная дорога за десять лет в пять раз увеличила количество сибирского экспортного хлеба (с 13 млн. пудов в 1900 г. до 57—70 млн. пудов перед войной 1914 г.)¹—и пришлось даже принимать меры против «затопления» рынка сибирским хлебом путем особых ухищрений с железнодорожным тарифом. Вывоз масла с 400 пуд. (стоимостью на 6 000 руб.) в 1894 г., когда дороги вовсе не было, поднялся до 4,6 миллионов пудов в 1915 г. (стоимостью на 74 000 000 руб.). Благодаря сибирскому маслу Россия стала второй в мире страной на международном масляном рынке (первою была Дания)—¹/₅ всего потребления масла Англией покрывалась Россией.

При таких великих и богатых милостях, которые давало простое географическое расширение площади русского сельского хозяйства, стоило ли хлопотать о его интенсификации, о развитии у нас капиталистического сельского хозяйства с машинами, искусственным удобрением

¹ Вывоз хлеба из Сибири развивался таким темпом:

Годы	Млн. пудов
1905	17
1906	28
1907	44
1908	58

и пр.? А впереди мерещились новые обширные площади северной Манчжурии, которую ген. Куропаткин, поддерживаемый Плеве, рассматривал именно как арену будущей русской колонизации, почему и предполагалось не пускать туда китайцев.

Диалектика процесса и выразилась в смене разных форм торгового капитализма. Создание новых районов мелкого крестьянского хозяйства для торговокапиталистической эксплуатации было несомненно относительно прогрессивным типом этой последней: это уже был не простой грабеж. И этой диалектике торгового капитализма соответствовала диалектика политически обслуживавшего его самодержавия: переселенческая политика была под лозунгом бурократии, грабительская была под покровительством вотчинной верхушки всей системы. Николай и безобразовская шайка тянулись к южной Манчжурии и Корею, странам относительно густо населенным и богатым, куда никого нельзя было переселить, но где можно было грабить готовое. Это противоречие внутри самодержавия и выразилось в начале 1900-х годов в образовании рядом двух правительств: «ведомственного»,—с Витте, Куропаткиным, Ламздорфом и т. д.,—и «вневедомственного», во главе с Николаем и Безобразовым. Оба отражали интересы торгового капитала, но двух его различных фаз.

А ниже этой диалектически построенной верхушки, давимые ею, но давя и на нее, стояли представители промышленного капитализма, фабриканты, заводчики и «левые земцы», капиталистические помещики. Это была власть завтрашнего дня, власть, шедшая на смену самодержавия, но в 1906 г. добившаяся только компромисса с самодержавием в лице правительства Столыпина.

Диалектика всего процесса налицо, но она отставала от диалектики народного хозяйства. В ту минуту, когда—во время империалистической войны—промышленный капитал стал подходить к власти, уже существовали все условия для следующей стадии развития, государственного капитализма. Громадный восточный пустырь, тяжелым грузом висевший на русском народном хозяйстве, всего тяжелее тянул книзу его политическую надстройку. На вопрос о причинах отсталости и приходится прежде всего отвечать указанием на наличие колоний и, в первую очередь Сибири, но затем и Кавказа и Средней Азии. Недаром Щедрин с гениальной меткостью создал «ташкентца», как тип наиболее реакционной формы государственного насилия.

И благодаря историко-географической обстановке «ташкентец» легко одерживал верх над более прогрессивными формами «государственности». И всего более отставшая диалектика верхушечного аппарата все ближе и ближе нагонялась великим и основным диалектическим противоречием: эксплуатирующего верха и эксплуатируемой трудящейся массы. Сравнительно слабая—сравнительно с временами Николая I например—сопротивляемость верхушки именно и объясняется раздиравшими эту верхушку диалектическими противоречиями, которые, чем ближе к нашему времени, тем становились острее. Пока дело не дошло до того, что тяжелый дух вотчинного режима стал невыносим даже для Протопопова...¹.

¹ Слепков (см. номер «Большевика» от 1 июня) продолжает с достойным лучшим применением усердием ломать открытые двери, доказывая: 1) что Ленин был диалектик, 2) что русское государство, как и все вещи на свете, развивалось диалектически. Ни в том ни в другом ни у одного русского марксиста никогда не было ни малейшего сомнения. Но спор у нас со Слепковым идет совсем не об этом. Спор идет о том, представляло ли русское самодержавие (а не русское государство, Слепков: это две вещи разные) в конце XIX в. промышленный капитализм или же нет, а промышленный капитализм в системе, именуемой «русское государство», представлялся не самодержавием, а силами ему враждебными (например в 1910—1914 гг. оппозиционными партиями Государственной думы, которая конечно была такою же составною частью «русского государства», как и Боярская дума XVII в., о которой говорил Ленин). Т. е. было ли русское самодержавие в конце XIX в. прогрессивным явлением, толкавшим вперед экономическое развитие (о прогрессивной роли промышленного капитализма для той эпохи опять-таки ни один марксист не спорит, спорили против этого только народники) или же оно было силой реакционной, это развитие задерживавшей. Думаю, что стоит так поставить этот вопрос, чтобы на него и ответить—и чтобы видеть, в каких безнадежных противоречиях запутываются те, кому приходится объяснять «особенности исторического развития России» наперекор марксизму.

ОТВЕТ т. ТОМСИНСКОМУ ¹

«Века протекали, лицо изменилось земли», только самодержавие, как политически организованный капитал (?), оставалось незыблемым в течение веков. Внутренняя и внешняя политика царизма вплоть до 1917 г. определялась только интересами торгового капитала. Русское самодержавие оставалось недостижимым для диалектики. Вот вывод т. Покровского по вопросу о социальной природе русского самодержавия».

Так начинает т. Томсинский свою «критику». В подзаголовке его статьи отмечено, что предметом критики является между прочим сборник статей: «Марксизм и особенности исторического развития России». Если читатель возьмет этот сборник и развернет его на стр. 130, он там прочтет: «Диалектике торгового капитализма соответствовала диалектика политически обслуживавшего его самодержавия». Совершенно ясно, что ни написать, ни даже подумать, что «русское самодержавие оставалось недостижимым для диалектики» (подчеркнутая мною фраза в начальном пассаже статьи т. Томсинского), Покровский не мог. Он настаивал лишь—и настаивает—на «закоченелости политической формы» царизма (Сборник, стр. 96), что есть не что иное, как повторение иными словами мысли т. Ленина о «невероятной застарелости и устарелости царизма», этой «монархии, державшейся веками» (первое «письмо издаека», соч. XIV, стр. 5, разр. моя—М. П.).

Вековую давность русского самодержавия не отрицал та-

¹ Ответ на рецензию т. Томсинского—«К вопросу о социальной природе русского самодержавия» (М. Н. Покровский, Марксизм и особенности исторического развития России, «Прибой», 1925 г. Его же, Японская война, сб. «1905 г.», т. I), помещенную в журн. «Вестник Комкадемии» № 15, 1926 г. В том же номере журнала напечатана и статья М. Н. Покровского (стр. 284—299).

ким образом и величайший диалектик нашего времени, причем «суть царской монархии» «обнажила», по Ленину, «первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха» (1907—1914 гг.) (то же письмо далее стр. 6). То есть до XX в. «суть» эта оставалась приблизительно та же. Сам Ленин определял эту «суть» как крупное землевладение: Романовы для него—это «первые среди равных помещики, владеющие миллионами десятин» (там же; разрядка Ленина). Непосредственно это, конечно, так и было: непосредственно самодержавие возглавляло собою помещичий класс. Но когда я в своей маленькой книжке постарался показать, что и крупное землевладение в России было лишь частью общей системы русского меркантилизма, Ленин нашел эту концепцию вполне приемлемой и нимало не еретической.

Итак, диалектика, настоящая диалектика, ничего не имеет против того, чтобы учреждения существовали «веками» и имели «суть» весьма архаическую. Сейчас мы увидим пример этого еще более разительный. Но прежде мне хотелось бы, чтобы читатель не забыл «начального пассажи» работы т. Томсинского. Как читатель теперь видит, это—«пассаж» в двойном смысле слова.—Во-первых, в обыкновенном литературном, а во-вторых, в том смысле, когда говорят: «ах, какой пассаж!» В самом деле, подумайте только: человеку приписана мысль, которой он никогда не имел, не мог иметь, которая противоречит всему его миросозерцанию. Кем приписана? Автором, который взялся его критиковать, т. е. который прежде всего должен знать миросозерцание критикуемого им писателя. И т. Томсинский конечно прекрасно знает, что я не мог ни написать, ни даже случайно подумать, что какой-либо общественный институт «недосягаем для диалектики». И тем не менее он мне эту мысль приписал. Как это называется, когда человеку сознательно приписывают то, чего он ни сказать, ни подумать не мог? Это, я полагаю, знает и читатель, знает и т. Томсинский. И так как читатель и т. Томсинский без труда найдут соответствующее слово, то в моих терминологических указаниях они и не нуждаются. А теперь, констатировав этот, по существу мало интересный, но, несомненно, подлежащий констатированию факт, пойдем дальше.

Пока все же не дальше этого начального «пассажа». Что самодержавие—в не диалектики, этого автору, разбираемому т. Томсинским, нельзя было бы приписать не только субъективно—как мысль этого автора,—но даже и объективно,

как вывод, сделанный кем угодно из его трудов. Ибо никто другой, как этот автор, дал одну из первых в исторической литературе картин возникновения самодержавия, как объективного исторического факта. Предшествовавшие писатели, буржуазные, обыкновенно под видом возникновения самодержавия говорили о возникновении теорий, политических и юридических, связанных с самодержавием. А так как затем сама история показала нашему поколению у н и ч т о ж е н и е самодержавия, то диалектическая формула этого явления стоит так прочно, как никакого другого: есть и возникновение и уничтожение. Понимать самодержавие м е т а ф и з и ч е с к и, как нечто незыблемое и вечное, теперь не смог бы даже архиепископ Антоний Храповицкий. Но, смущаются некоторые молодые товарищи, в промежутке между возникновением и уничтожением оно у вас почти не двигалось. Правда, что медленно оно двигалось, как мы сейчас видели, и для Ленина; правда, что и для меня оно д в и г а л о с ь, а не стояло на месте. Но все же: правда ли, что для диалектики исторического процесса обязательна б ы с т р о т а движения, что диалектическое понимание истории уподобляет оную огромной кинофильме?

Я прошу читателя развернуть одну старую, но весьма почтенную книжку и прочесть такие например строки: «Буржуазия не может существовать, не революционизируя постоянно орудий производства, а следовательно производственных отношений, а следовательно и всех общественных отношений. Напротив, неизменное сохранение старого способа производства было первым условием существования всех прежних промышленных классов».

Кто этот заскорузлый метафизик, который осмеливался утверждать, что могут быть «неизменные» способы производства? Что это за метафизическая книжка, откуда взяты эти строки? Их было двое. Одного звали Маркс, другого Энгельс. Книжка же, где они излагали свои еретические мысли, называется «Коммунистическим манифестом». И еще один из них, Маркс, не постыдился повторить эту мысль в другой, полной впрочем всяких ересей книжке, называемой «Капитал» (см. русск. перев. 1923 г., т. I, стр. 468, прим. 306).

В этой последней книжке Маркс с особенной ясностью показывает, что быстрый темп исторического развития характерен именно для эпохи развитого промышленного капитализма. «Современная промышленность никогда не рассматривает и не трактует существующую форму известного

производственного процесса как окончательную. Поэтому ее технический базис—революционный, между тем у всех прежних способов производства базис был по существу консервативен».

Мелкому производству вообще свойственен не быстрый, а медленный ход исторического процесса. Вот откуда ужасающая монотонность истории всех старых монархий эпохи торгового капитала, до Китая XIX в. включительно. Китай в этом отношении побил все рекорды; там старая монархия жила не «века», но тысячелетия. И когда у нас начнут писать марксистскую историю Китая,—а это надо сделать, и чем скорее, тем лучше,—я уже не знаю, как на это будут реагировать наши молодые диалектики».

А теперь на какой базе развивался у нас торговый капитализм и возглавившее его политически самодержавие? На базе мелкого производства. Имело ли у нас крупное экономическое значение мелкое производство даже в XX в.? Смешной вопрос: всякий читатель газет знает, что и сейчас еще имеет. Значению этого факта, в связи с застойностью самодержавия, в моем сборнике посвящен ряд страниц (104 и сл.). Эти страницы особенно рекомендуются тому, кто прочтет у Томсинского, будто у меня торговля «совершенно оторвана от производственных отношений». Не марксистским—не говоря уже, что объективно, исторически неверным—было бы утверждение, что самодержавие, возглавляя всю систему эксплуатации мелкого производителя, должно было развиваться быстро, меняться быстро. Особенности политического строя дореволюционной России теснейшим образом связаны с существовавшими в ней производственными условиями. Если т. Томсинский этого не понимает, то это потому, что ему дореволюционная Россия представляется на манер того, как изображали ее наиболее вульгарные вульгаризаторы эпохи «легального марксизма», среди которых в ходу было словечко о «предрассудке—считать Россию земледельческой страной». Тогда, как реакция против народнического вульгаризаторства, не желавшего видеть в России промышленного капитализма, это было еще понятно,—хотя и неверно. Теперь, когда и народничество, и легальный марксизм давно на том свете, после всего написанного за эти 20 лет Лениным читать рассуждение Томсинского на ту тему, что вся внешняя политика России определялась исключительно интересами промышленного капитала, что допромышленные формы капитализма, тем паче докапиталистические формы хозяйства не играли в России ника-

кой роли, а торговый капитал играл ту подсобную роль, какую он должен играть в системе развитого промышленного капитализма,—теперь читать все это донельзя странно. Точно видишь какого-то динозавра, вылезającego из допотопной пещеры...

Между тем с этой допотопной точки зрения, что в России промышленный капитализм был все, что им все двигалось и существовало, Томсинский пытается понять, повторяю, всю внешнюю политику самодержавия, притом начиная даже далеко раньше XIX столетия. «Войны Петра I были не только войнами за торговые пути, как думает Покровский»,—поучает нас Томсинский.—«Они глубоко отличались от голландских торговых войн XVII в. Царизм каленым железом выжигал Приуралье и Башкирию» и т. д. Дальше сообщаются всем известные факты роста уральских горных заводов в XVIII в. Ради этого, видите ли, Петр вел войны... в Башкирии. Это открытие совершенно новой операционной линии походов Петра составляет личную заслугу т. Томсинского: до сих пор все думали, что Петр воевал в других местах. Было бы конечно удобнее, если бы автор сообщал и внешние подробности «войн»: когда были объявлены, кто руководил операциями с той и с другой стороны, где были сражения, когда заключен мир и т. д. А кстати было бы объяснено, почему Петр поставил столицу не на Уфе, а на Неве, ежели борьба за торговые пути для него не имела особого значения¹. Это по части истории. А по части экономики желательно получить разъяснение, всегда ли промышленный капитал «выжигает каленым железом» рынок рабочих рук,—ибо башкиры очевидно нужны были как промышленные рабочие,—и если да, то почему он это делает. Уж взялся человек открывать Америку, от него можно потребовать точных географических указаний.

Читатель начинает понимать, почему т. Томсинский к

¹ Башкирия была аннексирована Московским государством еще при Грозном, после захвата Казани. Вскоре же начался грабеж башкирских земель, нашедший себе отражение уже в законодательстве Алексея Романова и являющийся, наравне с завоеванием Сибири, одним из самых ярких образчиков древнейшего русского колонизаторства. На грабеж башкиры ответили рядом восстаний—в середине XVIII в. восстание было почти нормальным их состоянием. Подавлялись восстания с самой варварской жестокостью. Само собою разумеется, что промышленный капитализм здесь не при чем,—до второй половины XVIII в. на территории Башкирии был только один завод, да и тот прогорел. Промышленность, основанная на крепостном труде русских, а не башкир, развивается в Башкирии лет через 40 после Петра.

концу своей статьи доходит до совершенного отчаяния и начинает утверждать, будто «между торговым и промышленным капиталом не было глубоких противоречий или их в о в с е н ь б ы л о» (разрядка моя М. П.). В самом деле, когда человек не понимает, что торговый капитализм, промышленный капитализм—это две громадные эпохи капиталистического развития, что говорить о политике промышленного капитализма при Петре это все равно, что говорить об артиллерии Аннибала или вычислять количество паровых сил на каравеллах Колумба,—положение становится совершенно безнадежным. Дойдя до такого, поистине антидиалектического, состояния ума, вообще нельзя заниматься историей, ибо нельзя понять ни одного исторического вопроса. Маленький вопрос о башкирских походах Петра объясняет нам отношение т. Томсинского к большому вопросу о социальной природе русского самодержавия. Этот большой вопрос и поставлен-то был сосуществованием рядом, в пределах одной государственной территории, и крупной промышленности вполне современного типа, и полусредневекового мелкого производства, эксплуатировавшегося купеческим капиталом наиболее примитивного образца. Без второго немыслимо было самодержавие; без первого немыслима была революция. С м а з а т ь противоположность этих двух систем, объявить самодержавие продуктом промышленного капитализма—значило сделать неразрешимой загадкой существование нашей политической архаики и ненужной буржуазную революцию в России.

Это непонимание Томсинским того, что история не есть простое нагромождение фактов, что в истории факты следуют одни за другими в определенном порядке, эта «исходная путаница», так сказать, всей его статьи (боюсь, что всего его мирозерцания) лишает всякого теоретического интереса ее разбор. Нельзя же пересказывать целыми страницами Маркса и Ленина,—да и кому это нужно? Не читателям «Вестника Коммунистической академии»,—во всяком случае. Лишь для иллюстрации основного принципа «томсинщины» я разберу поэтому только два эпизода, в начале и в конце.

Вначале Томсинский пытается обосновать ту мысль, что завоевание Средней Азии было вызвано интересами промышленного капитала, искавшего как промышленного сырья, так и новых рынков для сбыта своих фабрикатов. Он приводит цифру роста ввоза русской мануфактуры в Среднюю Азию с 1892 по 1907 г. Для хлопка, к сожа-

лению, он ни цифр, ни дат не приводит. Массовое хлопководство (посевы американских семян хлопка—местные сорта для фабричного производства не годились) начинается в Средней Азии во второй половине 80-х годов, т. е. укладывается в те же приблизительно хронологические рамки, что и приведенные Томсинским данные о ввозе в Среднюю Азию русской мануфактуры. И то и другое связано с промышленным подъемом конца XIX в.

Теперь, когда же была завоевана Средняя Азия? В 80-х годах? Нет, в 60—70-х (первая половина). Искала ли русская промышленность в 60-х годах новых заграничных рынков? Достаточно напомнить, что это было на другой день после ликвидации крепостного права, т. е. самого грандиозного расширения внутреннего рынка, какое только имела Россия за все XIX столетие. Недаром в эти годы у нас позволили себе роскошь наиболее фритредерского таможенного тарифа, какой опять-таки только существовал в России с 1822 г. Тут определенно сквозила мысль, что без иностранного подвоза русская промышленность с новым внутренним рынком не справится—и отчасти это было верно¹.

В это именно время царские войска двигаются в междуречье Аму и Сыра. Зачем? Ни в каких заграничных рынках надобности не ощущалось; по части сырья был, правда, хлопковый кризис, созданный американской гражданской войной, но что Средняя Азия может заменить Америку, этого тогда просто не знали, это узнали после, познакомившись как следует с климатом уже завоеванной страны. Во всяком случае в 60-х годах, когда брали Ташкент и Самарканд, американского хлопка в Средней Азии никто не сеял.

Итак, никакого экономического объяснения движению русских в Среднюю Азию дать нельзя? Непосредственное экономическое объяснение может конечно идти только от интересов русского купеческого капитала, который и был представлен в Самарканде хлудовскими приказчиками. Но конечно этого для объяснения настойчивой борьбы за Среднюю Азию, для объяснения ряда дорогостоящих экспедиций мало. И вообще объяснять все непосредственно экономическими причинами—вовсе не марксистский прием. «Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является единствен-

¹ См. мои «Очерки по истории революционного движения в России», стр. 48—49.

ной активной причиной, а остальные являются лишь пассивными факторами», писал Энгельс еще в 1894 г. «Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, которая в конце концов проявится... Нет какого-то автоматического действия экономического положения, как это иногда весьма удобно воображают, но люди делают свою историю сами, только в определенной, обуславливающей их среде, на основе оставшихся от прошлого действительных отношений, среди которых экономические являются в последнем счете все же решающими...»¹

Эти «решающие в последнем счете» условия мы и найдем, если от метода, который Томсинский считает «материалистическим», мы перейдем к методу, им окрещенному «психологическим». Если мы будем с карандашиком в руках подсчитывать, сколько пудов ввезли, сколько вывезли, мы можем, в ином случае, ровно ничего не найти. А вот если мы возьмем дипломатические документы эпохи (пользование ими Томсинский и объявляет «психологическим методом»), действительная связь вещей и действительный материальный базис русской среднеазиатской политики станут для нас ясны. Русско-английский конфликт XIX в., стержнем которого была борьба за Константинополь и проливы, был только на время прерван Парижским миром 1856 г., а вовсе не закрыт. Аннулирование Парижского мира, восстановление черноморского флота и возобновление борьбы за проливы становятся очередной задачей политики Александра II. Для этого нужно было найти союзников в Европе—и Россия поддерживает Пруссию, помогает ей стать Германской империей. России нужно было обойти Англию с тыла, занести кулак над Индией; для этого нужно было завоевать «Туркестан». В основе лежала таким образом главная линия политики русского торгового капитала, борьба за проливы—вот почему и экспедиция в Среднюю Азию была его, торгового капитала, делом. И приемы, какими экспедиции велись, были приемами его же, торгового капитала: для характеристики приемов я привожу все эти иллюстрации насчет подвигов ташкентцев.

Для т. Томсинского, понимающего историю как грудку фактов, преимущественно статистического характера, все это конечно «не имеет никакого научного значения». А для помнящих слова Энгельса, что «люди делают свою историю

¹ Энгельс, Письмо к Штаркенбургу 25/1 1894. Сборник Адо-ратского, стр. 314 315. Разрядка оригинала.

сами», видеть живое лицо этих деталей истории чрезвычайно важно¹.

Естественно, что там, где статистика совершенно бес- сильная и где нужно не знать (факты общеизвестны), а понимать, Томсинский оказывается в положении ры- бы, вытасненной на песок. Слепков попробовал использовать против меня как доказательство «перерождения» самодержавия характеристику Временного правительства 1917 г. у Ленина. Я конечно указал в ответ, что Временное правительство и его родитель, «прогрессивный блок»,—это одно, а самодержавие—это совсем другое. Томсинскому ужасно хочется «помочь» Слепкову, и принимается он за это со всем усердием крыловского медведя. Для начала он, в маленьком примечании, спутывает «прогрессивный блок» 1916—1917 гг. с буржуазией перед 1905 г. и, взяв одну мою характеристику, относящуюся к этой последней, с па- фосом спрашивает: «Как переваривает это противоречие молодежь, которая учится по учебникам т. Покровского?». Поскольку эта молодежь обладает элементарной марксист- ской грамотностью, она вероятно понимает, что диалектика действительна не только по отношению к самодержавию, а и к буржуазии также, и что отношение сей последней к самодержавию за промежуток времени с 1904 по 1917 г. могло измениться, тем паче, что этим изменением я зани- мался в своих работах, довольно известных (см. напри- мер «Очерк истории русской культуры», ч. 1, стр. 124—125 по 4-му изд.). Опасаться, что молодежь запутается между этими двумя соснами (их даже не три, а только две!), как наш «диалектик», нет ни малейшего основания.

Чувствуя очевидно, что у него тут что-то не вышло, Томсинский спешит «нажать педаль». Я задаю Слепкову недоуменный вопрос: зачем же прогрессивному блоку, т. е. промышленной буржуазии, понадобилось сбрасывать Ни- колая, если Николай со своим самодержавием представлял именно промышленный капитализм? Тов. Томсинский нахо- дит момент чрезвычайно удобным, чтобы разыграть благо- родное негодование. «Впервые приходится слышать от большевика о том, что русская буржуазия сбрасывала Ни- колая»—с пафосом начинает он декламировать. Всей де- кламации выписывать нет надобности, и основана она на самой простенькой и вульгарной п е р е д е р ж к е: я никогда

¹ Желаящих знать подробности русско-английского конфликта 60—70-х годов отсылаю к IV тому моей «Русской истории с древнейших времен».

нигде не говорил, что русская буржуазия, даже этого времени, была настроена революционно, но утверждал и утверждаю, что в 1917 г. она была более смело и откровенно оппозиционной, чем в 1905 г. Буржуазия не была за низвержение монархии, поэтому она хотела заменить Николая Михаилом: но она была за низвержение самодержавия и замену его парламентской монархией с министерством «общественного доверия». Прекрасно понимая что выступление народных масс поведет к низвержению именно монархии, буржуазия хотела это предупредить и подменить революцию дворцовым переворотом. История этой попытки (заговор ген. Крымова, с участием официальных представителей кадетской партии—Некрасова и Терещенки), оборванной мартовской революцией, всем хорошо известна. Почему же большевику нельзя говорить о всем хорошо известных вещах? Потому что т. Томсинский не понимает разницы между абсолютной и конституционной монархией, между оппозицией и революцией?

Но пора наконец перейти к исторической статистике т. Томсинского. Если его статью стоило напечатать, то конечно только ради кое-какого цифрового материала, им собранного. Если бы в статье не было ничего кроме рассуждений, в стиле вышеприведенных, едва ли какой-нибудь журнал согласился бы это опубликовать. Ибо историческое, юридическое и всякое иное невежество автора (я позволяю себе усвоить «свободу языка» т. Томсинского) есть его личное дело, и зачем же затруднять других демонстрацией этих его свойств *ad oculos*? Но у него кроме безграмотных исторических сближений и невежественных экскурсов в область политики есть определенный историко-статистический материал. За сообщение его должны быть признательны т. Томсинскому прежде всего сторонники опровергаемых им взглядов, ибо он дает несколько лишних подтверждений именно этим взглядам.

Но прежде всего два слова об особенностях этого материала. Он крайне капризен. В некоторых случаях цифры просто сочинены т. Томсинским, представляют собою плод его комбинаторской фантазии. Затем цифры появляются и скрываются, когда это нужно т. Томсинскому: иногда, где цифра дозарезу нужна читателю, ее нет,—хотя добыть ее весьма легко. Так было (читатель припомнит) с хронологией среднеазиатского хлопка, но этот случай не единственный.

В результате собиране историко-статистического материала т. Томсинским оказывается делом чистого альтруизма:

его цифрами, проверив их, могут воспользоваться другие; но ему самому от его цифр не всегда бывает польза, несмотря на все принимаемые им меры предосторожности.

На стр. 266 т. Томсинский высчитывает, сколько лет царская Россия воевала за интересы торгового капитала и сколько за интересы промышленного. Выходит, что на защиту интересов торгового капитала пошло всего 15 лет и 5 месяцев войны, а на защиту интересов промышленности—104 года и 3 месяца. От этой точности можно было бы притти в восторг и признать немедленно, что моя точка зрения—о преобладании в царской внешней политике интересов торгового капитала—вполне «нелепа», если бы не поражали некоторые слагаемые этих сумм. С Францией в течение XIX столетия Россия будто бы воевала 3 года и 3 месяца. Сложим:

1805—1807,	примерно,	2 года
1812—1815	»	3 »
1854—1856	»	2 »
<hr/>		
Итого	примерно	7 лет

Не будучи столь осведомленным в истории, как Томсинский, не решаюсь подсчитывать месяцев и дней (можно бы—да уж очень скучно и глупо...). Так что готов согласиться, что, может быть, не 7 лет, а $7\frac{1}{4}$ или $6\frac{1}{2}$. Но все-таки не 3 года. Далее, в течение XIX в. Россия воевала и с Англией с февраля 1854 г. по март 1856 г., круглым счетом 2 года. Куда это девал Томсинский? Словом, в колонне «войн торгового капитала» явно неблагополучно. Но еще более неожиданные цифры колонны «промышленной». Тут, оказывается, Россия воевала в Средней Азии 30 лет и 9 месяцев. Подсчитаем: завоевание «Туркестана» началось в 1864 г., закончено было в 1876 г.: 12 лет. Закаспийская экспедиция началась в 1879 г., окончилась в январе 1881 г. Как будто 2 года: итого 14. Чем же наполнены остальные 16 лет 9 месяцев, о, великий историк? Если даже взять в расчет все предшествующие «экспедиции» (весьма кратковременные) и случайные стычки позднейшего времени (Кушка, Памир), которых конечно ни один разумный человек к «войнам» не сопричислит, от силы можно будет накинуть еще года 3. А остальные почти 15?

Вот уж можно сказать: «И статистика такая—где они ее берут!?».

Если непонятно, откуда Томсинский взял нелепые цифры, то еще менее понятно, почему он ту или другую войну относит к «промышленным» или «торговым». Насчет войн

в Средней Азии мы с читателем знаем уже, что они были вызваны именно интересами торгового капитала, если понимать под последними не интересы какого-нибудь московского купца, торговавшего с бухарцами, а интересы торгово-капиталистической системы как целого. Наоборот, войны Николая I с Турцией были по крайней мере на 50% войнами промышленного капитала, поскольку Николай «пролагал вооруженной рукой пути» русской мануфактуре на юг не только от Каспийского, но и на юг от Черного моря. Сомнительна в этом смысле и русско-шведская война 1808—1809 гг. Она была интегральной частью континентальной блокады; с Швецией воевали как с союзницей Англии, и если сам по себе захват восточных берегов Балтики заканчивал борьбу Петра за торговые пути, то ничто не способствовало так возникновению в России промышленного капитализма, как континентальная блокада.

Но перлом классификации Томсинского является конечно завоевание Кавказа: на него отведено 62 года 6 месяцев, «сплошь промышленных». Против цифр тут не возразишь, можно бы и больше поставить, поскольку война на Кавказе шла непрерывно с последней трети XVIII в. до второй половины XIX в. Но если вспомнить, что на Западном Кавказе война кончилась выселением сотен тысяч горцев в Турцию, а на восточном «завоевание» сплошь и рядом равнялось истреблению (см. мою книжку «Дипломатия и войны царской России»), то остроумие г. Томсинского проявится во всем блеске. По случаю победоносного похода Петра на башкир он нам показал «промышленный капитал», каленым железом выжигающий рынок труда: теперь мы видим тот же промышленный капитал, превращающий в пустыню рынок сбыта. Это всегда конечно промышленный капитал так и поступает: возьмет потребителя, да к чортовой матери его... А на пустом месте начнет торговать «готовыми продуктами»—с самим собой.

Разумеется, если отправляться не от проданных пудов и фунтов, а от торгово-капиталистической системы в целом, то без малейшего труда можно понять, почему нужно было, чтобы стоять твердой ногой на берегах Черного моря, не только завоевать Западный Кавказ, но и выселить оттуда все «неблагонадежные элементы». Недаром турки, со своей стороны, так цеплялись за Анапу до 1829 г. Но для этого придется «материалистический» метод—операции с фантастическими цифрами—заменить «психологическим»: изучением документов.

В итоге статистико-хронологические изыскания т. Томсинского приводят читателя к совершенно не ожидавшемуся автором выводу: читатель начинает догадываться, какая полезная книжка Иловайский. Ведь если бы т. Томсинский мог прочесть «большого Иловайского» («для старших классов среднеучебных заведений»), он бы отлично знал, когда, с кем, за что и сколько времени Россия воевала; Иловайский на этом стоит. Что бы ГИЗу переиздать это полезнейшее произведение? Что оно монархическое—не беда. Можно предисловие написать—тот же т. Томсинский это-то отлично сделает.

Читатель заметил—и с удивлением заметил, если т. Томсинский в чем-нибудь убедил его (на какой-то счет я, будучи лестного мнения о читателе, позволяю себе сомневаться), что меня нисколько, повидимому, не беспокоит «ужасное» обвинение в непоследовательности, в противоречии с самим собою и т. д., которое выдвигает т. Томсинский, с торжеством приводя цитаты—и какие свежие: 1923 года всего!—из моих же писаний, где я признаю влияние промышленности и капитала на политику Николая I. Покровский против Покровского! Подумайте, какое лакомство. На самом деле спор Покровского с Томсинским в этом пункте правильное было бы назвать «диалектика против метафизики»—не метафизики Покровского против его диалектики, а метафизического истолкования некоторых отдельных положений Покровского против диалектического понимания этих положений самим их автором.

Прежде всего упрек в формальной непоследовательности, страшный для буржуазного автора-метафизика, не имеет никакого значения для автора-марксиста. Если бы нашелся человек, который стал бы попрекать Ленина за разгон учредительного собрания в 1918 г., приводя то, что Ленин говорил об учредительном собрании в 1905 г., Ленин вероятно просто констатировал бы появление на политической сцене еще одного чудака—и не стал бы даже спорить. Ибо именно для диалектика вовсе необязательно повторять в 1918 г. то, что он сказал, в совершенно иной обстановке, на совершенно ином уровне развития общественных противоречий, в 1905 г. Так в политике. Но история есть политика прошлого—и для историка-диалектика совершенно ясно, что в истории одни и те же исторические силы, в разные моменты исторического процесса, могут играть различную роль. Русское дворянство в 1825 г. выдвинуло декабристов, а в 1905 г. оно же выдвинуло Столы-

пина и Пуришкевича. Основным стержнем внешней, как и внутренней, политики русского самодержавия были интересы торгового капитала, но в отдельные моменты своей истории это самодержавие могло дать перевес и капиталу промышленному: это бывало и во внешней и во внутренней политике. Тут методологически важно одно: что во всех случаях интересы торгового капитала все же доминировали, интересы промышленного играли подчиненную роль; они покровительствовались настолько, насколько это было нужно торговому капиталу. Классическим примером является «падение крепостного права», в 1861 г.: реформа 19 февраля конечно шла навстречу интересам промышленного капитала, но торговому капиталу она дала возможность увеличить эксплуатацию в таких размерах, как никогда ранее. Лишь под этим условием торговый капитал пошел на реформу.

То же самое и в области политики внешней. Основной задачей этой политики при Николае I был захват Константинополя и проливов—на этом деле Николай «лег костями». Это—задача торгово-капиталистическая. Но попутно он, действительно, не брезговал и захватом новых рынков для русской мануфактуры. Почему? Да по той простой причине, что промышленный капитал, будучи по своим конечным целям и задачам антагонистом торгового, был последнему практически необходим. Иначе ему просто не дали бы образоваться, т. е. старались бы не дать образоваться; а ему на самом деле «покровительствовали». Промышленность нужна была торговому капиталу, во-первых, как база активного баланса и самостоятельной валюты. Баланс был тем прочнее, чем меньше товаров покупалось за границей и чем больше производилось внутри страны. А ватем непосредственно-технически торговому капиталу, в его активной внешней политике, нужны были пушки, ружья, сукно, полотно, под конец—рельсы и паровозы. Производство всех этих «готовых продуктов» торговый капитал должен был «поощрять», если у него была хоть капля смысла в голове: как же при этом не поделиться награбленным в той или другой форме?

И вот, разгромив персов, Николай I открывает персидский рынок для русской мануфактуры—хотя непосредственно персидская война 1826—1828 гг. была вызвана дикими грабежами русской военщины в Закавказье (как известно, формально начали ее персы, в расчете, отчасти и оправдываясь, на всеобщее восстание новых русских «подданных»). В 1877 г., возобновив наступление к Константинополю и

проливам, самодержавие, хотя ни Константинополя, ни проливов не получило, но удержало в своих руках «независимую» Болгарию—иначе «Задунайскую губернию». И когда в этой «независимой» Болгарии начали строить железнодорожную сеть, отец и благодетель, русский царь, потребовал, чтобы рельсы, вагоны и паровозы заказывались в России. Для метафизика, знающего только свое «или-или»—или интересы торгового капитала, или интересы промышленного капитала, тут конечно вопиющие противоречия; а для диалектика, знающего «и-и», тут никакого противоречия нет. Он только находит, что по случаю «покровительства» самодержавия промышленности нелепо говорить о «социальном перерождении» самодержавия, как по случаю нэпа нелепо говорить о перерождении социальной природы большевизма.

Теперь, в той конкретной войне, о которой больше всего идет речь у Томсинского, в русско-японской 1904—1905 гг., можно ли усмотреть, в виде такого «привеска», влияние промышленно-капиталистических интересов? Сначала, когда для меня «дальневосточная авантюра» укладывалась в хронологические рамки второй половины 1890—первой 1900 гг., мне казалось, что да — и я это написал и напечатал. Более близкое изучение дипломатических документов («психологический метод») показало мне, что начало «авантюры» нужно отнести на 10 лет раньше. И та международная комбинация, в связи с которой «авантюра» перед нами впервые является, настолько близко подводит нас к основному стержню внешней политики самодержавия, что искать каких-либо посторонних, случайных и местных причин просто не нужно. Сибирскую дорогу начали строить в непосредственной связи с англо-русским конфликтом середины 1880 г., а этот конфликт был последним эпизодом русско-английской борьбы за Среднюю Азию, что само по себе являлось, мы уже знаем, одним из аспектов борьбы за проливы.

На берегах Тихого океана продолжалась та же борьба за Константинополь, которую раньше вели на берегах Аму и Сыра. И недаром заканчивается «дальневосточная» авантюра соглашением России и Англии по делам Среднего и Ближнего Востока, Среднего (Персия) формально, Ближнего неформально (обещание английского посла Извольскому помочь России в «проливном деле») ¹.

¹ Подробности см. в «Японской войне» и других моих статьях по внешней политике.

Вмешательства интересов русского промышленного капитала этой четкой картиной совсем не требовалось. В качестве аксессуара оно могло быть, и это нисколько не противоречило бы моей схеме, но после изысканий т. Томсинского, мне кажется, можно сказать с полной определенностью, что и в качестве аксессуара русский промышленный капитал в дальневосточном деле никакой роли не играл, и Витте, в качестве вершителя дел Дальнего Востока, служил торговому капиталу, что нисколько ни для одного диалектика не противоречит тому, что внутри страны он представлял в первую голову интересы капитала промышленного. Смутить это может только людей закоренело-метафизического образа мыслей.

Оспаривая мою якобы мысль, что в Манчжурию должен был вывозиться русский хлеб (я никогда этого не говорил—Витте говорит об этом в одном месте, но он говорит о вывозе в Китай, а не в Манчжурию). Томсинский устанавливает, что в Манчжурию «ввозились хлопчатобумажные европейские и японские товары, железо, керосин и грубый хлопок-сырец из Южного Китая».

«Вопреки желанию т. Покровского,—торжественно заключает Томсинский,—в Манчжурию ни жизненные припасы, ни сырье из России не вывозились».

Напротив, дорогой товарищ Томсинский, все идет совершенно по моему желанию, ибо ввоза русской мануфактуры в сколько-нибудь значительных размерах в Манчжурию вы не устанавливаете. Мануфактура шла английская и японская. И это касается не только Манчжурии, но Китая вообще. На стр. 271 Томсинский приводит крайне любопытную табличку ввоза русских хлопчатобумажных тканей в Китай с 1899 по 1904 г. Из этой таблички видно, во-первых, что доля Китая в экспорте русских тканей все уменьшалась: с 36,7% всего вывоза по азиатской границе в 1899 г. до 20,1% в 1904. Абсолютная же цифра увеличилась очень незначительно—со 100 до 130 тысяч пудов, тогда как вывоз в Персию например увеличился почти втрое (123 и 354 тыс. пудов). Для русской мануфактуры персидский рынок был во много раз интереснее китайского.

Заметьте, что в эти цифры вошел конечно еще ввоз в китайский Туркестан, т. е. ввоз не через Манчжурию, к русско-японской войне никакого отношения не имеющий. Учтите вообще ничтожность русского ввоза в Китай сравнительно с вывозом в Россию оттуда. В 1905 г. в Китай было

ввезено всего русских товаров на 31,6 млн. руб., а вывезено из Китая на 60,5 млн. руб. В 1905 г., несомненно, еще действовала война—в 31,6 млн. руб. ввоза вошло конечно еще и то, что было ввезено не интендантством, а частными предпринимателями—для потребления русской армии (харбинские магазины, рестораны и т. д.). В 1910 г. русский ввоз в Китай упал до $\frac{1}{3}$ китайского ввоза в Россию (15,9 млн. лан против 45,9 млн. лан). Тем не менее русский промышленный капитал никаких войн, вопреки ожиданиям т. Томсинского, в 1910 г. на Дальнем Востоке не затевал, и Россия была связана с Японией целым рядом секретных соглашений. Ликвидация русско-английского конфликта в 1907 г. автоматически ликвидировала все остальное.

Цифры, упрямые цифры не хотят говорить того, что выпытывает из них т. Томсинский, а в сочетании с другими цифрами, которых он не показывает, дают даже противоположный эффект. Виноваты тут не цифры, а полное отсутствие у т. Томсинского всякой перспективы—и всякой самокритики—и в этой области. Маленький пример: оспаривает т. Томсинский мое утверждение, что морские фрахты были в 25 раз ниже сухопутных. Цифра не моя. Я ее нашел в официальной записке Базили—«О задачах России на проливах»,—составленной в 1914 г. Не думаю, чтобы Базили очень переврал: но ошибка конечно возможна. Только исправить ее тем способом, каким принимается за это т. Томсинский, никак нельзя. Он берет «фрахт за пуд товара от Москвы до Владивостока морем (!)», находит 82 копейки, а по железной дороге 76 коп. Но, во-первых, в Москве моря нет: явное дело, что в первую цифру входит железнодорожная перевозка от Москвы до Одессы; сколько—мы с т. Томсинским не знаем; а во-вторых,—это русские фрахты, которые конечно составлялись, так, чтобы Добровольный флот не оказался счастливым конкурентом Сибирской дороги. Словом, в таком виде эти цифры ничего не говорят.

Но т. Томсинского, раз он увидел цифру, не удержишь¹. Нашел он цифры ввоза и вывоза из России в Польшу (т. е. «привислинские губернии») и обратно,—цифры, относящиеся к 1911 г. Казалось бы, к русско-японской войне 1904—1905 гг. это никакого отношения не имеет.

Но у т. Томсинского сейчас «выводы», целая цепь выво-

¹ Справедливость требует сказать однако, что т. Томсинский бросает не на всякую цифру, а лишь на такую, которая, по его представ-

дов. Во-первых, оказывается, что, «уничтожая таможенную границу между Россией и Польшей, царизм жертвовал интересами своей буржуазии и помещиков». Прежде всего почему помещиков, ежели «Польша» ввозила в остальную часть империи главным образом фабрикаты? 525,2 млн. руб. против 126,8 млн. руб. готовых продуктов из России. Не было ли это, наоборот, для помещиков компенсацией за убытки, причиняемые благородному дворянству промышленным протекционизмом вообще? А, во-вторых, ведь граница-то уничтожена в середине XIX в., еще при Николае I. Как же можно это отнести насчет желанья «московской буржуазии» найти «в лице польского фабриканта верного союзника в борьбе за дальневосточные рынки?». В 1850 г. еще не было никакой борьбы за эти рынки—в 1911 уже не было этой борьбы, она уже кончилась разгромом России. И в чем могла состоять помощь польского фабриканта? Корпус польских войск, что ли, он должен был послать в Манчжурию? Но ведь никакой польской армией ни в 1904, ни в 1911 г. и не пахло. Есть отчего в отчаяние притти! Цифры, приводимые т. Томсинским, не лишены интереса—они показывают, как мало близки сердцу самодержавия были выгоды «отечественной мануфактуры», т. е. истинно-русского купечества подмосковного района, еще и в 1911 г.¹—во-первых, а во-вторых, как нуждалось самодержавие в Польше в активном сочувствии поляков накануне «последнего и решительного боя» за проливы с Германией (в 1911 г. война уже была решена—см. допрос Колчака и записки Поливанова). Но причем тут Дальний Восток и

нию (обыкновенно ошибочному), льет воду на его мельницу. Если же он увидит цифру, говорящую противоположное, он ее избегает. Так, ему нужно доказать, что Сибирская железная дорога не имела непосредственно-колониационного значения и что ее постройка, значит, не стоит в прямой связи с торговым капитализмом. Цифры на этот счет хорошо известны,—прогрессия переселения за Урал шла в таком порядке:

1885—1894 гг.	445 тыс. чел.
1895—1905 гг.	1 440 » »
1906—1913 гг.	3 274 » »

Не может быть, чтобы эти общеизвестные цифры не были знакомы нашему любителю статистики. Но он предпочитает вдруг бросить «материалистический» метод и унизиться до «психологического», цитируя закон о переселениях 1904 г. Тут это уже чистая психология, поскольку закон отражает л и ш ь . н а м е р е н и я правительства, ходом жизни опрокинутые. Но т. Томинского здесь это не смущает.

¹ Хотя нужно иметь в виду, что Лодзь и Москва производили разного рода хлопчатобумажные ткани. Лодзь—трико, а Москва—ситцы, так что конкуренция была не так велика и остра, как показывают цифры.

русско-японская война? Почему все это вместе взятое «ярко иллюстрирует эволюцию социальной природы царизма»? И почему изо всей этой мешанины цифр следует, что «японская война была редким примером истинно-национальной войны», как значится на стр. 280?

Умри Денис—или больше не пиши. С человеком, договорившимся до того, что самая грабительская из всех колониальных войн царской России, война, которая была чужда интересам не только народных масс, но даже русского капитализма в целом—почему она и встретила сопротивление даже в среде высшей бюрократии,—что эта война есть «истинно-национальная» (как, значит, франко-прусская для Германии например,—или революционные войны для Франции?), с таким человеком никто конечно спорить не станет. И если выше я утомил читателя разбором ряда цифровых примеров (я их подобрал гораздо больше,—но чувствую, что читательское терпение уже истощается), то лишь для того, чтобы не дать т. Томсинскому отделываться ссылками на «голословность» утверждений его противника. По сути дела самый метод Томсинского: из цифр, взятых с бору да с сосенки и часто непонятых самим автором (пример—Польша), делать сейчас же широчайшие и аляповатейшие политические и исторические выводы,—самый этот метод никуда не годится. И даже выводы гораздо менее нелепые, чем получились у Томсинского, были бы таким методом дискредитированы.

Каленым железом нужно выжечь представление, будто материалистическое объяснение истории есть ее цифровое объяснение. Материалистически объяснить историю значит объяснить действия людей, без которых нет истории, из той объективной обстановки, в которой они действовали. Для характеристики этой объективной обстановки могут иногда служить и цифры: но только не нужно забывать, что цифрами можно охарактеризовать лишь наиболее элементарные экономические процессы; что обобщения более высокого порядка даже непосредственно в истории хозяйства требуют уже анализа цифр. Что же касается политической истории, то тут между элементарной экономической подкладкой и теми или иными политическими последствиями может стоять длинный ряд посредствующих звеньев—и борьба русского торгового капитала за Константинополь и проливы может иметь неожиданным эхо захват Порт-Артура на берегах Тихого океана.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА И «ВЕЛИКОРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ»¹

Что Московское государство XVI в. было политическим объединением великорусского племени—это общее место нашей буржуазной исторической литературы последнего, перед торжеством марксизма, периода. «Одно из важнейших явлений русской истории—образование Великорусского государства»,—говорит в предисловии к своей книге А. Е. Пресняков². «Основной государственной территорией великорусской народности является территория Московского государства, как она определялась к моменту окончательного сложения этого государства, т. е. приблизительно к половине XVI в.»,—начинает предисловие к своей книге академик Любавский³.

Теория эта не нова—ее родоначальником является еще Кавелин, относящаяся сюда работа которого вышла в 1866 г. («Мысли и заметки о русской истории»). Чрезвычайно интересно следить, как много дала эта работа позднейшей буржуазной историографии и как мало последняя ее цитирует. Исключительный пример человеческой неблагодарности! И едва ли мы ошибемся, если примем, что причиной такого отношения позднейших академиков и профессоров к их духовному предтече является необыкновенная откровенность этого небольшого этюда. Кавелин прямо ставит все точки над «и», ничего не прячет, кроме впрочем вещей, в приличном буржуазном журнале («Мысли и заметки» появились на страницах «Вестника Европы») совершенно неудобоназываемых. Мы увидим, что именно об

¹ «Историк-марксист», 1930 г., № 18-19, стр. 14—28.

² Пресняков, Образование Великорусского государства, II, 1918.

³ Любавский, Образование основной государственной территории великорусской народности, изд. Археографической комиссии, Л. 1929.

этих вещах и стоит теперь говорить. Но нельзя же Кавелина винить за то, что он не наш современник. Он и то некоторых наших современников, только что цитированных, опередил в весьма существенном вопросе.

Казалось бы, пускаясь в рассуждения о «Великорусском государстве», естественно было спросить: а кто же такие эти великоруссы? Покойный Пресняков прямо отмечает от себя этот вопрос, а там, где на него наводят источники, он начинает сомневаться в доброкачественности этих источников. Он находит у Татищева любопытное место, где рассказывается, как Юрий Долгорукий «зачал строить в области своей многие грады» и потом «начал те грады населять, созывая людей отсюду, которым немалую ссуду давал и в строениях, и другими подаяниями помогал, в которые (т. е. грады—*М. П.*) приходя множество Болгар, Мордвы, Венгров, кроме русских, селились и пределы яко многими тысячами людей наполняли»¹. Преснякову это место сразу показалось «независимым от летописных источников», т. е. попросту он признал эти факты выдумкой Татищева. Акад. Любавский больше занимается «этнографической проблемой относительно Великороссии»; но для него эта проблема прежде всего сводится к тому, какие славянские племена вошли в состав населения будущего Московского государства. Между тем произведенный им тщательный анализ географических названий будущей «Великороссии» приводит—не его, но его читателя—к совершенно определенному выводу, что эта будущая «Великороссия» до прихода славян была весьма густо (для натурального хозяйства) заселена не русскими и не славянскими, а преимущественно финскими племенами. Для самого акад. Любавского это дает лишь повод говорить о «сильной примеси (!) инородческого (sic) населения к славянскому», и он спешит выразить никакими фактами не обоснованную уверенность, что «к XIV в., к моменту зарождения Московского государства, славянорусская стихия, по всем признакам (признаки даны как раз обратные—*М. П.*), уже возобладала...»².

После этого можно как следует оценить Кавелина, который прямо и откровенно пишет: «Восточная отрасль русского племени образовалась частью из переселенцев из Ма-

¹ Пресняков, Образование Великорусского государства, стр. 28, прим. 3-е. Разрядка моя—*М. П.*

² Любавский, цит. соч., стр. 12.

лороссии и Северо-западного края на финской земле, частью из обруселых финнов. Русские переселенцы под влиянием новых условий, на новой почве получили иной характер, отличный от первоначального корня, от которого отделились; с другой стороны, обрусевшие финские племена внесли новую кровь, новые физиологические элементы в младшую ветвь русского племени. Эта ветвь давно отличается от своих родичей заметными, выдающимися нравственными и физическими чертами и следовательно давно уже образоваться и получить свою особую физиономию. К тому времени, когда начало слагаться Московское государство, процесс ее образования уже вполне совершился, новая племенная отрасль сложилась вполне. С тех пор она только окрепла, политически объединилась, расселялась далее и далее поглощала финские племена, что безостановочно продолжается и до сих пор».

Я не буду останавливаться на архаизме этой цитаты, теперь конечно никто не думает, что финны физиологически чем-нибудь отличались от славян, по лингвистической линии их несомненных, хотя и далеких родичей. Я не буду подчеркивать и любопытнейшего—и тут Кавелин опять одинок среди русских историков—признания Киевской Руси «Малороссией», т. е. Украиной. Не буду наконец поправлять и утверждения Кавелина, что «поглощение» финских племен продолжалось еще и во второй половине XIX в. Поскольку и в это время додушивались остатки мордовской, чувашской и т. д. культур, он прав. Но в это время «поглощались» преимущественно другие племена, не финские; не финны населяли Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию. Важно то, что Кавелин это «поглощение», т. е. завоевание, признает основным методом образования великорусского племени и что он не отрицает факта, что образованная таким путем народность в большей своей части составила из обрусевших—он только забывает прибавить: при помощи насилия—неславянских племен. Дальше Кавелин пугается такого вывода, уничтожавшего официальный панславизм в самом корне, и старается отмежеваться от двух поляков, Сенковского и Духинского, которые утверждали нечто подобное раньше его. Но это запоздалое раскаяние автора в своей смелости (как в самом деле страницы «Вестника Европы» выдержали такую штуку?) не выгонит из памяти читателя основного вывода: «В образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении

финнов состоит интимная, внутренняя история русского народа»¹.

Что основным населением будущей Великороссии было финское, а славяне явились туда небольшими группами, в качестве самых форменных колонизаторов, доказывать это еще сравнительно недавно значило бы ломиться в открытую дверь. Недавно, но не сейчас. После описанных мною приемов Преснякова и приведенных мною выводов акад. Любавского несколько слов сказать об этом нужно. Буржуазная наука давно вышла из того состояния райской невинности, в каком она обреталась в дни Кавелина и Соловьева. О первом мы уже знаем, его придется цитировать и еще не раз. Но и Соловьев, гораздо более «казенный» в своих оценках,—Кавелин был уже в опале, и ему нечего было терять, а Соловьев скоро стал ректором Московского университета и преподавателем истории в царской семье,—не скрывал от своих читателей действительного соотношения сил «на этнографическом фронте» в первые века истории нашей страны. «Если не самые древние, то по крайней мере одни из древнейших обитателей русской государственной области, финны, имели незавидную участь: с трех сторон теснили их народы славянского, германского и турецкого племени; мы видим, как у нас финны постоянно уступают перед славянами, подчиняются влиянию их народности, приравниваются к ним; причину такого явления из внешних обстоятельств объяснить не трудно. Сначала мы видим, что племена славянские и финские живут на равной ноге... По нашему летописцу видно, что финны имели города, подобно славянам, подобно последним терпели от родовых усобиц по изгнании варягов, вследствие чего вместе с ними и призвали князей; в скандинавских преданиях финны являются искусными кузнецами, финские мечи славятся на Севере»².

Дальше и Соловьев, подобно Кавелину, пугается, приводит зачем-то нелестную для финнов характеристику Тацита,—явно считая ее неверной или относящейся не к финнам, а к лапландцам,—подчеркивает великое превосходство христианизированных славян над язычниками-финнами (безо всяких фактов—православная церковь так же мало нуждалась в таких пустяках, как теперь Карл Каутский) и лишь в примечании, с оговорками, дает материал,

¹ Кавелин, Соч., т. I, стр. 598—602. Разрядка моя—М. П.

² Соловьев, История России, изд. «Общественная польза», т. I, стр. 85.

с несомненностью свидетельствующий о влиянии язычников-финнов на христиан славянского племени. Чрезвычайно характерно, что все неглупые и хорошо знавшие историческую действительность авторы на этот счет были между собою согласны. Кавелин идет дальше и в этом случае. «Профессор С. Куторга указывает в сведениях, сообщенных им Географическому обществу, на много слов, повидимому заимствованных великорусским наречием из финского языка, так как они только в финском языке объясняются этимологически. Приведенные им слова относятся к земледелию и домашнему быту, из чего можно предполагать, что с этой стороны русское племя подчинялось влиянию финнов и позаимствовало от них понятия и привычки, которых оно не имело, или которые были по крайней мере менее развиты и вкоренены у него, чем у финских племен». Дальше, разумеется, идут оговорки и ограничения; но совершенно ясно, что к версии официальных учебников о диких бродячих племенах охотников, которых будто бы сменило оседлое земледельческое славянское население, Кавелин ни одной минуты не относился серьезно. Не относился серьезно уже хотя бы по одному тому, что количественное соотношение сил явно было, по мнению Кавелина, в пользу финнов. «Тамбовская и Пензенская губернии—обрусевшая мордва: это обличают наружный вид тамошних крестьян и географические названия»¹.

Финны не только были когда-то на территории будущей Великороссии—они там и остались, и нельзя даже говорить об их «обрусении» как одностороннем процессе: они в достаточной степени финнизировали своих поработителей Из черпывающего материал на этот счет на основании географической номенклатуры дает акад. Любавский. Приведя массу указаний на следы финских племенных названий в именах ряда великорусских поселений XIV—XV вв., этот автор продолжает: «Но особенно доказательными в данном случае являются целые местности, волости и станы с самостоятельными инородческими именами... Эти волости с самостоятельными инородческими именами ведут свое происхождение несомненно от инородческих местных обществ, которые прослоились русскими поселенцами и с течением времени обрусели. Из совокупности всех этих данных выносятся определенное впечатление о сильной примеси (!) инородческого населения к сла-

¹ К а в е л и н, там же стр. 602—604 в разных местах.

вянскому на рассматриваемой территории. Это впечатление еще усугубляется гидрографической номенклатурой этой территории. За небольшими исключениями все реки и речки, озера и другие урочища на рассматриваемой территории носят не русские, а инородческие имена. Некоторые из них являются повторением несомненно финских имен. Так, финляндской Вуоксе, являющейся стоком из озера Сайма, соответствует Векса; являющаяся стоком из озера Галицкого, Виокса—сток из озера Чухломского и т. д. Сохранение инородческой номенклатуры за реками, речками, озерами и урочищами указывает на сохранение самого инородческого населения, от которого и перенимали славяно-русские новоселы все эти чуждые русскому языку имена»¹.

Совершенно правильно говорит акад. Любавский о «про-слаивании» русскими поселенцами коренной финской народной массы: чтобы создать свою географическую номенклатуру для целого края, нужно быто сидеть в этом краю очень густо и очень долго. Славянские колонизаторы врезались в эту гущу маленькими островками, вопреки утверждению нашего автора, что лишь «остатки, островки инородческого населения» сохранялись «на захваченных славянскою колонизациею территориях». И акад. Любавскому не приходит даже в голову, что названия «инородцев» гораздо больше заслуживают пришельцы, маленькими островками вкрапливавшиеся в гущу автохтонного населения, а никак не это последнее.

Итак, что финны составляли коренное, оседлое и в большей или меньшей степени культурное население будущей Великороссии, что славянские пришельцы не занимали пустые места, а «поглощали», т. е. насильственно подчиняли себе это коренное население страны, на этот счет в сущности не было разногласий уже у буржуазных историков. Что они, сообщив совершенно убеждающий материал, просили затем своего читателя не делать из этого материала выводов, которые они сами внутренне без всякого сомнения делали,—этот комичный прием не может конечно никого обмануть, как не обманывал он, само собою разумеется, и читателей-современников. Возможно, что именно это и натолкнуло новейших авторов на иную тактику: или полного замалчивания самого сюжета или беззастенчивого

¹ Любавский, Образование основной государственной территории великорусской народности, стр. 11—12. Разрядка моя—М. П.

подсовывания читателю (и за олуха же его считают!) выводов, прямо противоположных фактам.

Но о чем буржуазные авторы не говорили, даже крестясь и отплеываясь (чур меня! чур меня!), это о методах, какими производилось это «прослаивание» и «вкрапление» славян в финскую гущу. Тут по части выводов, кроме вырвавшегося у Кавелина словечка «погтощали», мы ничего у них не найдем. Но фактов и они приводят совершенно достаточно для того, чтобы и на этот счет у внимательного читателя их произведений не осталось ни малейшего сомнения. Мы и дальше поэтому можем пользоваться нашими старыми историками, но уже только как материалом.

Первый подвиг просвещенных светом христианства колонизаторов на территории будущей Великороссии связан с первым упоминанием о будущей великорусской столице—Москве. Упоминается впервые этот город, как известно, под 1147 г.—в связи со свиданием Юрия Долгорукого с его союзником Святославом Всеволодовичем. Перед этим свиданием последний «взял Голядей, на верховиях Протвы, и обогатил дружину свою полоном»¹. Голядь—племя не финское, а литовское, но колонизационные методы от этого не изменялись: «инородцы» были прежде всего источником живого товара. Мы увидим, что с этого всегда начиналась тогда всякая «колонизация», в чем впрочем нельзя видеть большого отличия славян XII в. от испанцев, португальцев и голландцев XVI—XVII столетий. Только испанцы больше заботились о торжестве христианства и по этой причине больше убивали людей, чем их предшественники и последователи. Князь Святослав повидимому не старался облечь свою экспедицию в форму крестового похода, скорее это была для него увеселительная поездка. Летопись рассказывает, что в Москве по случаю княжеского свидания был большой пир, продолжавшийся не один день. Как теперь банкиры после выгодной сделки идут в ресторан и пьют там шампанское, так и тогда выгодную операцию с продажей голяди на невольничьи рынки надо было вспрыснуть.

Что Москва—слово финское и что будущая столица Великороссии была, употребляя колонизационные термины, «укрепленной факторией» в финской стране, это все знают, как и то, что окрестности Москвы были чрезвычайно густо заселены еще в доисторические времена, так что изображать возникновение этого города как заселение «культур-

¹ Соловьев, циг. соч., стр. 402.

ными славянами» совершенно дикого места можно, только игнорируя всем опять-таки известные археологические данные. Менее известны обстоятельства возникновения другого крупнейшего великорусского центра, который конкурировал с великокняжеской столицей уже в XVI в., а в начале XVII сыграл роль зам. Москвы—Нижего-Новгорода. Один публицист, современник Грозного, развивал ту мысль, что столицей Московского царства должен быть собственно Нижний, а «Москва—стол великого княжества». Еще Татищев и Екатерина II знали, что этот крупнейший великорусский центр вовсе не «заложен» заново великим князем Юрием в 1221 г., а стал на месте какого-то «кинородческого» центра, разрушенного русскими лет за пятьдесят до этого. Одна запись, правда, в дошедшей до нас редакции очень поздняя—XVII в. (что еще не позволяет считать записанного рассказа «легендой», как хочет окрестить его передающий его великорусский автор), совершенно определенно указывает, что этот город был не более, не менее, как столицей мордвы, основной жертвы славянского колонизационного процесса в историческую эпоху на территории будущей Великороссии: «поглощение» предыдущих веков, жертвой которого стали весь, меря и мурома, лежит собственно за пределами писаной истории, летописи дают на этот счет лишь самые, глухие и отрывочные указания.

Вот этот рассказ. «Мордвин Абрам, или Ибрагим, вышедши из-за реки Кудьмы, поселился при впадении Оки в Волгу на Дятловых горах, покрытых тогда дремучим лесом. У него было 14 сыновей и 3 дочери, для которых он построил 17 домов на том месте, где ныне архиерейский дом. Эта колония названа была Абрамовым или Ибрагимовым городком, а сам Ибрагим выбран был всеми мордовскими племенами в правители (старшина или князь). На этот-то городок и ходили, но не совсем удачно, суздальские войска. Абрам, по словам легенды, услышав о том, что суздальские, муромские и рязанские рати идут к его городку, стал укреплять последний: он обнес его тыном, валами и рвами. В городке было уже до 500 человек. Абрам устроил в двух пунк-

¹ Эту легенду поддерживают названия некоторых кремлевских урочищ, неправильно толкуемые позднейшими авторами. Так, собор Спаса на Бору вовсе не означает, что на этом месте был «бор», т. е. лес,—что абсолютно невероятно для XIV в., когда церковь была построена,—а значит, что он построен на доходы от «бора», поголовной подати («Черный бор»). Боровицкие ворота—ворота, через которые выезжали «боровичи», т. е. сборщики этого налога.

тах укрепления по воротам: одни широкие—с южной стороны вала, с дубовыми створами, которые засыпал землей, другие—потайные, на север от въезда с Волги на гору (коровий ввоз). Подошедши к городку с 14 тыс. воинов, князь Мстислав, не желая напрасно проливать крови, вступил с Абрамом в переговоры: он предлагал ему оставить Дятловы горы и признать над мордовскими племенами власть князя суздальского; Абрам отвечал, что он не прирожденный владыка мордовских племен, а только выборный правитель их, почему и не может самолично принимать никаких условий; он просил дать ему четыре года для сношений со всеми мордовскими племенами, но Мстислав согласился дать только четыре дня. Абрам немедленно разослал чрез тайные ворота гонцов в ближайшие мордовские селения, требуя немедленной помощи. В две ночи через тайные ворота вошло в городок более пяти тысяч человек мордвы, и Абрам, не дожидаясь истечения данного ему срока, вышел чрез южные ворота и ударил на суздальскую рать. Это впрочем не принесло мордве пользы: Абрам пал в битве со всей своей ратью, жители городка были перебиты, а самый городок русскими сожжен. Мстислав оставил там тысячу конных и строго приказал им жить почему-то не в городке, а около него. Узнавши о судьбе Абрама и его соратников, мордва задумала отомстить своим врагам. Но суздальцы, имевшие в мордве шпионов, которые известили их о замыслах своих соплеменников, предупредили вшестеро сильнейшего врага: они выехали навстречу мордве, верстах в 10 от городка встретились с ней, с криком пробились через нестройную массу ее и Березопольем поскакали к Боголюбову. Опомнившись от неожиданной встречи, пешая мордва хотела преследовать врага своего, но конные суздальцы успели ускользнуть от преследования»¹.

«Дремучий лес» на нижегородских горах, вполне возможно, такая же легенда, как и «бор» в московском кремле XIV в. 14 сыновьям и 3 дочерям мордовского князя «Абрама» мы не обязаны верить, как и самому этому имени. Но реальные исторические подробности вполне отчетливо выступают на фоне этой фантастики. Мордва конца XII в. представляла собою федерацию нескольких племен с центром на месте будущего Нижнего. Что это был центр федерации, доказывается тем, что все племена защищали город, а на-

¹ Э к з е м п л я р с к и й, Великие и удельные князья Северо Руси, т. II, стр. 385-386, примечание.

сколько федерация была сильна, показывает тот факт, что соединенные силы трех русских княжеств—Суздаля, Рязани и Мурома—хотя и смогли захватить город, но не смогли в нем удержаться. И то, как они спаслись в конце концов от превосходных сил мордвы, рельефно рисует нам, в чем состояло чисто военное превосходство русских колонизаторов над автохтонами. Русское войско было конным, мордва была пешая. В эпоху исключительно холодного оружия лошадь давала в бою огромное преимущество над противником. На юге это давало перевес степнякам над тогдашними украинцами: на севере выученики степняков пользовались их уроками, чтобы громить безлошадные племена, жившие земледелием и лесными промыслами.

Мордва очевидно не возобновила своей столицы, видимо считая, что ее положение слишком открыто для русских набегов. Но стратегическое значение пункта было слишком ясно, и раз его бросила мордва, его использовали русские. С 1221 г. на месте бывшей столицы мордовской федерации выросла русская пограничная крепость, Нижний-Новгород, самым названием показывавшая, какое громадное значение ей придавалось. Иначе ее не назвали бы по имени самого крупного, самого древнего и самого богатого центра тогдашнего севера. В истории борьбы с мордвой это было своего рода «основание Петербурга». А насколько борьба была жестокая, показывают ее дальнейшие перипетии, которые мы знаем уже не из полуполюгендарных записей позднейшего времени, а по современным показаниям летописей. Русские начали наступление из новой крепости очень скоро, через 4—5 лет после ее основания. Братья основателя Юрия «разорили много селений, взяли бесчисленный полон и возвратились домой с победою великою». Но мордовская федерация не была уничтожена и в лице Пургаса нашла себе вождя, более способного, чем был убитый в 1172 г. Абрам. Следующие походы суздальских князей на мордву были уже неудачны, а в 1229 г. Пургас сжег Нижний, но, как и русские за пятьдесят лет ранее, не мог его удержать. На мордву тогда привели половцев, и федерация дрогнула. Пешее войско не могло удержаться против лучшей тогдашней кавалерии, некоторые мордовские князья изменили Пургасу, и последний должен был бежать. Это участие «степных хищников» в создании Великороссии весьма слабо отмечается нашими историками, а оно не менее характерно, чем тот факт, что если у суздальских князей были половцы, то у мордовского князя были русские

(«Пургасова Русь»), очевидно, не поладившие с суздальскими князьями. Ровно ничего «загадочного», как думает наш автор, в этом нет. Борьба с мордвой отнюдь не носила только национальный характер—она имела свою классовую сторону. Мордву громили и грабили князья с их дружиной и городскими «воями». Нет ничего загадочного в том, что крестьяне, которых те же князья грабили у себя дома, чувствовали себя ближе к Пургасу, чем к Юриям и Святославам¹.

Летописные рассказы о войнах русских с Пургасом дают между прочим некоторое представление о культуре мордвы. Русские князья жгли посевы, били скот—мордва от них укрывалась в лесах. Совершенно ясно, что перед нами не «бродячие лесные охотники», но земледельческий народ, для которого лес служил убежищем, как служил он в этом качестве русским крестьянам еще в 1812 г., а не постоянным местом жительства. Зато при попытке проникнуть в это последнее убежище коренного населения с русскими XIII в. случалось иногда то же, что с их далекими потомками бывало на Кавказе в XIX: далеко зашедшие в чащу русские отряды истреблялись, и засевшую в «твердых» мордву приходилось оставить в покое. Один из таких летописных рассказов любопытен в том отношении, что показывает, как рано возникают зачатки военной цензуры. Повествование об истреблении одного из зарвавшихся в мордовскую чащу русских отрядов так «проредактировано» летописным сводчиком, что у читателя должно было получиться впечатление блестящей русской победы: совсем как официальные репортажи о даргинской экспедиции Воронцова в 1846 г. И только явное восхищение летописца тем обстоятельством, что сами князья и их главные ситы вернулись домой «добри здоровы», выдает с головой «редактора»; чего же радоваться, что большая часть русских осталась цела, коли мордва была наголову разбита? Когда победители считают свои потери и радуются, что у них не всех солдат побили?²

Поражение Пургаса было, разумеется, ознаменовано неоднократным жесточайшим опустошением мордовских земель. Но история не дала слишком много времени для этого занятия: меньше чем через десять лет и мордва и суздальцы

¹ Э к з е м п л я р с к и й, цит. соч., стр. 186—187.

² См. об этом у Э к з е м п л я р с к о г о, цит. соч., стр. 67—68, особ. прим. 222. Автор, разумеется, на стороне официальной версии летописи, хотя ей не верил уже Карамзин.

были под властью татар. С тех пор борьба с мордвой переплетается с перипетиями ордынской политики князей, и так как эта политика больше интересовала летописца, чем местные войны, то мордва на десятилетия совсем исчезает из под его пера. Что завоевывание продолжалось, мы узнаем из случайных отметок, вроде например того, что нижегородский князь Константин Васильевич, младший современник Ивана Калиты, «повеле русским людям селиться по Оке, Волге, Кудьме (приток Волги) и на мордовских жилищах, где кто похощет»¹. Мордва и ее земли были отданы на поток и разграбление русским колонистам. Этот акт колониальной политики нижегородского князя должен был найти свое отражение с противоположной стороны и нашел конечно. Мордва и русские были теперь не одни, были еще татары, а на ордынских комбинациях умели играть не одни русские князья. В 1377 г. мордва навела на суздальцев татар, которые совершенно истребили суздальское войско, а попутно разграбили и сожгли до тла Нижний-Новгород. Но мордва была уже слишком ослаблена, чтобы использовать результаты татарской победы: напротив, она явилась козлом отпущения за татарское разоренье. Едва ушли татары, мордовское войско было разбито на той самой реке Пьяне, где татары только что истребили суздальскую армию. Что было дальше, лучше всего передать словами того русского автора, который сам со всем старанием передает летописные рассказы.

«Зимой того же 1377 г. Дмитрии Константинович послал на мордву со своими полками брата Бориса и сына Семена; великий князь московский также прислал свою рать под начальством воеводы Федора Андреевича Свибла. Русские рати произвели полнейшее опустошение мордовской земли: как выражается летопись, «землю их всю пусту сотвориша»; селения были разграблены и преданы огню, из жителей одни истреблены, другие, особенно лучшие, забраны в полон; мало было таких, которым удалось избыть русского меча или полона. Раздражение против поганой и коварной мордвы (!) было до того сильно, что в Нижнем предавали пленных различным казням; между прочим некоторых из них вывели на Волгу, волочили по льду и травили псами»².

Это была уже расправа с «мятежниками»: мордовскую землю русские князья считали своей. Характерно, что пос-

¹ Экземплярский, т. I, стр. 244. Разрядка моя—М. П.

² Там же, т. II, стр. 415. Просим обратить внимание, что это написано не в 1390, а в 1890 г.

ледные остатки мордовской независимости были раздавлены при участии московской рати: Великороссия уже складывалась, и читатель видел методы ее сложения. Это отнюдь не было мирное заселение «культурными» славянами пустых земель, где там и сям бродили дикие охотники. Это было изнасилование и угнетение довольно густо заселенной земледельческой страны, по материальной культуре вероятно мало отличавшейся от русских поселенцев; но последние были лучше вооружены и лучше организованы в военном отношении. У них уже прошел процесс феодализации, образовался постоянно вооруженный и профессионально-военный верхний слой населения, тогда как мордва не вышла еще повидимому из племенной стадии. Славянские пришельцы покорили ее с тою же легкостью, с какою самих славян за несколько веков перед этим покорили небольшие, но хорошо вооруженные и вымуштрованные отряды норманских викингов. Но мордва сдалась, мы видели, не без боя, и только самыми отчаянными и беспощадными средствами удалось подавить последние попытки ее сопротивления угнетателям. Причем, едва ли нужно это говорить, физически, разумеется, не были истреблены все мордовские племена или хотя бы большинство их. Князьям-завоевателям и их боярам, словом, русской феодальной знати нужны были рабы, а не трупы. Не только «Пензенская и Тамбовская губернии», но и добрая доля бывшей Нижегородской губернии — «обруселая мордва». Это было не истребление, а насильственная руссификация, не очень глубокая притом. Финское коренное население Великороссии пользовалось своим языком еще в XVI в.: Герберштейн рассказывает, что население Белозерской области (а это куда более старый район руссификации, нежели низовья Оки и Средняя Волга!) еще в его времена, т. е. в период половины XVI в., имело свой собственный язык¹.

Мордва не только не была истреблена, она сохранила даже в известной степени свою политическую самостоятельность. В духовном завещании Ивана III (1505 г.) мы находим «Муром с Мордвами и Черемисою, Мещера и с Кошковым, да князи Мордовские все». Порабощая народную массу, Москва очень умело приручала верхушку покоренных племен, вводя ее в ряды московской феодальной аристократии. «Князья Мещерские» остались памятником этой политики до XX в., как князья Чавчавадзе и Абамелек-Лазаревы

¹ Любавский, цит. соч., стр. 9.

напоминали, что «Российская империя» осталась верна политике ее далеких предшественников. Но к 1505 г. борьба с мордвой была уже далеким прошлым: на очереди были ее ближайшие соседи мари, в завещании Ивана III названные «черемисою». Удушение последней, являясь новым эпизодом образования «Великороссии», интересно еще в том отношении, что дает повод разоблачить оборонческую легенду о покорении Казани.

Согласно этой легенде Казань была одним из последних убежищ «степных хищников», борьба с которыми составила провиденциальную задачу Великороссии. Что татары даже XIII—XIV вв. вовсе не были «степными хищниками», а были довольно высоко организованным полуоседлым народом, в области материальной культуры стоявшим выше своих русских противников (благодаря главным образом влиянию Китая, отчасти и арабов), это мне уже приходилось доказывать, и я не буду повторять вывод своей старой работы¹. Но оборонческая легенда лжет не только в этом: в завоевании Казани дело шло не только о татарах и даже главным образом не о них. Это было дальнейшее «поглощение» главным образом финских племен.

Уже с середины XV в. «завоевание Казани» начинает довольно неожиданным образом отражаться на судьбах народа мари. Надо иметь в виду, что «степные хищники» — татары были в это время и против Москвы, и за Москву: все более и более крупные татарские отряды состояли на московской службе. Общеизвестна роль этих отрядов при удушении последних остатков вольности Великого Новгорода. По отношению к Казани это давало возможность разлагать противника изнутри: состоявшие на московской службе татары входили в связь с казанской «оппозицией» и при ее помощи пытались устраивать в Казани государственные перевороты. Один из таких переворотов подготавливался в 1467 г. Он не удался: московское войско, явившееся на помощь казанским заговорщикам, опоздало — заговор уже был раздавлен. Так как участие Москвы было совершенно явно и несомненно, Казань ответила войною и напала на Галич. Рассказываем дальше словами Соловьева. Отметив неудачу московского похода на Казань, он продолжает: «Счастливей были московские дети боярские, которые зимою 6 декабря

¹ Статья М. Н. Покровского, Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия, см. выше стр. 185-186 настоящего сборника.—Ред.

выступили из Галича в землю черемисскую. Целый месяц в сильную стужу без дороги шли они лесами. 6 января 1468 г вошли к черемисам и выжгли всю землю их до тла, людей перебили, других взяли в плен, иных сожгли, имение все побрали, скот, которого нельзя было с собою увести, перебили; на один день пути только не дошли до Казани и возвратились к великому князю все поздорову».

Итак, напала на Москву Казань, «степные хищники», спровоцированные московским князем, а расплатились за это «черемисы». Эту странную вещь Соловьев сообщает, можно сказать, не поведя бровью,—по всей вероятности просто потому, что сам он отлично умел расшифровать значение слова «Казань» (мы увидим потом доказательства этого), но своим читателям он не нашел нужным сообщить свою расшифровку. Если впрочем читатель был сколько-нибудь сообразителен, он мог расшифровать и сам. В 1523 г. русские двинулись на Казань и водою, по Волге, и сухим путем, вдоль берега: последним путем шло конное войско. Волжский флот Василия III, который лично руководил походом из Нижнего, успеха повидимому не имел. Но воеводы конной рати «возвратились благополучно и привели с собою много черемисских пленников». Это соприкосновение русских с народом мари не прошло бесследно. Год спустя на Казань двинулось еще более сильное московское войско. Ему удалось дойти до города, но тут оно само оказалось в осаде. «Черемисы опустошили все вокруг, засели на всех дорогах, не позволяя русским отрядам добывать кормов, прервали все сообщения, так что нельзя было дать вести в Москву о состоянии войска. В это время, когда рать Бельского начала упадать духом от голода, разнесся слух, что конное войско потерпело поражение от татар; ужас напал на воевод; стали думать об отступлении; скоро узнали однако, что слух был ложный: потерпел поражение один только небольшой отряд конницы; главная же рать, шедшая под начальством Симского, в двух встречах с татарами на Свяяге одержала верх. Но если конница счастливо преодолела все опасности, то не могла преодолеть их судовая рать, шедшая с Патецким: в узких местах между островами черемисы загородили дорогу камнями и деревьями, а с берега осыпали русских стрелами и бросали бревна; только немногие суда могли спастись и с воеводою достигли главной рати».

Только техническое превосходство русских—у казанцев были пушки, но не оказалось артиллеристов—дало возмож-

ность минимально «почетного» исхода для армии Василия III. Казанцы вступили в переговоры, и под этим предлогом московский главнокомандующий, князь Иван Бельский, снял осаду: к этому времени голод в московском войске достиг крайнего предела. Судьба Казани решена была таким образом вмешательством «черемисов». Соловьев опять не находит нужным обратить внимание своего читателя на это загадочное обстоятельство: читатель мог упустить из виду «степных хищников». И наш историк больше всего занимается вопросом: был виноват в неудаче московский воевода или нет? Вопрос, принимая во внимание, что ко времени появления «Истории России» кости Бельского давно сгнили, может быть вполне назван «академическим».

Наследник Василия III не мог позволить себе роскоши держаться на столь высокой «объективно-научной» точке зрения. Иван, будущий Грозный,—или его «избранная рада»—сделал все необходимые выводы из неудач Василия III. Ясно было, что пока мари и Казань держатся вместе, Казани не возьмешь. Часть мари (так называемые летописью «горные черемисы») была подкуплена: ей дали жалованную грамоту и освободили от ясака. Через кого велась подкупательная операция, совершенно ясно. В Москву приезжали «князья, мурза и сотные казаки»—марийская аристократия. Иван «их жаловал... кормил и поил у себя за столом; дарил шубами, доспехами, конями, деньгами».

После этого во время последнего решительного похода на Казань в 1552 г. «черемисы» не только не пытались выморить голодом московское войско, но напротив, «приносили хлеб, мед, мясо, что дарили, что продавали, кроме того мосты на реках делали». Казанцы были изолированы и после отчаянного сопротивления сдались. Надобно думать, что после этого всякие льготы «черемисам» прекратились, ибо уже в декабре (а Казань пала в октябре 1552 г.) «луговые и горные люди побили на Волге гонцов, купцов и боярских людей, возвращавшихся с запасами из-под Казани». Не сразу, но бывшие союзники татар понемногу приходили к сознанию, что гибель Казани была гибелью и их свободы. «10 марта прашла дурная весть: князь Горбатый писал, что луговые люди изменили, ясаков не дали, сборщиков ясака убили, прошли на Арское поле, стали все заодно и утвердились на высокой горе у засеки; воеводы послали на них казаков и стрельцов; те разошлись по разным дорогам и побиты были наголову; стрельцы потеряли 350, а казаки 450 человек, после чего мятежники поставили себе город на реке Меше,

70 верстах от Казани, землю стену насыпали и положили тут отсиживаться от русских. Через две недели пришла другая весть из Свияжска, еще хуже: мятежники, черемисы и вотяки, пришли войною на Горную сторону; князь Шуйский отпустил против них известного уже нам Бориса Солтыкова с детьми боярскими и горными людьми; но Солтыков потерпел поражение, был взят в плен; кроме него русские потеряли 250 человек и 200 пленными... В сентябре отправились из Москвы воеводы: князь Семен Микулинский, Петр Морозов, Иван Шереметев и князь Андрей Курбский; зимою 1554 года начали они военные действия, сожгли город на Меше, который построили мятежники, били их при всяком встрече, воевали четыре недели, страшно опустошили всю страну, вверх по Каме ходили на 250 верст, взяли в плен 6 000 мужчин, 15 000 женщин и детей».

Москве оставалось использовать раздоры среди самих мари: «горные» и «луговые» воевали между собою. Мы видели, что последние восстали против податного грабежа—начали с убийства сборщиков ясака. «Горных» тогда от ясака освободили, совсем или отчасти. В благодарность за это они заманили в засаду и захватили «лугового сотника» Мамич-Бердея. Характерно, что последний пытался опереться на казанскую традицию и действовал от имени какого-то ногайского (т. е. татарского) «царевича». Но прежние господа края оказались теперь плохими предводителями, и мари дрались за свою свободу. Татарский «царевич» был ими убит, «потому что от него не было никакой пользы. Черемисы воткнули голову убитого на высокий кол и приговаривали: «Мы было взяли тебя на царство для того, чтобы ты с своим двором оборонял нас; а вместо того ты и твои люди помощи не дали никакой, а только волов и коров наших поели; так пусть голова твоя царствует теперь на высоком коле».

Я привел эту цитату больше ради фигурирующих в ней волов и коров, которые достаточно изобличают даваемую Соловьевым характеристику мари как «дикого народа». Они были земледельцы и скотоводы, так же, как и мордва, и в культурном отношении стояли вероятно не ниже своих покорителей. Но в отношении военном теперь уже не могло быть никакого сравнения: Москва была «великой державой», и племена Средней Волги были для нее теперь почти тем же, чем для империи Николая I были кавказские горцы. Мари могли героически защищаться, но рано или поздно московские войска должны были взять верх.

Итак, мы познакомились с созданием еще одного куска «Великороссии» и знаем теперь, что такое называется нашими старыми историками «покорением Казани». Дело шло вовсе не о «гнезде степных хищников», даже допустив реальное существование последних: дело шло о покорении целого ряда независимых до тех пор народов преимущественно финского племени. Сам Соловьев должен был признать это: «Таким образом после взятия Казани нужно было еще пять лет опустошительной войны, чтобы усмирить все народы, от нее прежде зависевшие»¹.

Российскую империю называли «тюрьмою народов». Мы знаем теперь, что этого названия заслуживало не только государство Романовых, но и его предшественница, вотчина потомков Калиты. Уже Московское великое княжество, не только Московское царство, было «тюрьмою народов». Великороссия построена на костях «инородцев», и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великоруссов течет 80% их крови. Только окончательное свержение великорусского гнета той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим угнетением, могло служить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет.

¹ Для всех приведенных цитат см. Соловьев, цит. соч., т. I, стр. 1413, 1636—1637; т. II, стр. 66, 74, 87, 90.

О РУССКОМ ФЕОДАЛИЗМЕ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ХАРАКТЕРЕ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ¹

I

Может показаться, что вопрос о русском феодализме и о самодержавии является весьма мало актуальным после 1917 г. В феврале этого года было низвергнуто самодержавие, а Октябрьская революция выкорчевала окончательно последние корни феодального режима в той части нашей страны, где масса населения говорит на русском языке. Так что о «русском» феодализме говорить с тех пор как будто не приходится. Если советской власти в более позднее время случалось иметь дело с остатками феодализма, то это было, преимущественно, в Азии, а не в Европе, и эти остатки с «русским» феодализмом исторически не имели ничего общего. Во всяком случае они не имеют никакого отношения к спорам марксистов и буржуазных историков о том, существовал в России феодализм или нет. Любой буржуазный историк, отрицающий наличие феодализма в России, не станет спорить, что в Азербайджане например до революции существовали феодальные отношения.

Мы сейчас увидим, только ли это соглашаются уступить нам буржуазные историки или они в своих уступках идут гораздо дальше. Но сначала кончим вопрос об актуальности. Не стану скрывать, что до 1922—1924 гг. и мне самому вопросы о русском феодализме и о самодержавии казались решенными раз навсегда. Но в 1922 г. Троцкий выпустил свою книгу о 1905 г. и в предисловии к ней почти слово в слово повторил то, что говорил о происхождении самодер-

¹ Эта статья представляет собою сжатое изложение заключительных сессий на трех семинарах по истории народов СССР в ИКП истории и права: 20/XI и 24/XII 1930 г. и 16/II 1931 г. Напечатано в журн. «Борьба классов», 1931 г., № 2, стр. 78—89.

жавия Митюков в своих «Очерках». А в 1924 г. по целому ряду пунктов—не во всем, правда,—к Троцкому присоединился Слепков.

Сначала мне показалось это случайностью—плодом фактической неосведомленности этих авторов. Я и принял их, довольно наивно, поправлять, объясняя, как обстоит в действительности дело. Но уже в полемике с Троцким 1922 г. мне моя наивность стала ясна. Из ответов Троцкого было совершенно очевидно, что речь может идти не о случайной фактической ошибке, а только об известном мировоззрении, тесно связанном с практической политикой Троцкого. Последний так прямо это и сказал: с моим, говорил он, пониманием русской истории стоит и падает мое понимание Октябрьской революции и все прогнозы, какие я на этот счет делал. Слепков такой декларации не сделал, но это служит только лишним доказательством эклектичности всей его позиции. Он кое-что взял у Троцкого, кое-что прибавил от себя, но и то и другое одинаково шло наперерез той концепции русской истории, какую до тех пор мы привыкли называть марксистской.

Так как политические ошибки и Троцкого и Слепкова давно выяснены, то нет никакой необходимости заниматься здесь критикой их общих установок. Но поскольку в числе их аргументов видное место занимают аргументы от истории, этих последних аргументов постоянно приходилось касаться. Тем более, что, во-первых, троцкистско-слепковское понимание русской истории имело известный успех, и их аргументация повторялась и продолжает повторяться в различных докладах, тезисах и т. д., а во-вторых, с легкой руки Слепкова это направление начало выступать как ортодоксальный ленинизм (Троцкий этого не делал—он признавал, что его концепция противоположна ленинской). При помощи выдернутых из контекста отдельных фраз Ленина, иногда даже слегка «подправленных» (смазан конец, опущено начало и т. п.), старались создать у читателя представление, что Ленин якобы так же смотрел на русскую историю, как Слепков, и что во всяком случае та схема, которую принято называть марксистской, не имеет ничего общего с учением Ленина.

Спор о том или ином понимании русской истории превращался, таким образом, в спор о том или ином понимании ленинизма: уже этого одного достаточно, чтобы придать этому спору величайшую актуальность, как бы далеки ни были от наших времен те факты, на которые в

этом споре приходится ссылаться. Ибо правильное понимание русской истории может опираться только на понимание ее Лениным: если уж Троцкий не соглашался пожертвовать своей схемой, раз она составляла часть его мировоззрения, то как же мы, ленинцы, можем выкинуть из нашего мировоззрения ленинскую историческую концепцию?

Та концепция русской истории, которую я выше назвал марксистской, в основном конечно никогда не расходилась с ленинской—иначе был бы совершенно непонятен отзыв Владимира Ильича о «Русской истории в самом сжатом очерке», книге, где в очень популярной—именно поэтому очень заостренной—форме эта концепция изложена. Но совершенно ясно, что в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения этой концепции звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны. Так например безграмотным является выражение «торговый капитализм»: капитализм есть система производства, а торговый капитал ничего не производит. «Самостоятельное и преобладающее развитие капитала в форме купеческого капитала равносильно неподчинению производства капиталу, т. е. равносильно развитию капитала на основе чуждой ему и независимой от него общественной формы производства. Следовательно самостоятельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отношении к общему экономическому развитию общества... Денежное и товарное обращение может обслуживать сферу производства самых разнообразных организаций, которые по своей внутренней структуре все еще имеют главной целью производство потребительской стимулы»¹

Но в основе всей общественной структуры лежит именно производство. «Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни,—они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница—общество с промышленным капитализмом»². Ничего не производящий торговый капитал не мо-

¹ К. Маркс, Капитал, т. III, ч. 1 ян 2-я, стр. 313—314, изд. 1931 г.

² К. Маркс, Ниццета философии, стр. 103, изд. ИМЭ 1931 г.

жет определять собою характер политической надстройки данного общества: вот отчего совершенно неправильной является формулировка самодержавия как «торгового капитала в мономаховой шапке». Как бы велико ни было в ту или другую эпоху влияние торгового капитала (громадность этого влияния в известные эпохи признают, как мы увидим дальше, и Маркс с Энгельсом и Ленин), все же характер политической надстройки определяется производственными отношениями, а не обменом; «мономахова шапка» есть феодальное украшение, а не капиталистическое.

Нет никакого сомнения, далее, что мои старые формулировки грешат иногда смешением этого самого «торгового капитализма» с «товарным производством». Правда, опасность этого смешения я понимал еще, когда писал «Русскую историю с древнейших времен», то есть лет 20 назад, и местами делаю соответствующие оговорки, но недостаточно четко и недостаточно часто. Отсюда обычные недоразумения: объяснять например усиление феодальной эксплуатации крестьян в конце XVI в. влиянием «торгового капитала». Самый-то факт усиления феодальной (или рабовладельческой) эксплуатации под влиянием не торгового, но ростовщического капитала давно дан, в виде общей схемы, Марксом.

«Пока господствует рабство или пока прибавочный продукт поедается феодалом и его челядью и во власть ростовщика попадает рабовладелец или феодал, способ производства остается все тот же; он только начинает тяжелее давить на рабочего. Обремененный долгами рабовладелец или феодальный сеньор высасывает больше, потому что из него самого больше высасывают. Или же он в конце концов уступает свое место ростовщику, который сам становится землевладельцем и рабовладельцем, как всадники древнего Рима. На место старого эксплуататора, эксплуатация которого носила более или менее патриархальный характер, так как являлась главным образом орудием политической власти, выступает жестокий, жадный до денег выскочка. Но самый способ производства не изменяется»¹.

По существу те факты, которые я привожу в «Русской истории», великолепно укладываются в эту схему Маркса. Но торговый капитал тут не при чем или почти не при чем (поскольку главный ростовщик того времени—монастыри занимались попутно и торговлей в крупных размерах). Рын-

¹ К. Маркс, Капитал, т. III, ч. 2-я, стр. 110, изд. 1930 г.

ком сельскохозяйственных продуктов торговый капитал завладел лишь гораздо позже.

Наконец, не приходится и этого скрывать, в первых редакциях моей схемы был недостаточно учтен и факт о т н о с и т е л ь н о й н е з а в и с и м о с т и политической надстройки от экономического базиса—позабыты были слова Энгельса: «К чему же мы тогда бьемся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая власть экономически бессильна? Сила (т. е. государственная власть) это есть точно так же экономическое могущество [Die Gewalt (das heisst die Staatsmacht) ist auch eine ökonomische Potenz]»¹. «Экономический материализм» не был еще мною изжит на все сто процентов, когда я писал и «Русскую историю», и «Очерк истории культуры», и даже «Сжатый очерк». Вы увидите, как мне придется теперь на этих же словах Энгельса настаивать (в другой комбинации их повторяет и Ленин), отстаивая мою схему в ее окончательном виде.

Свободна ли эта «окончательная» схема от ошибок? Никак не могу этого обещать. Она свободна от тех ошибок, которые я успел заметить и исправить, но могут быть ошибки, которых я еще не заметил. Моим утешением служит то, повторяю, что в о с н о в н о м схема не была антиленинской уже с самого начала, когда еще в ней присутствовали все перечисленные выше безграмотности. В исправлении этих безграмотностей мне чрезвычайно помогли семинары ИКП, но очень мало мои противники. Тут французская поговорка, что «от столкновения мнений рождается истина», совершенно не оправдалась. За единственным исключением «торгового капитализма»—я от своих противников ни в чем никаких полезных указаний не получил. Вместо того, чтобы от Маркса и Ленина критиковать мои ошибки, они занимались доказательством совершенно недоказуемых вещей, либо вроде того, что к возникновению русского самодержавия и абсолютизма вообще торговый капитал не имел никакого отношения, либо того, что самодержавие представляло не торговый, а п р о м ы ш л е н н ы й капитал (оно не представляло, разумеется, прямо ни того, ни другого), либо того, что феодальные методы продукции исключали всякую возможность товарного хозяйства, либо того, что у нас феодализма вообще не было, а была какая-то особая формация «крепостного хозяйства». В основе всего этого лежало чистое

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, пер. Адоратского, стр. 385. изд. 4-е, 1931 г.

1) Покровский.

м е т а ф и з и ч е с к о е, антидиалектическое представленье о том, что в каждой данной стране в каждый данный период должна безраздельно господствовать какая-нибудь одна система хозяйства,—раз показываются признаки какой-нибудь другой системы, значит вся схема неверна. Отсюда погоня за «чистым» империализмом, «чистым» феодализмом и т. д. Позабыта была маленькая вещь—то, что по Ленину составляет «душу живу» марксизма: «Учение о всестороннем и полном противоречий историческом развитии»¹.

Все относящиеся сюда вопросы, рассматривались на семинарах НКП конца 1930 г.—начала 1931 г. в порядке тех тем, которые обсуждались на том или другом семинаре. В таком порядке шли и «заключительные слова». Но так как стенограмма этих последних до такой степени неудовлетворительна, что напечатать ее оказалось невозможно, то пытаться воспроизводить дававшиеся объяснения в том именно порядке, в каком они давались на семинарах, значило бы задать себе лишний и совершенно ненужный труд. Я предпочитаю поэтому давать вопросы и ответы в их логическом порядке, как они вытекали один из другого.

III

Но прежде всяких вопросов необходимо прежде всего сказать два слова о самом термине—«феодализм». Он имеет разный смысл в исторической литературе и в марксистской теоретической литературе. Для последней феодализм есть общественно-экономическая форма, характеризующаяся определенными методами производства. Для историков феодализма не только это, а еще и определенная политическая система, известная форма государства. У меня поэтому в определение «феодализма» введены и политические признаки: связь государственной власти с землевладением и иерархия землевладельцев.

Почему буржуазные историки берут феодализм с политического конца, это не требует объяснений. Но почему и марксистам, «русским историкам», пришлось отчасти подчиниться этой постановке, это объяснить нужно. Дело в том, что господство у нас в старину феодальных методов продукции буржуазные историки не оспаривали. Никому другому, как Виноградову, принадлежит известное определение,

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 71, изд. 3-е. Разрядка моя—М.П.

что «в XIII в. от берегов Темзы до берегов Оки господствовала одна и та же система хозяйства». Тут с ним не о чем было спорить. Но они утверждали, что политических плодов у нас эта система не дала, что у нас на основе феодальных методов производства развилось не феодальное государство, как во Франции, Англии или Германии, а совершенно особый тип надклассовой власти, объединившей все общество, без различия классов, на задаче обороны страны от внешнего врага. В этом-де основное «своеобразие» русского исторического процесса. Чтобы проложить дорогу марксистскому пониманию царизма как феодальной по своему происхождению власти, и приходилось уделять так много места доказательствам того, что у нас был и политический феодализм, а не только феодальные методы хозяйствования.

Теперь перехожу к вопросам и ответам на них.

В основе феодальных методов производства лежит натуральное хозяйство. Феодальное имение ставит себе потребительские задачи—удовлетворение своих потребностей. Отсюда, говорят, совершенно ясно, что феодальная формация и товарное хозяйство—две вещи совершенно не совместимые. А поскольку у нас феодальные методы производства господствовали на очень широком пространстве до самого начала XX столетия, значит, говорят, наша деревня по крайней мере жила до этого времени в условиях натурального хозяйства. А поскольку сельскохозяйственная продукция была основной в нашей стране, весь тип хозяйства был у нас ближе к натуральному, средневековому, чем к современному, капиталистическому.

Это утверждение имеет колоссальное практическое значение. «Примитивная экономическая основа» лежит в основе всех построений Троцкого. С другой стороны, утверждение т. Бухарина, что у нас социалистическая революция разразилась раньше, чем в других странах, именно потому, что здесь было «самое слабое звено цепи»—Россия была наименее развитой капиталистической страной (Ленин против этого места написал, как известно: «Неверно: «с средне слабых»). Без известной высоты капитализма у нас бы ничего не вышло»), исходит по существу из аналогичного представления. Троцкий, основываясь на этом, утверждал, что говорить о переходе России к социализму без государственной помощи овладевшего властью западноевропейского пролетариата могут только люди «с совершенно особенным устройством головы». Тов. Бухарин проявил в вопросах со-

циалистического строительства необычайную «осторожность» и самый крайний скептицизм. И то и другое тесно связано с охарактеризованной сейчас исторической концепцией.

Спрашивается: верно ли, что господство феодальных методов продукции, наличность феодализма как общественно-экономической формации и с к л ю ч а е т возможность товарного хозяйства в какой бы то ни было мере?

Возьмем одну из наиболее известных характеристик развития крепостного хозяйства у Ленина. «Возьмем за исходный пункт дореформенное крепостническое хозяйство. Основное содержание производственных отношений при этом было таково: помещик давал крестьянину землю, лес для постройки, вообще средства производства (иногда и прямо жизненные средства) для каждого отдельного двора, и, предоставляя крестьянину самому добывать себе пропитание, заставлял все прибавочное время работать на себя, на барщине. Подчеркиваю: «все прибавочное время», чтобы отметить, что о «самостоятельности» крестьянина при этой системе не может быть и речи. «Надел», которым «обеспечивал» крестьянина помещик, служил не более как натуральной заработной платой, служил всецело и исключительно для эксплуатации крестьянина помещиком, для «обеспечения» помещику рабочих рук, никогда для действительного обеспечения самого крестьянина. Но вот вторгается товарное хозяйство. Помещик начинает производить хлеб на продажу, а не на себя. Это вызывает усиление эксплуатации труда крестьян.—затем, затруднительность системы наделов, так как помещику уже невыгодно наделять подрастающие поколения крестьян новыми наделами, и появляется возможность расплачиваться деньгами. Становится удобнее отграничить раз навсегда крестьянскую землю от помещичьей (особенно ежели отрезать при этом часть наделов и получить «справедливый» выкуп) и пользоваться трудом тех же крестьян, поставленных материально в худшие условия и вынужденных конкурировать и с бывшими дворовыми, и с «дарственниками», и с более обеспеченными бывшими государственными и удельными крестьянами и т. д. Крепостное право падает»¹.

Когда «вторгается товарное хозяйство» в помещичье имение? Совершенно ясно, что еще до 1861 г., до «освобождения крестьян». «Крепостное право падает» именно в ре-

¹ Ленин, Соч., т. I, стр. 349, 350, изд. 3-е.

зультате этого вторжения. Когда именно началось «вторжение», Ленин здесь не говорит, и это дало повод некоторым товарищам, стремящимся ограничить «зло» товарного хозяйства, говорить, что описанные Лениным явления имели место не ранее первой половины XIX в. Но Ленин говорит только (т. III, стр. 140), что «производство хлеба помещиками на продажу особенно развилось (у Ленина «развившееся», разрядка моя—М. П.) в последнее время существования крепостного права», особенно развилось, но существовало значит и раньше. Вообще же в марксистской литературе хронологическую границу начала этого процесса отодвигают довольно далеко вглубь прошлого. Энгельс в одном из вновь опубликованных отрывков «Анти-Дюринга» говорит: «Россия является доказательством того, как производственные отношения обуславливают политические соотношения сил. До конца XVII в. русский крестьянин не подвергался сильному угнетению, пользовался свободой передвижения, был почти независим. Первый Романов прикрепил крестьян к земле. Со времен Петра началась иностранная торговля России, которая могла вывозить лишь сельскохозяйственные продукты. Этим было вызвано угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста вывоза, ради которого оно происходит, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила законодательства. Но это законодательство позволяло помещикам все более и более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался»¹.

Как далеко шло это развитие товарного хозяйства внутри феодальной формации? Вплоть до образования уже тогда и там класса капиталистов. «В крепостном обществе, по мере развития торговли, возникновения мирового рынка, по мере развития денежного обращения, возникал новый класс—класс капиталистов» (ср. там же дальше: «Крепостное общество всегда было более сложным, чем общество рабовладельческое. В нем был большой элемент развития торговли, промышленности, что вело еще в то время к капитализму») ².

Значит ли это, как думает т. Малышев, что работающее для рынка крепостное, барщинное хозяйство было теми воротами, через которые в сельское хозяйство России проникал капитализм? Совсем не значит конечно: это были не ворота, а барьер; именно потребности товарного хо-

¹ Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 349, 350, изд. 1930 г.

² Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 367, 371, изд. 3-е.

зайства, не удовлетворяющегося и не могшего удовлетвориться барщиной, и заставили наиболее передовых помещиков поставить в середине XIX в. вопрос об устранении этого барьера. Движение самих крестьян очень ускорило эту операцию, побудило весь класс помещиков пойти за наиболее прогрессивными (в экономическом смысле) из своих собратий: без этого дело не кончилось бы в четыре года; но если бы хотя часть помещиков и притом часть влиятельная не была заинтересована в ликвидации барщинного хозяйства, именно в интересах развития капитализма, то барщина могла бы быть уничтожена только в результате победоносной крестьянской революции: «крестьянская реформа» была бы невозможна.

Но «реформа» толкала в направлении к товарному хозяйству не только помещика (удержавшего, заметьте, в своем имении массу остатков феодализма: отработки, порка крестьян и т. д.), а и крестьянина. «Положение» 19 февраля есть один из эпизодов смены крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим). Никаких иных историко-экономических элементов по этому взгляду в «Положении»¹ нет. «Наделение производителя средствами производства» есть пустая прекраснотушная фраза, затушевывающая тот простой факт, что крестьяне, будучи мелкими производителями в земледелии, превращались из производителей с преимущественно натуральным хозяйством в товаропроизводителей. Насколько сильно или слабо было при этом развито именно товарное производство в крестьянском хозяйстве разных местностей России той эпохи,—это вопрос иной. Но несомненно, что именно в обстановку товарного производства, а не какого-либо иного, вступал «освобождаемый» крестьянин. «Свободный труд» взамен крепостного труда означал таким образом не что иное, как свободный труд наемного рабочего или ловкого самостоятельного производителя в условиях товарного производства, т. е. в буржуазных общественно-экономических отношениях. Выкуп еще рельефнее подчеркивает такой характер реформы, ибо выкуп дает толчок денежному хозяйству, т. е. увеличению зависимости крестьянина от рынка»².

Как далеко зашел крестьянин по этому пути ко времени кануна революции 1905 г., когда кое-кому из нас еще мерещатся «примитивные экономические условия» и преоблада-

¹ Положение 19 февраля 1861 г.—М. П.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 93 и 94, изд. 3-е.

ние хотя бы в нашей деревне натурального хозяйства? В 1899 г. Ленин писал на этот счет: «Численно крестьянская буржуазия составляет небольшое меньшинство всего крестьянства,—вероятно не более одной пятой доли дворов (что соответствует приблизительно трем десятым населения), причем это отношение, разумеется, сильно колеблется в разных местностях. Но по своему значению во всей совокупности крестьянского хозяйства,—в общей сумме принадлежащих крестьянству средств производства, в общем количестве производимых крестьянством земледельческих продуктов—крестьянская буржуазия является безусловно преобладающей. Она—господин современной деревни»¹.

В то же время сельский пролетариат, «рабочий с наделом», давал, по Ленину, «не менее половины всего числа крестьянских дворов, что соответствует приблизительно $\frac{4}{10}$ населения»².

3 4 7
10 10 10 почти три четверти крестьянства
к концу XIX в. было захвачено товарным хозяйством. На долю натурального остается одна четверть: можно ли при таких условиях говорить о преобладании до-товарных отношений?

IV

Итак, в течение очень продолжительного периода времени, полутора-двух столетий, на территории нашей страны существовали феодальные методы производства (натуральное по своей целевой установке хозяйство) и товарное хозяйство, сначала в виде исключения, потом все чаще и чаще. Первые мешали развиваться второму, второе разлагало первые, сначала, до 1861 г., медленно, потом быстрее, но до конца не разложило их даже в XX столетии. Достаточно от феодализма осталось даже и к 1917 г. Тем не менее называть наше хозяйство «натуральным» не только в эту последнюю эпоху, но и вообще после 1861 г. можно только в совершенном забвении исторических фактов и учения Ленина.

Спрашивается, имел ли этот факт (развитие в недрах феодального общества товарного хозяйства) какие-либо политические последствия? В сущности, спрашивать это—значит уподобляться буржуазным историкам, которые феодальные методы продукции у нас признавали, а наличность

¹ Ленин, Соч., т. III, стр. 128, изд. 3-е.

² Ленин, там же, стр. 129.

феодалного государства нет. Само собою разумеется, что экономика должна была иметь политическое отражение, что если товарное хозяйство разлагало феодализм как экономическую систему, то оно должно было как-то видоизменять и политическую систему феодализма.

Этим видоизменением феодального государства под влиянием товарного хозяйства и был абсолютизм, говоря точнее—бюрократическая монархия. Это уточнение совершенно необходимо, ибо и власть вавилонских царей, и власть римских цезарей, и власть Наполеона I—это все абсолютизм, но социальная база этих абсолютизмов весьма различна. Здесь имеется в виду та разновидность абсолютизма, которая характерна для эпохи разложения феодального хозяйства и в свою очередь характеризуется тремя основными признаками: наличием бюрократии, постоянной армией и системой денежных налогов.

У нас очень принято—особенно среди молодежи—рассматривать русское самодержавие как чисто феодальную форму власти, как классическую, можно сказать, форму феодального государства. Это объясняется по всей вероятности тем, что в наших вузах, комвузах и даже ИКП очень мало занимаются средними веками (марксисту и они нужны!) и поэтому о настоящем «классическом феодализме» не имеют понятия. В этом классическом феодализме произвола сколько угодно, но абсолютизма там нет. Экономическая независимость натурального хозяйства дает на практике огромную политическую независимость владельцу феодальной вотчины. Принудить его к повиновению, ежели он не хочет повиноваться, можно только открытой силой, а ее не пустишь в ход каждый день, да и применение открытой силы тоже зависит в эту эпоху от натурального хозяйства, т. е. от готовности других феодальных вотчинников повиноваться «сюзерену». Отсюда необходимость для последнего договариваться со своими «вассалами», фактически не предпринимать ни одного серьезного шага без их согласия, созывать более крупных феодальных землевладельцев на совещания (наша боярская дума) и т. д.

Об абсолютизме при таких условиях речи быть не может; вот почему, хотя власть московских царей и российских императоров не только феодального происхождения, но и имела своим назначением поддерживать феодальные методы продукции, была политической оболочкой «внеэкономического принуждения», объяснить только из условий натурального хозяйства эту власть никак нельзя.

Ленин никогда не смешивал абсолютизм и феодализм. Характеризуя по поводу балканской войны 1912 г. порядки восточной Европы, он говорит: «В восточной Европе (Австрия, Балканы, Россия) до сих пор не устранены еще могучие остатки средневековья, страшно задерживающие общественное развитие и рост пролетариата. Эти остатки—абсолютизм (неограниченная самодержавная власть), феодализм (землевание и привилегия крепостников-помещиков) и подавление национальностей»¹.

Ленин постоянно указывал на их ошибку тем товарищам, которые отождествляли самодержавие с верхушкой феодального общества. «...классовый характер царской монархии нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии», от Николая II до любого урядника. Эту ошибку—забвение самодержавия и монархии, сведение ее непосредственно к «чистому» господству верхних классов—делали отзовисты в 1908—1909 гг. (см. «Пролетарий», прилож. к № 44), делал Ларин в 1910 г., делают некоторые отдельные писатели (напр. М. Александров), делает ушедший к ликвидаторам Н. Р-ков»².

На чем же держалась эта независимость «бюрократии»? Разбирая статью Н. Николина «Новое в старом», Ленин дает на это вполне ясный ответ. «Вполне верно и чрезвычайно ценно здесь подчеркивание Ник. Николиным связи «бюрократии» с верхами торгово-промышленной буржуазии. Отрицать эту связь, отрицать буржуазный характер современной аграрной политики, отрицать вообще «шаг по пути превращения в буржуазную монархию» могут только люди, совершенно не вдумывавшиеся в то новое, что принесено первым десятилетием XX в., совершенно не понимающие взаимозависимости экономических и политических отношений в России и значения III Думы»³.

И тут же еще раз прибавляет, что «забвение громадной самостоятельности и независимости «бюрократии» есть главная, коренная и роковая ошибка» тех, кто в этом забвении повинен. «Бюрократия» и есть то, что вносит новые черты в феодальную физиономию самодержавия, и это потому, что бюрократия как со своей социальной базой связана не с феодальным натуральным землевладением, а с товарным хозяйством и нарождающейся буржуазией.

¹ Ленин, Соч., т. XVI, стр. 175, изд. 3-е.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 304, изд. 3-е.

³ Ленин, Соч., т. XV, стр. 309, изд. 3-е.

Это—старая мысль Ленина. Цитированные сейчас статьи относятся к 1911 г. Но вот что он писал еще в 90-х годах: «Особенно внушительным реакционным учреждением, которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших революционеров, является отечественная бюрократия, которая de facto и правит государством российским. Пополняемая, главным образом, из разночинцев, эта бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко буржуазной, но абсолютизм и громадные политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно вредные качества». И далее, в статье о Струве: «Тот особый слой, в руках которого находится власть в современном обществе, это—бюрократия. Непосредственная и теснейшая связь этого органа с господствующим в современном обществе классом буржуазии явствует и из истории (бюрократия была первым политическим орудием буржуазии против феодалов, вообще против представителей «старо-дворянского» уклада, первым выступлением на арену политического господства не породистых землевладельцев, а разночинцев, «мещанства») и из самых условий образования и комплектования этого класса, в который доступ открыт только буржуазным «выходцам из народа» и который связан с этой буржуазией тысячами крепчайших нитей. Ошибка автора тем более досадна, что именно российские народники, против которых он возымел такую хорошую мысль ополчиться, понятия не имеют о том, что всякая бюрократия и по своему историческому происхождению, и по своему современному источнику, и по своему назначению представляет из себя чисто и исключительно буржуазное учреждение, обращаться к которому с точки зрения интересов производителя только и в состоянии идеологии мелкой буржуазии»¹.

Итак, самодержавие, оставаясь, повторяю, не только по происхождению, но и по назначению феодальным учреждением, уже очень рано через свой аппарат, бюрократию, оказывалось связанным с товарным хозяйством и нарождающимся буржуазным миром. Для метафизики это непереносимо: ежели буржуазное учреждение, так буржуазное, феодальное, так феодальное. Или-или. Диалектик же отлично знает, что историческое развитие «полно противоречий» и что не будь этих противоречий, пожалуй, не стоило бы заниматься историей.

¹ Ленин, Соч., т. I, стр. 186 (прим.), 291 и 292, изд. 3-е.

Само собою разумеется, что без товарного хозяйства нельзя себе представить и такого учреждения, как постоянная армия,—содержание в казармах сотен тысяч людей, не занятых производительным трудом, для прокормления которых нужно было сосредоточивать огромные массы съестных припасов, для одевания которых приходилось в массовом масштабе изготавливать ткани, для вооружения которых нужно было иметь металлургическую и химическую промышленности. Нельзя себе представить и системы денежных податей, а она существовала у нас попеременно с натуральными с Ивана Грозного, в более или менее чистом виде с Петра I.

С каких пор начались эти связи феодального самодержавия с товарным хозяйством? По Ленину — еще до Петра. Сносщийся сюда отрывок из «Что такое «друзья народа» может считаться очень известным. Но его необходимо все же привести, во-первых, для полноты, а во-вторых потому, что антиленинцы, когда им нужно, легко забывают самые известные ленинские цитаты. Оспаривая мнение Михайловского, что «национальные связи — это продолжение и обобщение связей родовых», и показав, что уже «в эпоху московского царства» (т. е. в XVI в.) родовые связи сменились территориальными, Ленин продолжает: «Только новый период русской истории (примерно с XVII в.) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжества в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один все-русский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных»

Так, по Ленину, еще с XVII в. уже не просто товарное хозяйство, а именно торговый капитал приобретает политическое значение. Чрезвычайно любопытно сравнить с этим то, что писали на этот счет Маркс и Энгельс в своей критике Фейербаха в 40-х гг.: «Мануфактура и вообще производство получили огромный толчок, благодаря расширению сношений, вызванному открытием Америки и морского пути в Индию. Новые, ввезенные оттуда, продук-

¹ Ленин, Соч., т. I, стр. 72, 73, изд. 3-е.

ты, в особенности массы золота и серебра, вступившие в обращение, радикально видоизменили взаимоотношение классов и нанесли жестокий удар феодальной земельной собственности и рабочим; предприятия разных авантюристов, колонизация, а главным образом ставшее теперь возможным и все ботее и более совершавшееся расширение рынков и превращение их в мировой рынок породили новую фазу исторического развития, которой мы не будем здесь подробнее заниматься. Благодаря колонизации новооткрытых земель, торговая борьба народов друг с другом получила новую пищу, приобретя вместе с тем и большие размеры и более ожесточенный характер... Второй период наступил в середине XVII столетия и тянулся почти до конца XVIII. Торговля и судоходство расширились быстрее, чем мануфактура, игравшая тогда второстепенную роль; колонии начали становиться крупными потребителями; отдельные народы только путем продолжительной борьбы сумели удержаться на открывшемся мировом рынке. Этот период начинается законами о мореплавании и колониальными монополиям. Путем тарифов, запрещений, трактатов устраняли по возможности конкуренцию чужих народов; а в последнем счете решения и исхода конкурентной борьбы искали в войнах (в особенности, в морских войнах). Могуществейшая морская держава, Англия, получила перевес в торговле и мануфактуре... Народ, первенствовавший в морской торговле, и в смысле колониального могущества обладал, естественно, и самой обширной—как количественно, так и качественно—мануфактурной промышленностью... Купцы, а в особенности арматоры, более всех других требовали государственной охраны и монополий; правда, и мануфактуристы требовали—и добивались—охраны, но в политическом значении они постоянно уступали купцам... XVIII в. был веком торговли. Пинто говорит нам (?) определенно: «Le commerce fait la marotte du siècle» и также: «depuis quelque temps il n'est plus question que de commerce de navigation et de marine» («Торговля — это конек нашего времени; с некоторого времени только и говорят, что о торговле, мореплавании, флоте») ¹.

Ленин не читал этой вещи, которая была опубликована

¹ Архив Маркса и Энгельса, т. 1, стр. 238, 239. Разрядка моя—М.П.

после его смерти. Да и она берет тот же вопрос с другого конца: у Ленина выясняется значение торговли и торгового капитала для внутреннего роста государства, у Маркса и Энгельса—для международной политики. Но суть одна и та же: говоря словами Маркса и Энгельса, «торговля отныне приобретает политическое значение».

Но раз торговый капитал стал политической силой, естественно, является вопрос: что же, на феодальное самодержавие он имеет какое-нибудь влияние или нет?

Сначала установим словами Ленина влияние капитализма на развитие самодержавия вообще. В своей статье «О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве» Ленин пишет: «Что власть в России XIX и XX вв. вообще развивается «по пути превращения в буржуазную монархию», этого не отрицает Ларин, как не отрицал этого до сих пор ни один вменяемый человек, желающий быть марксистом. Предложение заменить прилагательное «буржуазный» словом «плутократический» неверно оценивает степень превращения, но принципиально не решается оспаривать, что действительный «путь», путь реальной эволюции состоит именно в этом превращении. Пусть попробует он утверждать, что монархия 1861—1904 гг. (т. е. несомненно, менее капиталистическая по сравнению с современной) не представляет по сравнению с эпохой николаевской, крепостной, одного из шагов «по пути превращения в буржуазную монархию!»».

Итак, феодальное по происхождению самодержавие имело постоянную тенденцию развиваться в сторону буржуазной монархии, т. е. в сторону компромисса с капитализмом. Мог ли теоретически быть достигнут такой компромисс? Да, мог. «Могут быть и бывали исторические условия, когда монархия оказывалась в состоянии уживаться с серьезными демократическими реформами, вроде например всеобщего избирательного права. Монархия вообще не единообразное и неизменное, а очень гибкое и способное приспособляться к различным классовым отношениям господства учреждение».

Был ли он достигнут в России? Столыпинщина была последней попыткой такого компромисса. «Столыпин пытался в старые мехи влить новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монархию, и крах столыпинской политики есть крах царизма на этом последнем, последнем мыслимом для царизма пути. Помещицья монархия Александра III пыталась опираться на «пагриархаль-

ную» деревню и на «патриархальность» вообще в русской жизни; революция разбила в конец такую политику. Помещичья монархия Николая II после революции пыталась опираться на контрреволюционное настроение буржуазии и на буржуазную аграрную политику, проводимую теми же помещиками; крах этих попыток, несомненный теперь даже для кадетов, даже для октябристов, есть крах последней возможной для царизма политики».

Неудача столыпинщины была роковой для самодержавия, доказав, что оно потеряло всякую способность прилаживаться к экономическому развитию. «Наше положение и история нашей государственной власти — особенно за последнее десятилетие — показывают нам наглядно, что именно царская монархия есть средоточие той банды черносотенных помещиков (от них же первый — Романов), которая сделала из России страшилище не только для Европы, но теперь и для Азии, — банды, которая довела ныне произвол, грабежи и казнокрадства чиновников, систематические насилия над «простонародьем», истязания и пытки по отношению к политическим противникам и т. д. до размеров совершенно исключительных»¹.

Но эти пределы приспособляемости самодержавия к капитализму определялись не только свойствами самодержавия, а и свойствами капитализма. К каким формам капиталистической эксплуатации крепостническое самодержавие могло приладиться? Ответ на это Ленина мы имеем в его характеристике партии октябристов: «Не отличаясь ничем существенным в теперешней политике от правых, октябристы отличаются от них тем, что, кроме помещика, эта партия обслуживает еще крупного капиталиста, старозаветного купца, буржуазию, которая так перепугалась пробуждения рабочих, а за ними и крестьян, к самостоятельной жизни, что целиком повернула к защите старых порядков. Есть такие капиталисты в России — и их очень не мало, — которые обращаются с рабочим ничуть не лучше, чем помещики с бывшими крепостными; рабочие, приказчик — для них та же челядь, прислуга»².

«Есть капитализм и капитализм. Есть черносотенно-октябристский капитализм и народнический («реалистический, демократический, активности» полный) капитализм...», — писал Ленин Горькому в 1911 г. «Международный

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 130, 225 и 247, изд. 3-е.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 483, изд. 3-е.

пролетариат теснит капитал двояко: тем, что из октябристского превращает его в демократический, и тем, что выгоняя от себя капитал октябристский, переносит его к дикарям. А это расширяет базу капитала и приближает его смерть. В Западной Европе уже почти нет капитала октябристского; почти весь капитал демократический. Октябристский капитал из Англии, Франции ушел в Россию и в Азию. Русская революция и революция в Азии—борьба за вытеснение октябристского капитала и за замену его демократическим капиталом»¹.

«Октябристский» капитал—это капитал, сложившийся в недрах феодальной формации, сжившийся с нею, пользовавшийся, где можно ее методами эксплуатации. Это конечно не только торговый и ростовщический капитал, но это его ближайший потомок. Недаром для Ленина октябристы—это партия «старозаветных купцов». Это не случайная обмолвка. Несовместимость самодержавия и высших, более совершенных, форм капиталистической эксплуатации Ленин прекрасно понимал еще до начала первой революции, 1905 г., и вот что он тогда писал: «Чем дальше, тем больше сталкиваются с самодержавием интересы буржуазии как класса, интересы интеллигенции, без которой немислимо современное капиталистическое производство. Поверхностным может быть повод либеральных заявлений, мелок может быть характер нерешительной и двойственной позиции либералов, но настоящий мир возможен для самодержавия лишь с кучкой особо привилегированных тузов из земледельческого и торгового класса, а отнюдь не со всем этим классом»².

Из всех форм капитала к самодержавию ближе всего был торговый капитал, опираясь на который самодержавие росло, опираясь на который феодальное государство чисто средневекового типа переросло в бюрократическую монархию. Без феодализма вообще не было бы самодержавия. Без торгового капитала власть феодального монарха не пошла бы дальше Ивана III. А самодержавие дало не только Петра I, но и Александра II и даже псевдоконституцию Столыпина. Дальше по своей феодальной природе оно приспособляться не могло и пало.

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 58, 59, изд. 3-е.

² Ленин, Соч., т. VII, стр. 30, изд. 3-е. Разрядка моя—М.П.

ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ НАРОДНОЙ ВОЛИ ¹

«Кого опыт величайшей эпохи в новой, современной России не научил отличать реального содержания народничества от словесной оболочки его,—тот безнадежен, того нельзя брать в серьез...»

(Ленин, О народничестве)

Широкая, всенародная постановка юбилея Народной Воли явилась, не стоит этого скрывать от себя, некоторой неожиданностью. Мы прошли мимо таких юбилейных дат, как демонстрация у Казанского собора, как образование Земли и Воли, как возникновение первых рабочих союзов— почти молча. О Бардиной и ее товарищах, работавших среди пролетариата, буквально никто не вспомнил. А пятидесятилетие возникновения Исполнительного комитета разрастается в праздник шире юбилея Чернышевского, гораздо шире юбилея Бакунина.

Если бы это можно было объяснить желанием воздать должное тем великим революционерам народовольческой эпохи, которых мы еще имеем счастье видеть среди нас, дело было бы более или менее понятно. Но, к сожалению, индивидуалистические объяснения никак не могут быть признаны убедительными с точки зрения научного социализма. И в данном случае такое объяснение лопается с первых же шагов. Значение Веры Николаевны Фигнер в истории русского революционного движения не станет ни больше, ни меньше от того, правильно или неправильно представляем мы себе идеологическое соотношение народничества и марксизма. Юбилей Народной Воли ровно ничего не выиграет, если мы будем изображать народовольцев тем, чем они не

¹ «Историк-марксист», 1930 г., № 15, стр. 74—85.

были. Напротив, всякое тенденциозное искажение истории Народной Воли только повредит юбилею. Борясь против антиленинской тенденции возвеличения народовольцев за то, чем они не были, легко впасть в противоположную крайность—отрицания за Народной Волей того значения, какое она несомненно имела. Можно опасаться, что нечто подобное уже есть налицо. В самом деле, кто теперь говорит о Народной Воле? Все говорят о т. Теодоровиче. Но ведь не его же юбилей справляется. Крайне редкий и конечно нежелательный случай—фигура одного из «приветствующих» заслонила юбиляра. Совершенно нежелательный случай, ибо какие бы ошибки не совершались т. Теодоровичем, сами по себе они не могут изменить репутации Народной Воли ни в ту, ни в другую сторону.

Если эта небольшая заметка несколько исправит aberrацию и переведет внимание хотя бы только читателей «Историка-марксиста» от участников юбилея к самому юбиляру, автор будет очень счастлив. Революционное народничество чрезвычайно высоко ставил Ленин. Революционному народничеству мы чрезвычайно многим обязаны, — как по линии организационных форм в наш подпольный период, так и по линии чисто политической борьбы традиция признана здесь опять-таки самим же Лениным. Совершенно дико было бы конечно утверждать, что большевизм отделен от всего предшествующего революционного движения непроницаемой переборкой. Это было бы совершенно антиленинское утверждение¹. И если жалько, что мы, с позволения сказать, проспали целый ряд дат народнической революции—дат, иные из которых были бы ближе к нам, чем Народная Воля: по линии организационных форм Ленин отводил первое место Земле и Воле, кульминационным пунктом всего движения он считал «хождение в народ», — то и образование Народной Воли дата настолько крупная, что пропустить ее было бы невозможно ни при какой обстановке, а если мы только с нее начинаем, так что же: лучше поздно, чем никогда.

Но если никому не придет в голову отрицать, что мы связаны с предшествующими, добольшевистскими фазами развития революционного движения, то из этого никак не следует, что мы из этих фаз, или из одной из них, вышли. Те, кто видит в якобинцах ли или в народовольцах прямо

¹ Ярче всего мысль о преемстве революционных «поколений» выражена Лениным в заключительных строках статьи «Памяти Герцена». Ср. также «О национальной гордости великороссов». Об организационном влиянии революционного народничества на большевизм см. «Что делать?»

«предшественников» большевизма, становятся на явно немарксистскую позицию—скатываются к представлению о революционном движении, как о чем-то внеклассовом, несущемся самостоятельно и независимо над общим процессом экономической и социальной истории. Ленин этого, разумеется, никогда не делал. Свои «три поколения» русских революционеров он сейчас же поясняет как «три класса, действовавшие в русской революции»: сначала «дворяне и помещики», затем «революционеры-разночинцы» («начиная с Чернышевского и кончая героями Народной Воли»), наконец «пролетариат». И в этой классовой основе вся суть дела. Большевизма не было бы, если бы не было пролетариата, но большевизм, при наличии пролетарского движения, был бы, если бы и не было народовольцев, как для существования самих народовольцев вовсе не обязательно было существование декабристов. Желябов вовсе не предполагает как необходимую логическую предпосылку Пестеля. Исторически, в данной конкретной обстановке они следовали в таком порядке, но в иной конкретной обстановке те или иные звенья могли бы и отсутствовать. Когда мы говорим, что то или иное явление из области революционного прошлого «предвосхищает» то или иное явление из области новейшего революционного движения, мы хотим только сказать, что между этими явлениями существует известная аналогия, но это вовсе не значит, что второе явление вышло из первого. Так Энгельс, когда он говорил, что расстановка классовых сил в великой крестьянской войне XVI в. предвосхищает расстановку их в революции 1848 г., конечно не хотел этим сказать, что революция 1848 г. развилась из крестьянской войны. Но аналогия была, и эту аналогию стоило отметить, ибо одно давало лучше понять другое.

Но эти аналогии принесут нам какую-нибудь пользу только в том случае, если мы будем исходить из сути дела, т. е. из классового анализа. «Всякий, кто хоть чему-нибудь научился из истории или из марксистского учения, должен будет признать, что во главу угла политического анализа надо поставить вопрос о классах: о революции какого класса идет речь»¹. Только этот анализ вносит какой-нибудь смысл в наши аналогии. Почему например можно установить известную «традицию» от декабристов через народников до большевиков в деле борьбы с самодержавием? Да потому,

¹ Статья Ленина «За деревьями не видят леса», август 1917 г. Соч., т. XXI, стр. 84.

что для различных классов, представленных в революции теми, другими и третьими, низвержение крепостнического государства по разным причинам представляло общую задачу. Феодалное землевладение с его политической верхушкой стояло поперек дороги одинаково как капиталистическому фермеру, которого представлял, сознательно или бессознательно, для нас теперь все равно, Пестель, и массе крестьянства, которую сознательно представляли революционные народники, и пролетариату. Но значит ли это, что можно вообще устанавливать «традиции» между различными формами революционного движения вне этого совпадения определенных классовых интересов? Можно ли установить «традицию» от Пестеля, сознательно (на этот раз нет сомнений) стремившегося расчистить путь капитализму в России, к народникам, бешено борющимся против самой идеи, что в России возможен капитализм? Можно ли сопоставлять то, что называли «социализмом» народники, с тем, что называем социализмом мы, игнорируя тот факт, что классовая база в обоих случаях совершенно различная?

Последний вопрос может показаться риторическим, поскольку еще Коммунистический манифест установил с достаточной четкостью, что «социализм» может быть и реакционным, — мелкобуржуазный социализм вообще, а «утопический» на определенной стадии своего развития. О мелкобуржуазном социализме Манифест говорит, что «по своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и сношения, а вместе с ними и старые имущественные отношения, и старое общество; или же он старается насильно удержать новейшие средства производства и сношения в рамке старых имущественных отношений, которые они уже разбили и необходимо должны были разбить. В обоих случаях он является одновременно реакционным и утопическим». А о «критически-утопическом» социализме Маркс и Энгельс говорят, что его значение «стоит в обратном отношении к историческому развитию. В той же самой степени, в какой развивается и принимает более определенный характер борьба классов, лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания это фантастическое стремление возвыситься над нею, это фантастически отрицательное к ней отношение. Поэтому, если основатели этих систем были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты».

Это последнее место Манифеста замечательно тем, что

оно за сорок лет предвосхитило как раз эволюцию нашего народничества, не случайно выродившегося из учения Чернышевского и революционеров 70-х годов в учение Южакова и Михайловского. Оттого Ленин, вопреки мнению т. Теодоровича, никогда не делал принципиального различия между идеями классического народничества и идеями эпигонов: как теория это была для него одна теория на различных ступенях ее развития. Различие он делал по отношению к носителям этой теории, поскольку «классики» были охвачены искренним революционным энтузиазмом. тогда как «эпигоны» сами в сущности уже не верили в свой социализм.

Но так как т. Теодоровичу удалось внести в это дело порядочную дозу путаницы, в которой, как мне кажется, не вполне разобрались его оппоненты, то необходимо привести соответствующие тексты Ленина в подлиннике. Вот что он писал в «Что такое друзья народа?»: «Прошу заметить, что я говорю о разрыве с мещанскими идеями, а не с «друзьями народа» и не с их идеями—потому что не может быть разрыва с тем, с чем не было никогда связи. «Друзья народа»—только одни из представителей одного из направлений этого сорта мещанско-социалистических идей. И если я по поводу данного случая делаю вывод о необходимости разрыва с мещанско-социалистическими идеями, с идеями старого русского крестьянского социализма в о о б щ е, то это потому, что настоящий поход против марксистов представителей старых идей, напуганных ростом марксизма, побудил их особенно полно и рельефно обрисовать мещанские идеи. Сопоставляя эти идеи с современным социализмом, с современными данными о русской действительности, мы с поразительной наглядностью видим, до какой степени выдохлись эти идеи, как потеряли они всякую цельную теоретическую основу, спустившись до жалкого эклектизма, до самой дюжинной культурническо-оппортунистической программы. Могут сказать, что это—вина не старых идей социализма вообще, а только данных господ, которых никто ведь и не причисляет к социалистам; но подобное возражение кажется мне совершенно несостоятельным. Я везде старался показать необходимость такого вырождения старых теорий, везде старался уделять возможно меньше места критике этих господ в частности и возможно больше—общим и основным положениями старого русского социализма. И если социалисты нашли бы, что эти положения изложены мною неверно или неточно или недоговорены, то я могу ответить толь-

ко покорнейшей просьбой: пожалуйста, господа, изложите их сами, договорите их как следует!»

И далее: «Прошу заметить также, что я говорю о необходимости разрыва с мелкобуржуазными идеями социализма. Разобранные мелкобуржуазные теории являются безусловными реакционными, поскольку они выступают в качестве социалистических теорий. Но если мы поймем, что на самом деле ровно ничего социалистического тут нет, т. е. все эти теории безусловно не объясняют эксплуатации трудящегося и потому абсолютно неспособны послужить для его освобождения, что на самом деле все эти теории отражают и проводят интересы мелкой буржуазии, — тогда мы должны будем иначе отнестись к ним, должны будем поставить вопрос: как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии и ее программам? И на этот вопрос нельзя ответить, не приняв во внимание двойственный характер этого класса (у нас в России эта двойственность особенно сильна вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии). Он является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, т. е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении»¹.

Эта характеристика народничества у Ленина чрезвычайно устойчива, и было бы просто смешно говорить о каких-либо колебаниях у него в этом вопросе на том основании, что местами он дает несколько иные — но не принципиально отличные — формулировки. Выписанные сейчас строки относятся к 1894 г. А вот что Ленин писал о том же в 1913 г. «Народничество очень старо. Его родоначальниками считают Герцена и Чернышевского. Расцветом действительного народничества было «хождение в народ» (в крестьянство) революционеров 70-х годов. Экономическую теорию народников разрабатывали всего цельнее В. В. (Воронцов) и Николай — он в 80-х годах прошлого века. В начале XX в. социалисты-революционеры выражали наиболее оформленно взгляды левых народников.

Революция 1905 г., показав все общественные силы России в открытом, массовом действии классов, дала генеральную проверку народничеству и определила его место. Кре-

¹ Ленин, Соч., т. I, изд. 3-е, стр. 183—184.

стьянская демократия—вот единственное реальное содержание и общественное значение народничества.

Русская либеральная буржуазия по своему экономическому положению вынуждена стремиться не к уничтожению привилегий Пуришкевича и К-о, а к их разделу между крепостниками и капиталистами. Наоборот, буржуазная демократия в России—крестьянство—вынуждена стремиться к уничтожению всех этих привилегий. Фразы о «социализме» у народников, о «социализации земли», равенственности и т. п. —простая словесность, облекающая реальный факт стремления крестьян к полному равенству в политике и к полному уничтожению крепостнического землевладения.

Революция 1905 г. окончательно раскрыла эту социальную сущность народничества, эту классовую природу его. Движение масс—и в форме крестьянских союзов 1905 г., и в формы крестьянской борьбы на местах в 1905 и 1906 гг., и в форме выборов в обе первые Думы (создание «трудовых» групп)—все эти великие социальные факты, показавшие нам в действии и миллионы крестьян, отметили, как пыль, народническую, якобы социалистическую, фразу и «скрыли ядро: крестьянскую (буржуазную) демократию с громадным, еще не исчерпанным запасом сил»¹.

Итак в «социализме» народников (всех народников, как «классиков», так и «эпигонов») «социалистического ровно ничего нет», «фразы о социализме» у народников... «простая словесность». Реальное содержание народничества—«крестьянская (буржуазная) демократия».

Это—азбука ленинизма, и сколько нужно было усилий, чтобы отвести глаза читателю от этих кристально-ясных положений!

Само собою разумеется, что по этой линии, по линии социализма, никакой «традиции» от народников к большевикам устанавливать нельзя, поскольку у первых была одна «словесность» (в которой основоположники народничества искренно видели подлинно революционное учение и которой их ученики придерживались уже просто по привычке), а вторые являются создателями наиболее революционной и наиболее действенной формы социализма, какая только существует. Линия развития, правильно намеченная еще Марксом в 1848 г., идет от «классиков» к «эпигонам», а не от народников к большевикам. Из народовольцев по этой

¹ Ленин, О народничестве. Соч., т. VI, изд. 3-е, стр. 283—284.

линии развились эсеры—и то, что в момент социалистической революции эти наследники народничества оказались в буржуазном лагере, так же мало случайно, как и падение до Южакова народнической теории четвертью столетия ранее. Замечательно, что и эту зависимость мелкобуржуазного «социализма» от буржуазии Ленин также предвидел за много лет вперед.

В том же 1894 в статье «Экономическое содержание народничества и критика его в книге Струве», Ленин, процитировав фразу Южакова о «буржуазном направлении, принятом нашим обществом за последние годы», спрашивает: «Неужели только «за последние годы»? Не выразилось ли оно вполне ясно в 60-е годы? Не господствовало ли оно и в течение всех 70-х годов?...». «На самом деле—в течение всех этих трех периодов пореформенной истории наш идеолог крестьянства всегда стоял рядом с «обществом» и вместе с ним, не понимая, что буржуазность этого «общества» отнимает всякую силу у его протеста против буржуазности и неизбежно осуждает его либо на мечтания, либо на жалкие мелкобуржуазные компромиссы.—Эта близость нашего народничества («в принципе» враждебного либерализму) к либеральному обществу умиляла многих и даже по сию пору продолжает умилять г-на В. В. (ср. его статью в «Неделе» за 1894 г., № 47—49). Из этого выводят слабость или даже отсутствие у нас буржуазной интеллигенции, что и ставится в связь с беспочвенностью русского капитализма. На самом же деле как раз наоборот: эта близость является сильнейшим доводом против народничества, прямым подтверждением его мелкобуржуазности. Как в жизни мелкий производитель сливается с буржуазией наличностью обособленного производства товаров на рынок, своими шансами выбиться на дорогу, пробиться в крупные хозяева, — так идеолог мелкого производителя сливается с либералом, обсуждая совместно вопросы о разных кредитах, артелях etc.; как мелкий производитель не способен бороться с буржуазией и уповает на такие меры помощи, как уменьшение податей, увеличение земли и т. п.,—так народник доверяет либеральному «обществу» и его подернутой «нескончаемой фальшью и лицемерием» болтовне о «народе». Если он иногда и обругает «общество», то тут же прибавит, что это только «за последние годы» оно испортилось, а вообще и само по себе недурно»¹.

¹ Ленин, Соч., т. I, изд. 3-е, стр. 262—263. Разрядка моя— М. П.

Читатель видит, до чего смехотворно негодование т. Теодоровича на некоего Покровского за то, что этот последний (через 26 лет после Ленина!) осмелился говорить о близости народников к либералам¹.

Негодование столь обуревают т. Теодоровича, что он цитирует даже не то место «Сжатого очерка», которое ему нужно: грехопадение Покровского совершено им на стр. 192—193, а т. Теодорович цитирует со стр. 203—строчки, являющиеся комментарием к словам Желябова: «Вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело». Так как эти слова Желябова у т. Теодоровича опущены, то, я боюсь, читатель просто не поймет, в чем же дело? Для этого я и отсылаю его к стр. 192—193, где это объяснено.

Я недаром подчеркнул слова Ленина о том, что «идеолог крестьянства» стоял «рядом с обществом» (т. е. с буржуазией) «в течение всех этих трех периодов», т. е. и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е—90-е годы XIX столетия. Эти слова, хотя и вызванные наивностью одного из «эпигонов», относятся не только к ним, но и к «классикам». Половинчатое, не до конца революционное отношение народничества к буржуазии вытекает из мелкобуржуазной природы народничества и не зависит от того, имеем ли мы дело с искренними или неискренними представителями данной доктрины. Поскольку речь здесь идет о классовой природе данного движения, тут вообще моральные категории неприложимы—и для народников их близость к либеральной буржуазии не является ни похвалой, ни укоризной. Просто иначе они относиться к «обществу» по классовой своей природе не могли. И надо было совершенно и беззаветно уверовать в то, что народовольцы—предтечи большевиков, для того чтобы к их поведению прилагать большевистские нормы. Для большевика примиренческое отношение к буржуазии конечно стыд и позор, ибо это измена своему классу. А идеолог мелкой буржуазии отнюдь в этом отношении своему классу не изменял. Обращаю внимание и на то, что Ленин здесь определенно говорит об «идеологе крестьянства»—это мешает играть на том, что Ленин для отличия «классиков» от «эпигонов» иногда называет первых «крестьянскими социалистами», вторых—«мещанскими социалистами». Здесь речь идет как о вторых, так и о первых.

Приведенные высказывания Ленина избавляют нас с чи

¹ «Каторга и ссылка» № 1, 1930, стр. 120

тателем от всякой необходимости критиковать основное положение концепции т. Теодоровича, изложенное им на стр 36 своей первой статьи¹: «В свете громадных событий последнего пятнадцатилетия, в свете гениальных синтезов ленинизма легко увидеть в построениях народовольчества целый ряд тезисов, одних—в развитой, других—в зародышевой форме, которые суммируют великий опыт борьбы масс мелких товаропроизводителей, воспринятый, критически переработанный и обогащенный пролетариатом».

Так как дальше следует характеристика основных признаков «социалистической революции, совершенной рабочими под руководством большевиков в октябре 1917 г.», то совершенно очевидно, что «критически переработанный» «опыт борьбы масс мелких товаропроизводителей» лег в основу коммунизма, а не чего другого. Ленин как будто предвидел т. Теодоровича, когда настойчиво повторял, что из «опыта борьбы масс мелких товаропроизводителей» могла получиться только «крестьянская (буржуазная) демократия», а никак не большевизм. На социалистическую дорогу крестьянство могло повернуть только благодаря диктатуре пролетариата, а никак не благодаря «крестьянскому социализму», который развивался, должен был развиваться, не мог не развиваться совсем в другую сторону. «Гениальные синтезы ленинизма» ничем не обязаны и не могли быть обязаны революционному народничеству, в частности народовольчеству. Заслуга Ленина именно в том, что он преодолел народническое мирозерцание так четко, как никто другой. Традицию от революционного народничества Ленин вел не по линии социализма, а по другой линии—какой, мы отчасти видели выше и еще увидим дальше. Но если большевизм своими положительными чертами ничем не обязан народничеству и в частности народовольчеству, то никак нельзя сказать, чтобы народничество не внесло ничего отрицательного в большевистскую литературу,—не портило, попросту говоря, исторических оценок, даваемых некоторыми большевиками. Приведенные цитаты из сочинений Ленина, между прочим, и тем хороши, что они расшифровывают термин «крестьянский социализм», гулявший еще недавно по страницам наших весьма авторитетных органов без всякой расшифровки. Был, мол, крестьянский социализм—и Ленин его «признавал». Теперь читатель видит, что разумел под этим термином Ленин

¹ Теодорович, Историческое значение партии Народной Воли «Каторга и ссылка» № 8—9, 1929

В наши дни ожесточенной классовой борьбы в деревне это далеко не безразличная вещь. И если лезущий в колхозы кулак еще не ухватился за этот самый «крестьянский социализм», как за весьма подходящий для кулака лозунг (потому, мол, нашего брата, «крестьянина», и не пускают в колхозы, что у них социализм не крестьянский, а только для рабочих...), то только потому, что кулаку пока не до идеологии. Но народническим мотивам в нашей исторической литературе придется очевидно посвятить особую статью—вопрос этот шире юбилея Народной Воли и далеко не ограничивается выступлениями т. Теодоровича. А пока—маленькое сопоставление, более неожиданное, но все на ту же тему, об отрицательном влиянии народничества на идеологию, если не большевистскую, то социал-демократическую, не после 1917, а около 1905 года.

Если вы возьмете столь любимые т. Теодоровичем программные статьи «Народной Воли» и самое народовольческую программу, вы найдете там в очень определенной формулировке очень любопытную историко-политическую теорию. «Нам кажется, что одним из важнейших чисто практических вопросов настоящего времени является вопрос о государственных отношениях. Анархические тенденции долго отвлекали и до сих пор отвлекают внимание наше от этого важного вопроса. А между тем именно у нас, в России, особенно не следовало бы его игнорировать. Наше государство—совсем не то, что государство европейское. Наше правительство не комиссия уполномоченных от господствующих классов, как в Европе, а есть самостоятельная, для самой себя существующая организация, иерархическая, дисциплинированная ассоциация, которая держала бы народ в экономическом и политическом рабстве даже в том случае, если бы у нас не существовало никаких эксплуататорских классов. Наше государство владеет как частный собственник половиной русской территории; большая половина крестьян—арендаторы его земель; по духу нашего государства—все население существует главным образом для него. Государственные повинности поглощают весь труд населения, и—характерная черта—даже в карманы наших биржевиков и железнодорожников крестьянские гроши стекаются через государственное казначейство». «Над закованным в цепи народом мы замечаем облегающие его слои эксплуататоров, создаваемых и защищаемых государством. Мы замечаем, что это государство составляет крупнейшую в стране капиталистическую силу, что оно же составляет единствен-

ного политического притеснителя народа, что благодаря ему только могут существовать мелкие хищники. Мы видим, что этот государственно-буржуазный нарост держится исключительно голым насилием: своей военной, полицейской и чиновничьей организацией, совершенно так же, как держались у нас монголы Чингис-хана. Мы видим совершенное отсутствие народной санкции этой произвольной и насильственной власти, которая силою вводит и удерживает такие государственные и экономические принципы и формы, которые не имеют ничего общего с народными желаниями и идеалами».

Где это мы читали в гораздо более близкое к нам время? Где это мы читали, что «наше правительство не комиссия уполномоченных от господствующих классов, как в Европе»,—то бишь, «что в своем отношении к русским привилегированным классам царизм пользовался несравненно большею независимостью, чем европейский абсолютизм, выросший из сословной монархии»? Что «царизму приходилось не столько тягаться с притязаниями привилегированных сословий, сколько бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны»? Где это мы, сравнительно недавно, читали, что в России «государство составляет крупнейшую в стране капиталистическую силу», то бишь, «превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок»?

Да у Троцкого конечно, дорогой читатель. Первые половины приведенных сейчас формулировок взяты из «Народной Воли» (передовая, № 1, и «Программа Исполнительного комитета»), а вторые—из предисловия к «1905». Удивительно, как до сих пор на это не обращали внимания—спасибо т. Теодоровичу за то, что напомнил. И ради этого стоит ему простить, что он «маленьким ошибкам давал—ленинизм с троцкизмом смешал».

Это совпадение—в теории—... ьчества и нашего «левого» уклона чрезвычайно выразительно. Оно показывает, что гони мелкобуржуазную классовую природу в дверь, она войдет в окно. Оно объясняет нам, почему Слепков, критикуя марксистско-ленинскую концепцию русской истории, мог пользоваться аргументами Троцкого, и почему Слепков и Троцкий (а равно их продолжатели ныне) в этом вопросе могли—и мог, г иметь одного и того же противника. Нет места приводить все цитаты—а в «Народной Воле» есть одно место, б у к в а л ь н о воспроизведенное в ар-

гументации Слепкова против все того же еретика Покровского. Причем, не может быть никакого сомнения, Слепков не списывал у народовольцев, а «своим умом дошел» Но это-то и характерно!

До того ненавистен оный еретик всем правоверным наследникам «крестьянского» и «мещанского» социализма, что по еретика начинают стрелять, чуть только нос его покажется,—даже не тратя времени на то, чтобы разобраться: нос-то точно Покровского или чей другой? Ведь обознаться легко—и не так уж этот Покровский оригинален. Может, он просто чужие слова повторяет?

А как раз в вопросе о Народной Воле это и могло с ним случиться. Как исследователь он этим вопросом не занимался—он касался его настолько, насколько это нужно для составления общих курсов. Естественно, что он и не пытался быть оригинальным в этом вопросе и свои оценки брал у авторов, которые казались ему наиболее авторитетными, в первую очередь у Ленина,—привлекая к делу и самих народовольцев с их современниками. Последнее конечно в том случае, если речь шла о констатации фактов. В маленькой книжке, называемой «Русской историей в самом сжатом очерке», нет ни одной строки, не подбитой фактами, нет ни одного утверждения, обоснования которому нельзя было бы найти в источниках.

На этой почве и произошел с т. Теодоровичем казус. Передать его нужно, для начала, его собственными словами. «Как это ни удивительно, но к оценкам Н. А. Морозова и В. Я. Богучарского примыкает и М. Н. Покровский. В той же «Русской истории» на стр. 204 мы можем прочесть такое место: «Народная Воля не восставала против буржуазии и эксплуатации вообще, а ставила себе определенную задачу—путем заговора добиться политического переворота (разрядка М. Н. Покровского), низвержения царской власти и созыва учредительного собрания». «Народная Воля», как мы выше цитировали, заявляет: «Наша партия никогда не ждала переворота исключительно от заговора; переворот может быть результатом самостоятельной революции», а М. Н. Покровский продолжает утверждать: «Путем заговора». Неужели партия Народной Воли еще не дождалась объективной, беспристрастной оценки? Но это мимоходом. Суть в том, что и под пером т. Покровского Народная Воля выглядит подстриженной под гребенку «освобожденства».

Итак, освобожденцы «ставили себе задачей» «путем заго-

вора добиться политического переворота!» Это освобожденцы-то! Прокопович, прочитав эти строки т. Теодоровича, наверное, с гордостью посмотрелся бы в зеркало: Вот, мол, мы как! Знай наших! С народовольцами на одну доску ставят! Но пройдем мимо этого курьеза. Посмотрим, кто именно «подстриг под гребенку освобожденства» бедных народовольцев. Точно ли это злой еретик Покровский? «Для народовольца понятие политической борьбы тождественно с понятием политического заговора. Надо сознаться, что... П. Л. Лаврову удалось действительно с полной рельефностью указать основное различие в тактике политической борьбы у народовольцев и у социал-демократов. Традиции бланкизма, заговорщичества страшно сильны у народовольцев, до того сильны, что они не могут себе представить политической борьбы иначе, как в форме политического заговора». «Старые русские революционеры (народовольцы) стремились к захвату власти революционной партией. Захватив власть, «партия ниспровергла бы личную силу» самодержавия,—думали они,—т. е. вместо чиновников назначила бы своих агентов, «захватила бы экономическую силу», т. е. все финансовые средства государства, и произвела бы социальный переворот. Народовольцы (старые) действительно стремились «к ниспровержению личной и к захвату экономической силы» самодержавия, если уже употреблять, по примеру Р[абочей] М[ысли], эти неуклюжие выражения. Русские социал-демократы решительно восстали против этой революционной теории. Плеханов подверг ее беспощадной критике в своих сочинениях: «Социализм и политическая борьба» (1883 г.) и «Наши разногласия» (1885 г.) и указал русским революционерам их задачу: образование революционной рабочей партии». «В начале своей деятельности нам приходилось очень часто отстаивать свое право на существование в борьбе с народовольцами, которые понимали под «политикой» деятельность, оторванную от рабочего движения, которые суживали политику до одной только заговорщической борьбы». «В 70-х и 80-х годах, когда идея захвата власти культивировалась народовольцами, они представляли из себя группу интеллигентов, а на деле сколько-нибудь широкого, действительного массового революционного движения не было. Захват власти был пожеланием или фразой горсточки интеллигентов, а не неизбежным дальнейшим шагом развивающегося уже массового движения». «У нас так плохо знают историю революционного движения, что называют «народовольчеством» всякую идею о боевой централи-

зованной организации, объявляющей решительную войну царизму. Но та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна была служить образцом, создана вовсе не народолюбцами, а землевольцами, расколовшимися на чернопередельцев и народолюбцев. Таким образом видеть в боевой революционной организации что-либо специфически народолюбческое нелепо и исторически, и логически, ибо всякое революционное направление, если оно только действительно думает о серьезной борьбе, не может обойтись без такой организации. Не в том состояла ошибка народолюбцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества».

Кому принадлежат все эти цитаты? Да конечно Ленину, дорогой читатель,—вы наверное уже давно догадались. Изображение народолюбцев как кучки интеллигентов, не умевших связаться с массами и добивавшихся путем заговора политического переворота, принадлежит вовсе не Покровскому. И самым беззастенчивым, доходящим до прямого издевательства над читателем извращением истины является утверждение т. Теодоровича, будто «концепция Ленина абсолютно противоположна концепции Покровского». Концепция Покровского «абсолютно повторяет» концепцию Ленина—попросту взята у последнего¹. Прибавлю: я решительно отказываюсь верить, что т. Теодоровичу приведенные мною сейчас цитаты неизвестны. Их знает наизусть всякий порядочный комвузовец. Но они сознательно скрыты от читателя «Каторги и ссылки», чтобы можно было под флагом ленинизма протащить антиленинскую концепцию истории Народной Воли.

Чувствуя сам, что дело неладно, т. Теодорович в примечании к этому месту своей статьи пытается извлечь из Ле-

¹ Первая цитата взята из статьи «Задачи русских социал-демократов» (1897 г.), вторая—из статьи «Попытное направление в русской социал-демократии» (1899 г.), третья—из «Искры» (1900 г.), четвертая—из речи на Стокгольмском съезде (1906 г.), пятая—из «Что делать?» (1902 г.). См. сочинения. т. I, стр. 354; т. XX, ч. 1-я, стр. 54—55; т. IX, стр. 417; т. V, стр. 228—229

нина что-то, при очень невнимательном чтении могущее показаться оправданием точки зрения самого Теодоровича. Но увы! Как ни тщательно чистил т. Теодорович ленинский текст (до того тщательно, что читатель может подумать, будто тут речь идет именно о народовольцах,—а на самом деле тут говорится о народничестве вообще, начиная с Чернышевского), все же слова «идеалы» он вычистить не мог, ибо фраза осталась бы тогда без подлежащего. Речь идет именно об идеалах, т. е. о субъективной, а не об объективной стороне дела, не о том, чем народники (не одни народовольцы в данном случае) были, а чем они хотели быть. Что они хотели быть социалистами, искренно в свой социализм верили, в этом ни у одного здравомыслящего человека не может быть никакого сомнения. Но что же из этого следует? У меня нет никаких оснований думать, что т. Теодорович не хочет быть ленинцем—он наверное очень этого хочет. Но удастся ли ему это, вот в чем вопрос. Так и народовольцы: очень хотели быть социалистами, но в силу своей мелкобуржуазной природы не могли.

Но если в свой социализм народовольцы крепко верили, а оставшиеся в живых верят и до сих пор, и ни один из них конечно не согласится с приведенными выше ленинскими оценками народничества, то, что они были заговорщиками,—а это утверждение «Покровского» особенно сердит г. Теодоровича (он к этому возвращается неоднократно, см. стр. 15 и другие места)—этого не отрицают они сами. В заключение разбора «недоразумения», в которое впал т. Теодорович, я и приведу выдержку из «Запечатленного гряда» В. Н. Фигнер.

«Считая воплощение социалистических идеалов в жизни делом более или менее отдаленного будущего, новая партия ставила ближайшей целью в области экономической передачу главнейшего орудия производства—земли—в руки крестьянской общины; в области же политической—замену самодержавия одного самодержавием всего народа, т. е. водворением такого государственного строя, в котором свободно выраженная народная воля была бы высшим и единственным регулятором всей общественной жизни. Самым пригодным средством для достижения этих целей представлялось устранение современной организации государственной власти, силою которой держится весь настоящий порядок вещей, столь противоположный желательному; это ранение должно было совершиться путем государ-

сивенного переворота, подготовленного заговором»¹.

Я чувствую, что начинаю впадать в тот грех, возможность которого я предвидел с самого начала этой статьи. Критикуя неудачного панегириста Народной Воли, я рискую превратиться в запоздалого ее критика. Читатели могут подумать, что и чествовать-то народовольцев не за что. Это глубочайшее заблуждение. Очень есть за что. И позвольте это мотивировать словами, во-первых, В. И. Ленина, а во-вторых, той же В. Н. Фигнер.

В «Протесте российских социал-демократов», написанном в 1899 г., говорится: «Как движение и направление социалистическое Российская социал-демократическая партия продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России; ставя главнейшею из ближайших задач партии в целом завоевание политической свободы, социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой Народной Воли. Традиции всего предшествовавшего революционного движения требуют, чтобы социал-демократия сосредоточила в настоящее время все свои силы на организации партии, укреплении дисциплины внутри ее и развитии конспиративной техники. Если деятели старой Народной Воли сумели сыграть громадную роль в русской истории, несмотря на узость тех общественных слоев, которые поддерживали многих героев, несмотря на то, что знаменем движения служила вовсе не революционная теория, то социал-демократия, опираясь на классовую борьбу пролетариата, сумеет стать непобедимой».

А вторая подводит все в том же «Запечатленном труде» такой общий итог деятельности своей партии. «Народная Воля сделала свое дело. Она потрясла Россию, неподвижную и пассивную; создала направление, основа которого с тех пор уже не умирала. Ее опыт не пропал даром; сознание необходимости политической свободы и активной борьбы за нее осталось в умах последующих поколений и не переставало входить во все последующие революционные программы. В стремлении к свободному государственному строю она была передовым отрядом русской ин-

¹ Вера Фигнер, Полное собр. соч., изд. «Каторга и ссылка», т. I, стр. 12. Разрядка моя—М. П.

теллигенции из среды привилегированного и рабочего класса. Этот отряд забежал далеко, по меньшей мере на четверть века вперед и остался одиноким. Народная Воля имела упование, что этого не случится, что событие 1 марта, низвергая императора, освободит живые силы народных масс, недовольных своим экономическим положением, и они придут в движение, и в то же время общество воспользуется благоприятным моментом и выявит свои политические требования. Но народ молчал и после 1 марта, и общество безмолствовало после него. Так у Народной Воли не оказались ни опоры в обществе, ни фундамента в народе, и напрасны были попытки возобновить организацию для безотлагательного продолжения активной борьбы против существующего строя»¹.

Вот это совершенно верно. И того, что действительно сделала Народная Воля, вполне достаточно, чтобы праздновать ее юбилей и ставить памятники ее героям.

¹ Первая цитата отчасти воспроизводит одно место из «Манифеста РСДРП» 1898 г.; но так как Ленин повторяет это место без какой-либо оговорки, мы имеем право считать, что он вполне солидаризируется с данным утверждением «Манифеста». См. сочинения, т. II, изд. 2-е, стр. 485. Вторая цитата взята из цитированного уже произведения В. Г. Фигнер, стр. 329—330.

ПРЕДИСЛОВИЕ К № 1 ЖУРНАЛА «ИСТОРИЯ ПРОЛЕТАРИАТА СССР»¹

История пролетариата нашей страны именно теперь становится одной из самых замечательных страниц мировой истории. Пока дело шло о низвержении старого порядка в обоих его видах, у нас тесно переплетавшихся,—в виде диктатуры крепостников-помещиков и в виде диктатуры финансового капитала—можно было для объяснения происходившего выдвигать на первое место «объективные условия». Нигде кроме как у нас не было такого сочетания допотопной политической верхушки, бесконечно устарелого и застарелого самодержавия, с крупной промышленностью почти американского типа; не было такой отсталой, косной, беспомощной и политически неорганизованной буржуазии рядом с наиболее зрелой революционной организацией рабочего класса, какая существовала на земном шаре. Нигде не было такой возможности, точнее говоря, необходимости, увязать рабочую революцию с крестьянской войной, как у нас, потому что нигде крупное землевладение не сохранило до наших дней стольких пережитков феодализма. Словом, пока дело шло только об объяснении Октября, не было абсолютной необходимости ставить ударение в объяснении исторических фактов, на субъективном моменте—задавать вопрос: а какие специфические особенности того класса, который сделал Октябрьскую революцию, обусловили ее возможность и необходимость?

Это, конечно, отнюдь не оправдание, а только некоторое извинение тому факту, что за историю пролетариата нашей страны мы принимаемся через двенадцать лет после того, как этот пролетариат взял в свои руки власть. Но теперь, когда рабочий класс показал, что он не только умеет взять

¹ Журнал «История пролетариата СССР», 1930 г., № 1, стр. III—VII.

в руки власть и ее удержать, но умеет и ею пользоваться,— теперь, когда он не только низвергает старое, но и строит новое, является первым создателем социалистического общества в мире, ставить ударение на «объективных причинах» более нет никакой возможности. Ибо «объективные причины», теперь против нас, и на этом строились предсказания как наших «друзей» — постепенно теряющих надежду, что мы «исправимся» и «образумимся», так и наших врагов, постепенно тоже теряющих надежду, что мы провалимся. Объективная логика старого «экономического материализма» против нас,—а мы идем вперед, и этот ход вперед так неоспорим, что любая серьезная буржуазная газета Западной Европы считается с этим нашим поступательным движением как с объективным фактом, его же не преидеши. «Падения» серьезные наши противники ожидают только от политических причин. Что мы не справимся с экономическими затруднениями, в это никто не верит.

Есть, значит, что-то в самой «природе» пролетариата нашей страны, что дает ему возможность побеждать, даже когда «объективные причины» не за него, а против него. И теперь от вопроса, как сложилась эта разновидность рабочего класса, откуда она взялась, чем объясняется не только ее последовательная революционность — на это «объективные причины» еще кое-как могли дать ответ, а чем объясняется ее неистощимая способность творчества, теперь от этого вопроса никуда не уйдешь. История рабочего класса нашей страны, так, как он возник и существовал до наших дней для нас, но еще больше для наших западных и восточных товарищей.

От буржуазных историков нам на эту тему, к счастью, ничего не осталось. После 1848 г., Коммунистического манифеста и июньских дней в Париже наша буржуазия до обморока боялась пролетарской революции и утешала себя уверениями, что «в России нет рабочего вопроса». Мелкая буржуазия и в этом случае оказалась всецело под обаянием крупной — народники умели только подписаться под буржуазными теориями русского исторического развития, своей они не создали. Они не замечали, за очень немногими исключениями, что благодать не свалилась нашей буржуазии с неба, что кое-что делалось, и весьма энергично делалось, чтобы избавить «Россию» от появления на ее территории «рабочего вопроса». Знаменитое «освобождение крестьян с землей» было придумано не только и, может быть, не столько

для предупреждения крестьянской революции, но и для того, чтобы предупредить появление у нас пролетариата. Этого и не скрывали—об этом писали, в официальном порядке, редакционные комиссии, об этом говорил, и с большим подчеркиванием, умнейший из дворянских теоретиков крестьянского вопроса Кавелин. «Скелет в доме» однако же нельзя было заклясть никакими словами о том, что ему, «скелету», существовать у нас по буржуазной исторической теории совсем не полагается. Наоборот, в противоположность обычным скелетам, он обрастал мясом и кожей, приобретал все более крепкие мускулы и уже в семидесятых годах заставил считаться с собою народников, хотя и по их теории ему существовать также не полагалось.

С девяностых годов отрицать существование рабочего класса и рабочего вопроса в нашей стране могли лишь очень отсталые или очень тупые люди; близко стоявшие к делу практики, совсем не зараженные марксизмом, в роде первых фабричных инспекторов, писали об этом уже в восьмидесятых. Стать одним из объектов исторического исследования помешало рабочему классу—странная вещь! именно то положение гегемона революционного движения, которое этот класс начал занимать. Его история утонула в истории общей революционной борьбы в стране. О «классовых интересах пролетариата» больше всего говорили те, кто был против революции, как «экономисты», или кто понимал революцию не по-марксистски—как Троцкий. Провести довольно тонкое для не-марксиста различие между троцкистским пониманием революции как классового рабочего дела в узком и тесном смысле слова и представлением, что пролетариат есть вождь общенациональной революции, историки мелкобуржуазного склада не умеют до сих пор. Им кажется, что учение о гегемонии пролетариата в буржуазной революции есть чистой воды троцкизм. Но и не мелкобуржуазные историки недостаточно обратили внимание на то, что главнейшая работа Ленина о революции 1905 г. имела своей темой именно стачечное движение рабочих, хотя никто резче и чаще Ленина не подчеркивал значения крестьянства в нашей буржуазной революции.

В результате всех этих невниманий и непониманий историю нашего пролетариата стали писать те, кто меньше всего имел на это право—и у кого меньше всех было к этому способностей. Почти все работы этого рода вышли из меньшевистского лагеря. Почти все они не умеют связать историю рабочего класса с историей рабочей партии, почти все

Они отправляются от неверной концепции «стихийного» движения пролетарских масс—и почти все поэтому не в состоянии подняться над историей экономической борьбы в тесном смысле этого слова. Почти у всех наш рабочий имеет вид захудалого кузена английского тредюниониста и германского социал-демократа—тогда как вся суть в том, что английского и немецкого рабочего история на долгие годы отогнала далеко в сторону от революционной дороги, в то время как наш пролетариат становился тем революционнее, чем был сознательнее, так что термины «сознательный рабочий» и «революционер» у нас наконец слились.

Благодаря этому и меньшевистская история нашего пролетариата настоящим образом не собрала даже материалов. В серенькой и пресной фигуре, которая глядит на нас со страниц меньшевистских писаний, никак нельзя угадать будущего совершителя первой в мире удачной социалистической революции и строителя первого в мире социалистического хозяйства. Наши первые историки пролетариата просто-таки его не видали—его революционная роль казалась им последствием какого-то ленинского прелщения и большевистского искривления «нормальной» истории рабочего класса. Нам предстоит таким образом не только по-иному толковать собранные до нас факты, но и открыть целый ряд новых фактов, которыми наши предшественники просто не интересовались. История пролетариата как класса б о й ц а должна быть целиком написана заново. У меньшевиков ее нет. Яркая и красочная картина пролетарской борьбы до социал-демократического периода у них просто отсутствует—и даже историю рабочего восстания 1905 г. они постарались обесцветить, насколько это возможно. Мы не всегда это замечаем, потому что пользуемся, для своих общих характеристик, статьями Ленина. Но статьи Ленина (кроме названной выше)—это не конкретная история. Ленин и в области международного отношения угадал много такого, что во всей конкретности открылось нам только теперь, благодаря раскопкам в бывших «секретных» архивах. Это не избавляет нас однако от необходимости издавать документы империалистской войны. Конечно мы собираемся излагать историю нашего рабочего класса «по Ленину»—но это не избавляет нас от необходимости собрать фактический материал.

Изучение истории пролетариата как революционного класса не означает, что мы берем этот класс только в его революционной деятельности. Напротив, задача в том и со-

стоит, чтобы из условий образования и роста нашего рабочего класса объяснить его революционную роль. Если меньшевики выхолостили из истории пролетариата политику, это вовсе не уполномочивает выкинуть оттуда экономику. Надо всегда помнить то, что говорил Ленин о неразрывности экономической и политической борьбы рабочих— о невозможности политической борьбы без предварительной «раскачки» рабочей массы борьбой экономической. Впрочем, все вопросы методологии нашей работы так хорошо объяснены во вступительной статье настоящего сборника, написанной т. Панкратовой, что повторять это, здесь еще раз нет ни малейшей надобности.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
Предисловие	5
Борьба классов и русская историческая литература	7
Как и кем писалась русская история до марксистов	101
Предисловие к сборнику статей «Русская историческая литература в классовом освещении», т. I	118
Правда ли, что в России абсолютизм «существовал наперекор обще- ственному развитию»? ♦ ♦	133
Своеобразие русского исторического процесса и первая буква мар- ксизма	143
Кончаю	150
Троцкизм и «особенности исторического развития России»	152
Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия	167
К вопросу об особенностях исторического развития России	206
Ответ г. Томсинскому	248
Возникновение Московского государства и «великорусская народность»	267
О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России	285
По поводу юбилея Народной Воли	304
Предисловие к № 1 журнала «История пролетариата СССР»	322